

Министерство культуры Самарской области,
Самарская областная универсальная научная библиотека
и Самарская областная писательская организация
представляют в проекте
«Народная библиотека Самарской губернии»
книгу

Алексей Сыромятников

ЖЕСТОКАЯ АКАДЕМИЯ

Роман



**Русское эхо
2021**

Сыромятников А.А.

С 95 Жестокая академия: роман. — Самара: Творческое объединение «Русское эхо», 2021. — 240 с.

ISBN 978-5-9938-0045-5

Действие романа «Жестокая академия», выдержанного в духе «магического реализма», развивается в двух мирах — «настоящем» и «волшебном». Главы волшебной истории короткие и расположены перед главами основной истории, происходящей в реальном мире. Ближе к концу романа условность реальности и фантастики становится всё очевидней, ибо что есть явь? Подчас она подобна старому чехлу, натянутому на бездну и поистёршемуся во многих местах.

ISBN 978-5-9938-0045-5

© А.А. Сыромятников, 2021
© Творческое объединение
«Русское эхо», 2021

Мул и Манул: Part 1

Когда умер Судия, носивший в кармане Луну, а в глазе левом — огонь, его единственная ученица, Кальдера, объявила перепуганным людям последнюю волю усопшего. Тело огнеглазого связали по рукам и ногам и оставили в опустевшем доме, разобрав прямо над смертным одром часть крыши. Ужасную монету Судии, именуемую Луной, вершительницу судеб, неминуемую союзницу огнеподобного, возложили ему на левый глаз, прикрыв, но не затушив пламени. Правый же глаз придавили самой обычной монетой медной.

Три дня и две ночи не покидала Кальдера скрученного верёвками тела Учителя, отказавшись от еды и сна, равно как и от страха, и от надежд выбраться когда-либо из ледяной обители огнерождённого. Однако в ночь третью стало ей так дурно, что она, истошно крича, выпрыгнула в окно. Упав на ложе из осколков, женщина потеряла сознание. И пока кровь её, натёкшая из многих порезов, согревала землю, толстая, неуклюжая тень прокрадась в дом.

Очнулась Кальдера под серым покрывалом дыма. Дом Судии полыхал так, что ночь смущённо отпрянула и съёжилась. Но никто не поспешал тушить пожар, вставший во весь рост исполинским огнищем. Люди затаились в укромных местах, как в норках — маленькие зверьки.

Прокашлявшись, Кальдера поднялась на ноги и взглядела в огонь. А огонь взгляделся в неё.

— Манул, — сказал огонь Кальдере. — Манул украл Луну. Мир не отпустит меня, пока Луна у Манула.

— Ты хочешь, чтобы я вернула Луну? — прохрипела Кальдера, сдерживая щекотавший горло кашель.

— Да... — огонь вспыхнул ярче. — Да!

— Но как я найду похитителя?

— Я... — горячо прошептал огонь. — Я поведу тебя... — и вдруг расхохотался, обдав лицо Кальдеры огненными брызгами: — Ведь я не спускаю с него глаз!

Джек приходит к отцу: Take 1

Джек был подобен стихийному бедствию. Урагану или землетрясению. В сердцах и жизнях людей он оставлял разрушения, ужасные и печальные. Руины человеческих надежд и чаяний устилали путь его. Джек не творил зло намеренно, но яростная энергия, распиравшая его, никогда не знала ни направления, ни контроля.

Антон Томилин сказал однажды в своей добродушно-ироничной манере: «Дом, который разрушил Джек». Со временем эти

слова превратились в поговорку, и многие, очень многие вспоминали её без улыбки — с горечью.

У трёх «жестоких академиков» были иностранные имена, созвучные настоящим, но Женю Зворыкина стали называть «Джеком» ещё в девятом классе школы, когда он и не ведал о существовании Антона Томилина, ставшего «Томом», и Евгения Свергуна, которому Том придумал имя «Джерри», почтив старый мульти Уильяма Ханна и Джозефа Барберы. Джек своё заморское прозвище получил от Мика Джаггера. Четвёртый «академик» — Никита Зернов — «Ником» становиться не пожелал и оставил за собой свою школьную кличку — «Кострома».

Джек рос без отца. Наверно, это многое объясняло.

Впечатлительная, болезненно интеллигентная Таисия Петровна сына любила безумно, до дрожи. Она обратила на него всю силу своих чувств и помыслов, но не умела — и даже знать не знала, как это делается, — проявлять строгость или хотя бы твёрдость.

К тому дню, когда Женя пошёл в первый класс, он уже помыкал и командовал матерью так, словно она была его ребёнком, а не наоборот. Всякое его пожелание выполнялось беспрекословно. Никаких запретов, никаких наказаний — что бы Женя ни учудил, мамыны глаза смотрели на него с нежностью и умилением.

И только от вопросов мальчика, касающихся отца, Таисия Петровна содрогалась, сжималась, словно её только что ударили и, мелко тряся головой, поспешно шептала: «Не могу, не могу о нём говорить». Она делала яростный вдох, с силой поджимала губы и прятала лицо в ладонях.

Таисия Петровна никогда не была красивой, даже в молодости: маленького роста, склонная к полноте, с серыми, словно седыми, волосами и невыразительными чертами лица. Строгое воспитание, которое дали ей родители, привело к тому, что, общаясь с мужчинами, она отводила глаза, мямлила, задыхалась, запинаясь и, в конце концов, не выдерживая нарастающего ужаса, замыкалась в себе или спасалась бегством.

Так и осталась бы Таисия старой девой, не встретить она на выставке авангардного искусства Валентина Борисовича Зворыкина.

Валентину Борисовичу на тот момент было тридцать пять лет. Он жил на окраине города в однокомнатной квартире со своей пожилой мамой, Зинаидой Георгиевной, деля с ней радости, горести и её скромную пенсию.

Как человек искусства, возвышенный, интеллигентный, требовательный к себе и окружающим, он не желал идти ни на какие компромиссы с убогой действительностью и всё своё время посвящал творчеству и духовному развитию: много рисовал, лю-

бил рассуждать об устройстве мира, человеческой душе, нелёгкой судьбе настоящего художника.

Упрёки матери в том, что денег не хватает на двоих, Валентин Борисович воспринимал с болью душевной и, оскорблённый, непонятый, кричал на съевшуюся родительницу: «Мне от тебя ничего не нужно! Забери свои объедки обратно! Зачем ты кормишь меня? Чтобы потом изводить укорами? Вырывать из горнего мира, где я черпаю вдохновенье? Мучить меня этими громкими вздохами: «Эх, сынок, если бы ты нашёл работу...» Ты не понимаешь! Не понимаешь! Это я-то не работаю? Я?! Да я вообще не даю своей душе продыху! Я в постоянном развитии, всегда в полёте, всегда в поиске! Но не ишу хоромов в центре города или куска мяса пожирней! О, нет!»

Так кричал Валентин Борисович в ответ на робкие попытки Зинаиды Георгиевны заговорить о грубом материальном мире, но от куска мяса никогда не отказывался. Да к тому же был из тех, кто, глядя на компот, говорил с грустью: «Сейчас бы квасу...» А глядя на квас, сокрушался в сердцах: «Эх, чего бы послаще, компоту, что ли...» Поэтому мать, перед тем как надеть фартук, сначала на цыпочках подкрадывалась к сидящему с завязанными глазами перед мольбертом сыну и, легонько касаясь его плеча, шептала: «Валюша, тебе что приготовить?»

Валентин Борисович был основателем и единственным представителем нового направления в живописи — «Изнутризма». Самые главные, самые любимые картины он писал с завязанными старым маминым платком глазами, на ощупь, наугад. Валентин Борисович рисовал стремительно, смело, вдохновенно, принципиально никогда ничего не переделывал в получившемся и никогда не работал над одной картиной дольше одного дня, ибо это нарушило бы сам процесс «изнутрения», да и требовало больших усилий и терпения, чем новатор мог себе позволить.

«Вселенная внутри меня вопиёт, алча холста! Кто я такой, чтобы терять время на отделку и порчу совершенства аутентизма, эссенции, извлечённой из глубин моей души?!» — раздражённо ворчал художник, слыша несправедливые упрёки совести.

Картины со стороны, какому-нибудь невежде, например, могли показаться несуразной мазнёй, бессмысленной и беспощадной, как бунт идиота против здравого смысла, но Валентин Борисович считал «Изнутризм» последним, завершающим этапом развития изобразительного искусства, этапом, после которого рисовать, «как все, берёзки и поля», уже невозможно, бесстыдно и даже преступно.

Тем обидней было глашатаю внутреннего мира, что лишь единицы понимали его метод, а искренние «до срыва аорты» картины

копились в тесной темнице однокомнатной квартиры, выглядывая из всех углов, не давая проходу в коридоре, заползая даже на столь опасную для них кухню и в сулящую погибель ванную комнату. Очень редко находились ценители, готовые заплатить деньги за шедевры «Изну́тризма».

Куда лучше продавались «Рыжие коты». Валентин Борисович рисовал котов исключительно ради денег, чтобы иметь возможность покупать холсты и краску для настоящей работы. Скрепя сердце и скрипя зубами, с открытыми глазами, зло матерясь, художник-авангардист тратил драгоценные часы — а коты отнимали намного больше времени, чем «изнутрение», — выводя пушистых зверьков то дремлющими на подоконнике, то играющими лапкой с верёвочкой, то в виде важных господ с котелком, моноклем и сигарой и в прочих вариациях.

Во всём мире, наверно, не было несчастнее создания, чем Валентин Борисович, работающий над «котами» и слышащий в собственной голове тонкий детский голосок, полный восторга: «Мама, мама, смотри, какой мииии-лень-кий! Кисик! Пушистикча моя!»

Случалось, что в такие мгновения, мгновения раздирающего внутренности раздражения, Валентин Борисович с силой метал кисти в стены и, обессиленный, обрушивался на кровать, чтобы сотрясти её рыданиями.

Если мать тщи́лась утешить его, он отворачивался к стене, судорожно отмахивался и истошно кричал: «Оставь! Оставь меня одного! Ты не можешь мне помочь! Никто не может мне помочь! О, жестокий, бессмысленный мир!» Зинаида Георгиевна горестно вздыхала и молча удалялась на кухню стряпать.

Валентин Борисович плакал навзрыд, крича и стеная, а потом долго валялся, словно куль со старой, истрепавшейся, негодной одеждой. Ему было страшно. Годы неумолимо таяли — без славы, без признания... Зворыкин привык жить в ореоле собственной гениальности, пусть и видимой только ему. Допущение, что он мог ошибаться и его талант не столь могуч, как он представлял, вызывало оцепенение и ужас. Крамольная, нелепая мысль ставила под сомнение всё: и «Изну́тризм», и пережитые страдания, и рассуждения, и нелёгкую судьбу настоящего художника, и жизнь, прошлую, настоящую и будущую, и саму личность Валентина Борисовича Зворыкина, художника-авангардиста.

После подобных срывов Валентин Борисович некоторое время не мог рисовать. Пил, если получалось занять денег или напроситься на угощение. Читал книги, если не было возможности утешиться алкоголем.

Он трепетно любил французских поэтов конца девятнадцатого века: Малларме, Бодлера, Верлена и более остальных — Артюра Рембо. Перечитывая Рембо, Валентин Борисович не раз вскакивал с нагретого в незаправленной кровати пролежня, чтобы восторженно вскричать, сотрясая стены, особенно впечатливший его отрывок, например:

*Я знаю рвущееся небо и глубины,
И смерчи, и бурун, я знаю ночи тьму,
И зори, трепетнее стаи голубиной,
И то, что не дано увидеть никому...*

«Я знаю, я... что не увидеть никому!» — как заклинание, громко и иступлённо повторял Валентин Борисович до тех пор, пока сосед сверху, снова гостивший на свободе дядя Петя, злобноглазый, синекожий, не спускал чрез межэтажные перекрытия грозный рык: «Если ты сейчас не замолчишь, я спущусь вниз, и это тебя больше не дано будет увидеть никому!»

Любитель стихов испуганно прижимал распахнутую книжку к груди и на цыпочках возвращался в кровать, пришёптывая: «Чёртов уголовник! Когда ж тебя опять закроют?!»

В памяти Валентина Борисовича свеж ещё был тот июльский день, когда у него, пьяным кораблём плывущего по волнам поэзии Рембо и забывшегося на лавочке во дворе, кто-то грубо и бесцеремонно выдрал книжку из рук. Массивное тулово дяди Пети тогда заслонило собой солнце, и Валентин Борисович не стал возмущаться, а просто обречённо и смиренно поник, ожидая, что будет дальше. Дядя Петя коротко взглянул на обложку и хмыкнул: «А, это про силача». Затем небрежно бросил книжку на лавочку и неожиданно сжал прямо перед носом Валентина Борисовича огромный веснушчатый кулак: «Будешь ещё орать в квартире, Рембо-бо, — вырву язык». С того дня Валентин Борисович прилежно старался не орать, но иногда забывался.

Женщины родоначальником «Изнутризма» пренебрегали. Наверно, потому, что он, не имея ни материального благополучия, ни обаяния, ни красоты, ни ж/п, ни ч/ю, держался тем не менее очень высокомерно, всегда помня о своём сокрушительном таланте. Красивая, молоденькая и безропотно-послушная — вот какой мысленно представлял свою спутницу Валентин Борисович. Как следствие — годы одиночества и онанизма, вынудившие его сильно снизить планку.

Увидев Таисию Петровну на выставке, куда каким-то чудом попали и его картины, Валентин Борисович сам себе кивнул («Такая не откажет!») и решительно шагнул в направлении своей жертвы.

Тая к двадцать шестому году жизни настолько свыклась с равнодушием со стороны мужчин, что поначалу приняла настоячивые ухаживания Валентина Борисовича за некое проявление отеческой заботы и трогательную потребность в простом человеческом общении. Ей было жалко этого неказистого, худощавого и сутулого художника с длинной неопрятной бородой. Именно жалость, а не симпатия, руководила Таисией Петровной, когда она соглашалась на встречу.

И, как это часто случается с женщинами, Тая слишком поздно поняла, что неправильно интерпретировала чувства Валентина Борисовича к себе: она уже успела познакомить художника со своими родителями, он ухитрился очаровать их, а они поспешили дать согласие на брак, даже не спрашивая мнения дочери, искренне радуясь тому, что ею заинтересовался такой зрелый, благонадёжный и талантливый человек.

В то знакомство с родителями Валентин Борисович вложил всего себя без остатка и даже намного, намного больше, чем он в действительности являлся: так играют All-in с парой троек на руках. У знакомых он одолжил костюм, белую рубашку, обувь и даже ремень. Взял у матери денег и посетил дорогую парикмахерскую, где ему подровняли бороду и подстригли волосы. Продумал и отрепетировал ответы на все предполагаемые вопросы.

Неудивительно, что перед строгими, оценивающими взорами родителей Таисии Петровны предстал солидный, состоявшийся мужчина («С ним ты будешь счастлива, дочка»), успешный художник, картины которого украшают выставки во всём мире и хорошо продаются («Сможет обеспечить семью, никогда не останется без работы, с ним — как за каменной стеной»), скромный и достойный, пусть уже и не совсем молодой человек («У молодых — только ветер в голове и пустые карманы, какое с ними будущее, как детей растить?»). Ждали уже давно родители такого жениха для дочери, каким увидели Валентина Борисовича, каким они хотели его увидеть. А для Таисии Петровны, уважавшей и нежно любившей родителей, воля их была непререкаема. Она поступила как благодарная дочь.

Свадьбу сыграли скромную, но общими усилиями купили «молодым» двухкомнатную квартиру в хорошем районе (в основном усилиями отца невесты, продавшего ради этого машину и гараж).

Почти полгода новобрачные жили не тужили, проедая подаренные родственниками деньги. Столь изголодавшиеся по нежности и ласке за долгие годы отчаянного одиночества, они наслаждались теплом друг друга, неспешно постигая удивительное чувство умиротворённости («Ты теперь рядом»). Мир не мог пробиться

через плотную броню расслабленности и облегчения, выросшую на их души. Время замерло, взяв самую высокую ноту.

Но когда эйфория от совместной жизни стала отступать, обнажился холодный каменистый берег реальности и множество бытовых проблем, требующих немедленного разрешения. Таисия Петровна с тоской узрела, с кем связала свою судьбу. И... опять опоздала с пониманием, потому как уже была беременна. Фатальные ошибки преследуют бесхарактерных людей, потакающих своей слабости и неизменно находящих для неё оправдание, тех, кто добровольно слагает с себя ответственность за свои поступки и решения, чтобы повиноваться чьей-то воле, учиться на чужих оплошностях, жить головой и сердцем другого, пусть и самого близкого человека.

Бедная Таисия Петровна, вступая в брак, полагала, что теперь всё происходящее с ней, да и вокруг, будет под надёжным контролем мужа, как будто родители бережно передали её с рук на руки мудрому заступнику, покровителю. И не столь важна была Тае любовь, сколь уважение к своему мужчине. Но как, скажите на милость, уважать капризное и глупое, великовозрастное дитяtko, отвергающее весь мир (кроме, разумеется, внутреннего), а вместе с миром — заботу о жене и будущем ребёнке?!

Валентин Борисович продолжал увлечённо «изнутрировать», не стесняясь выплёскивать в покорные лица холстов по несколько шедевров в день. Отдыхал, как и раньше, с томиком любимых стихов, но теперь уже не на стареньком диване, а на широком супружеском ложе, важно выставив вновь отросшую бородёнку в потолок. Когда жена надоедала своими мелкими, пустяковыми просьбами, с которыми, кстати, вполне могла бы разобраться и сама: выбросить мусор, помыть тарелки, пропылесосить ковёр, повесить полку, — очень раздражался и если и выполнял, то только высказав вслух своё негодование: «Так-то ты обо мне радеешь? Да пропади они пропадом эти картины! Ведь надо мусор вынести, а это куда важнее, правильно? Что там Пикассо, какой ещё Малевич? Кандинский? Кто таков? Не знаю. Вот оно, мусорное ведро, наш жизненный императив, основа всего. Реальное, вонючее, переполненное, как и вся эта гнусная жизнь, не иначе». Валентин Борисович возмущался долго, даже специально растравливал себя: ему казалось, что уж в следующий раз жена, прежде чем отвлечь его какой-нибудь глупостью, хорошенько призадумается.

На плечи Таисии Петровны пали все заботы о семье. Но она терпела. Так уж её воспитали: мысль о разводе и не приходила ей в голову. Надо стараться изо всех сил, и всё образуется. Муж одумается, поймёт, как нужна его любовь и поддержка беременной

супруге, найдёт работу, и не надо будет больше унижаться, выпрашивая денег у родителей, и ребёнок родится в крепкой, дружной семье. Будь на месте Валентина Борисовича кто-нибудь другой, не столь самоотверженно и безоглядно влюблённый в самого себя, усилия Таисии Петровны наверняка не пропали бы втуне...

Рождение сына сильно изменило Валентина Борисовича. Он стал раздражительнее и злее. Ребёнок очень мешал сосредоточиться на внутреннем мире, «изнутрировать», да и жена теперь постоянно отвлекала разными досадными просьбами и требованиями. Художник никогда ранее не задумывался всерьёз о том, какой станет жизнь после появления на свет маленького Зворыкина. Валентину Борисовичу казалось, что сын подрастёт быстро и... незаметно, в сторонке, как-то сам по себе, тихонечко и деликатно. Подрастёт, чтобы удивиться, какое ему выпало счастье — быть сыном того самого Зворыкина, да, да, того самого. Но вместо этого художнику приходилось кричать и топтать ногами, только чтобы его оставили в покое.

И вроде хорошо уже понимала Таисия Петровна, что за человек Валентин Борисович, но всё равно была поражена такой неожиданной чёрствостью и равнодушием с его стороны к сыну. Муж растоптал последние её надежды на семейное счастье. Так и не сложившаяся в настоящую картину, семейная жизнь Зворыкиных, похожая на абстрактное искусство — без тепла, без любви, без смысла, катилась по инерции дальше, пока в ней не появился Сергей Ефимович Беленький, богач, меценат, редкий ценитель авангарда и андеграунда.

Даже среди искушённых искусствоведов немногие обладали столь полными и глубокими сведениями о современном искусстве, как Сергей Ефимович, тонко разбиравшийся во всех многочисленных (и часто безумных) направлениях живописи, музыки, литературы, скульптуры и т.д., возникших за последнее время. К нему в коллекцию «стекалось» большинство натужно-революционных продуктов воспалённого сознания и подсознания подземных маргиналов страны — непримиримых борцов с ненавистными «берёзками и полями». Всё самое нетривиальное, визгливо-обсценное, кичливое, безобразное, яростно-уродливое вызывало на большом круглом лице Сергея Ефимовича сладкую понимающую улыбку.

Увидев картины Зворыкина, Беленький пришёл в восторг.

— А! Чтоб его! Феномен! — довольно закричал он, разглядывая изуродованные холсты и потирая вечно потные маленькие ладошки. — Это наш человек!

Берг, незаметный, но незаменимый, тихо и почтительно спросил откуда-то из-за спины, из тьмы необъятной тени Сергея Ефимовича:

— Узнать об этом художнике побольше?

— Да! — осклабился Беленький. — И давай его ко мне!

В тот же вечер Берг привёз смущённого и немного напуганного Валентина Борисовича в городскую резиденцию Сергея Ефимовича, располагающуюся в частном секторе города, — скромный трёхэтажный особнячок с сауной, бассейном, бильярдом и чёрт знает чем ещё.

Прилегающая к домику огромная территория была огорожена высоким сплошным забором с сигнализацией и системой видеонаблюдения. Несколько беседок, фонтан, зимний сад, крытый корт, лесопарковая зона с аккуратными аллеями и скамейками для отдыха — всё это ненавязчиво свидетельствовало о благополучии и достатке владельца.

Поднявшись по устланным коврами лестницам на второй этаж в сопровождении молчаливого Берга, Валентин Борисович увидел уже спешащего навстречу с распахнутыми объёмами хозяина и совсем оторопел.

— Здравствуй, до-ро-гой! — с чувством, как-то растроганно и проникновенно произнёс Сергей Ефимович и прижал художника к себе. — Ждал, ждал! — в сердцах воскликнул Беленький, чуть отклонившись назад, не разжимая объятий, чтобы заглянуть художнику в глаза.

Валентин Борисович ощутил запах духов и пота.

— Здравсте, — буркнул он в ответ.

— Ну, пойдём, пойдём скорее в кабинет, поговорим о делах, — широко улыбнулся Беленький, обнажив ряды ровных белых зубов.

Разговор затянулся до глубокой ночи, хотя поначалу Валентин Борисович был угрюм и скован, сидел на самом краешке огромного мягкого кресла, сгорбившись и положив руки на колени. Он с маниакальным упорством разглядывал медвежью голову расстеленной на полу шкуры и односложно отвечал на вопросы хозяина.

После нескольких фужеров шампанского художник заметно расслабился, сел поудобнее, вытянул руки на подлокотниках кресла, грея в правой ладони уже бокал с коньяком, и неторопливо рассказывал о своей тяжкой доле ласково улыбающемуся хозяину.

Чуть позже Валентин Борисович дегустировал кальвадос и разъяснял значение «изнутризма» для мирового искусства. Он успел вскочить с кресла и ходил теперь взад-вперёд по кабинету, самозабвенно размахивая руками и крутя гривастой головой.

Спустя ещё какое-то время Валентин Борисович потребовал абсента, напитка, столь популярного у его любимых поэтов, и Берг, увидев одобрительный кивок Сергея Ефимовича, принёс на подносе бокал, специальную ложку (с дырочками), серебряную за-

жигалку, хрустальную вазочку с кусочками сахара и воду, от которой художник целомудренно отказался, не желая портить чистоту восприятия.

За абсентом последовала текила, лайм и горькие слёзы. Валентин Борисович жаловался на жену и ребёнка, не дающих развернуться его таланту.

Виски и соль погрузили его в глубокую философскую задумчивость, а ром лился уже в оставленное разумом тело.

Валентин Борисович не помнил, как оказался дома. Икая и выпучивая на жену остекленевшие глаза, он всё повторял заплетающимся голосом, пока не заснул: «Медвежья морда, вот такая... Понимаешь?! Нет, ты понимаешь? Медвежья морда...»

Проснулся Валентин Борисович в ранний предрассветный час. Его всего трясло. Он рывком сел на кровати, схватил в кулаки пряди волос и выдрал их из головы.

— Господи Боже, что же я наделал?! — дико прошептал он.

Таисия Петровна проснулась, но не подала вида, а продолжила лежать, отвернувшись к стене. Ей было противно.

— Тая, Тая, Таюша, — Валентин Борисович легонько прикоснулся к её плечу, так, словно боялся испачкать её. — Помоги мне, помоги, пожалуйста, помоги мне...

Если бы Тая нашла в себе силы пожалеть его именно тогда, если бы повернулась к нему...

Но она не шевельнулась — только крепче стиснула зубы. Обида на мужа, этого напыщенного, самодовольного бездаря, бестолкового, инфантильного и эгоистичного глупца, многократно усиленная к тому же брезгливым отвращением от густого перегара, отравившего воздух, погубила в ней и остатки терпения, и слабые ростки сочувствия. Ожесточившееся сердце Таисии Петровны не дрогнуло, даже когда она слышала тоненькие жалобные звуки: муж тихонько поскуливал от ужаса.

«Это же... белая горячка», — подумала Тая, но вслух неожиданно жёстко сказала:

— Замолчи! Ребёнка разбудишь, пьянь.

Муж затих.

Весь следующий день он беспробудно спал, но когда наступил вечер, внезапно вскочил, растрёпанный, всклокоченный, с безумными, воспалёнными глазами, зрачки которых запутались в сетях полопавшихся капилляров, и заметался по квартире, складывая в развернутый зев чемодана одежду, судорожно выкапывая из ящиков бумаги и собирая со всех углов притаившиеся там картины.

Погрузив всё это в такси, он уехал, так ничего и не объяснив. Только спустя многие годы, во время третьей и последней их

встречи (несколько первых месяцев жизни Зворыкина-младшего не в счёт), Джек понял — почему...

В детстве Женя отчаянно завидовал тем, кто жил с отцом и матерью. Даже Митьке, худосочному, всегда тревожно озирающемуся в ожидании крепкого подзатыльника и матерной ругани, запуганному Митьке, чей отец, напившись «мёртвой водицы», гонялся за вопящей от страха женой по двору с топором. Даже молчаливому и угрюмому Петюне, которого контуженный «батяня-комбат» каждый вечер отправлял собирать под балконами окурки, чтобы вытрясти из них остатки содержимого в свою вонючую трубку. Злые, некрасивые, грязные, пьющие, скорые на расправу — для детских сердец, умеющих прощать и романтизировать, эти слабые и плохие люди оставались отцами, сильными, всемогущими великанами, просто потому что не бросили свою семью, не дезертировали.

Во дворе, как и на деревне, «от людей не спрятаться» — ребята знали всё друг о друге: кто где живёт, в скольких комнатах, сколько у кого братьев и сестёр и т.д., но, рассказывая про отца, каждый норовил приврать: у одного отец владел всеми боевыми искусствами мира, у другого — каждый месяц покупал новую дорогую машину, у третьего — был такой умный, что сам президент обращался к нему за советом. Джеку нечего было сказать.

Сколько раз он просил у матери разрешения увидеться с отцом! Но Таисия Петровна, такая мягкая и податливая в остальном, в этом решительно и упорно отказывала, пресекая попытки сына словами: «Не любит он тебя, Женечка. Он уж и забыл о тебе давно».

Лишь однажды сердце Таисии Петровны дрогнуло.

Джек тогда учился в первом классе и на уроке труда ученикам дали задание сделать из бумаги чемоданчики и инструменты — отвёртки, молотки, пассатижи — в подарок отцам на 23 февраля. Чемоданчик у Джека получился что надо, видно было, что он очень старался. Только кому дарить? Надпись на чемоданчике гласила: «В подарок папе». Но кандидатура Валентина Борисовича даже не обсуждалась. Когда Женя заикнулся было, Таисия Петровна пришла в страшный, особенно для неё, гнев и закричала: «Да не отец он тебе! И слышать не хочу! Ни слова!» Дедушка, отец Таисии Петровны, уже умер. Других родственников-мужчин не было, и Джек вручил чемоданчик (на радость злым языкам) дяде Вове, их соседу по этажу, несколько раз чинившему Джеку велосипед.

В итоге дядя Вова был растроган, Джек удручён, а Таисия Петровна постаралась поскорее вытеснить из памяти эту печальную историю. И, наверно, преуспела бы, если случайно не услышала в школе, на родительском собрании, фразу из чужого разговора:

— А мой ребёнок принёс домой чемоданчик, а на нём написано: «В подарок попе». Ошибся в одной букве, представляешь? Муж так смеялся...

Таисия Петровна вскочила, опрокинув стул, из-за парты и бросилась прочь из класса. Горячие слёзы, брызнувшие из глаз, обжигали ей руки.

На следующий день светящийся от радости Джек, держа за руку Зинаиду Георгиевну, напевая и подпрыгивая, шёл к папе в мастерскую. Жене казалось, что это лучший день в его жизни, самый торжественный, самый долгожданный, выстраданный. Душа Жени ликовала. Теперь-то всё наладится! Встанет на свои места! Ведь ждал его не призрак, сам разговор о котором — табу, а живой, настоящий, из плоти и крови, реальный человек — отец!

Но Валентин Борисович сына не ждал, и первая их встреча оказалась настолько мимолётной, пустой и формальной, что Джек сначала даже не успел осознать, насколько он разочарован и расстроен. Через пару дней те минуты, что он провёл в мастерской, выцвели в сознании, словно вялое, абсурдное сновидение. Единственным воспоминанием об отце на долгие годы стало воспоминание о шоколадном батончике «Сникерс», испачканном масляной краской, которым Джека одарил Валентин Борисович, на несколько минут оторвавшийся от истязания холста. Джек съел батончик по дороге домой, глядя куда-то вовне мира безрадостными глазами и еле волоча ноги вслед за бабушкой, а обёртку выбросил в урну.

Му и Манул: Part 2

Проходимцем был Манул, каких свет не видывал, но никогда не проходил он мимо неожиданной удачи, не схватив её крепко за горло. Потому и приходилось ей, бедняжке, сопутствовать прожжённому негодяю во всех его тёмных, гадких делах. Несчастливая удача, вот уж действительно — дьявольское невезение!

Прокравшись в холодный, оковевший дом Судии, пока Кальдера, лёжа без сознания в хрустком от осколков ложе, орошала землю кровью, Манул на удивление скоро отыскал нужную комнату и на цыпочках подобрался к опутанному верёвками телу огнеподобного.

От страха трясло толстяка Манула так, что клацали зубы, но сильнее склизкого ужаса, ползущего по спине под взмокнувшей рубахой, оказалось желание обладать силой, возлежащей ныне на огненном глазе покойного Судии, — Луной.

— Тебе ведь больше она не понадобится, — прошептал Манул и одним резким движением сцапал монету, крепко сжав её в пухлой, маленькой, как у ребёнка, ладошке.

Из обнажившейся глазницы огнерождённого вырвалась могучая, ослепительно-яркая струя пламени и через мгновение покинула дом сквозь дыру в потолке, устремившись в небеса, а Манул возопил так, что сразу же охрип, ибо раскалённая монета сильно ожгла ладонь вора.

Пламя снова показалось в недобром глазе Судии, но теперь оно, высвобождаясь, фонтанировало во все стороны, заливая всё вокруг яростным оранжевым.

Хрипящий от боли, но так и не разжавший покалеченной ладони, Манул выскочил из полыхавшего дома. Огненные щупальца устремились вслед за ним, тщетно пытаясь схватить мерзавца за пятки, да не дотянулись.

Долго и безоглядно бежал Манул, не разбирая дороги, позабыв обо всём на свете, а когда очнулся, обнаружил себя столь далеко от родных мест, что никак не мог поверить в подлинность происходящего. Ни одному человеку в мире не под силу было покрыть такое расстояние за раз — без отдыха и сна.

Разжав обожжённую ладонь, Манул взглянул на монету, мелко подрагивающую на огромных вздувшихся пузырях с тканевой жидкостью.

С Луны на вора уставилось гневное око — глаз мёртвого Судии.

Манул икнул от ужаса и перевернул Луну. Но и с другой её стороны взирал на вора жуткий огненный глаз.

— Ну и пырся, — вдруг тихо сказал Манул и усмехнулся: — Я забрал твою силу.

Джерри в «бетонном капкане»

Женя, в «Жестокой Академии» наречённый Джерри, тоже вырос в неполной семье, но, в отличие от Джека, видевшего за всю свою сознательную жизнь Валентина Борисовича только трижды, каждый год общался с отцом во время летних каникул. Едва июнь начинал греть среднюю полосу робкими, ласковыми солнечными лучами, Джерри отправлялся на юг России, где уже много лет жил Владимир Свергун в небольшом курортном посёлке с труднопроизносимым названием, доставшимся в наследство от исчезнувшего с лица земли горского племени. Владимир Иванович работал таксистом, имел армейскую татуировку на могучем плече и целую армию брошенных детей от четырёх жён. Мать Джерри, Наталья Егоровна, искренне ненавидела бывшего супруга, но сына к нему на лето отпускала: юг всё-таки, море, солнце, горы, свежий воздух...

Отношения Джерри с отцом складывались непросто, а иногда и не складывались вовсе. Во втором случае Джерри, страдая, считал дни до окончания лета.

Владимир Иванович — здоровенный злой мужик, под два метра ростом, с дюжими кулаками и свирепыми глазами навывкате — в молодости занимался греблей, боксом и тяжёлой атлетикой. Даже нарастив с возрастом пузцо, он каждый день в охотку подтягивался на перекладине во дворе, чётко соблюдая дыхание, около семидесяти раз в три подхода, отжимался сто раз классическим способом (на ладонях, отставленных друг от друга в ширину плеч, до земли) и купался в море во все времена года, в любую погоду.

И при всём этом, как ни странно, Свергун-старший был хроническим алкоголиком с весьма дурным нравом — гремучая смесь! Он мог пить водку сутки напролёт, постепенно стекленея глазами, бормоча несусветную чушь, но продолжая твёрдо стоять на ногах. В туземных кафешках и барах его хорошо знали: не раз и не два Свергун-старший, «накидавшись», как он сам выражался, подсаживался к незнакомым людям за столик и нарочито громко заговаривал с ними, а потом, придравшись к какому-нибудь неосторожному слову, методично бил их, прищёпывая ругательства со вкусом и хохотком.

Однажды он затеял драку с двумя отдыхающими («отдыхайками» по-местному) из-за футбольного матча, транслировавшегося в кафе по большому экрану. Сборная Франции встречалась с португальцами. Владимиру Ивановичу не понравилось, что «отдыхайки» болели за сборную Португалии. Очень не понравилось. Парадокс заключался в том, что из всех видов спорта Владимир Иванович не любил и даже презирал только один — футбол. Тот достопамятный матч закончился победой французов с минимальным счётом, а в травмпункт местной больницы попали двое сибиряков, потерпевших болезненное поражение в кулачном бою. Владимир Иванович, поддерживая хорошую физическую форму, сохранял такое важное для всякого зрелого мужчины чувство — уважения к себе.

А вот Джерри не отжимался и не подтягивался, был худеньким и робким, как июньское солнышко в средней полосе России, носил длинные чёрные волосы и сильно сутулился. Приезжая к отцу, встречая взгляд этих страшных выкаченных глаз, немного озадаченных («Неужели ты и правда мой сын?!»), чуть подёрнутых презрением и едва уловимой любовью, Джерри смущался и краснел, испытывая мучительное чувство стыда за своё существование. Джерри любил отца, пусть и непонятной, плохо осознанной любовью, перемешанной со страхом, странной любовью. Отец казался ему сгустком первобытной силы и ярости.

Двухкомнатная квартира Владимира Ивановича находилась на семнадцатом этаже дома. С одной стороны здания она выглядела во внутренний дворик — окнами маленькой комнаты и

балконом, примыкающим к кухне. С другой стороны здания — огромной просторной лоджией прямо на море, сливающееся в далёком-далеке с небом. Мальчику отводилась комната с окнами во внутренний двор, соседствующая с кухней.

Рядом с высоткой Свергуна-старшего стояли ещё две жилых многоэтажки. Одно здание торцом примыкало к дому свирепого таксиста, другое располагалось параллельно, так, что все три дома образовывали вместе огромную заглавную «П» — «подкову на счастье», как любил приговаривать не без гордости Владимир Иванович, «бетонный капкан», как шептал про себя Джерри.

Дворик, наглухо закатанный в асфальт, без единого деревца, стиснутый с трёх сторон высотными домами, а с четвёртой подпираемый каким-то непонятным уродливым строением с подземной стоянкой, производил угнетающее впечатление. Раскаливаясь в жару всеми своими внутренними боками, словно камнями в бане, он натужно вдыхал в квартиры невыносимую духоту. Почти все окна параллельного дома были заклеены фольгой от жарящего беспощадно солнца. В те немногие окна, что не были заклеены, Джерри наблюдал за жизнью незнакомых людей, ловя редкие моменты случайной эротики.

Акустика в «бетонном капкане» была такова, что если внизу кто-то тихо кашлял, то на верхних этажах раздавались раскаты грома. Что уж говорить о тех страшных минутах, когда во дворе визжали маленькие дети или в него лихо въезжал на раздолбанной подержанной иномарке молодой абрек, дёргающий головой в такт оглушительным суррогатам музыки.

Ночью «бетонный капкан» превращался в зловещее, полное потусторонних шорохов место. Джерри подолгу не мог уснуть, потому что шаги, раздававшиеся где-то внизу, но подхваченные эхом, приближались из крошечной южной темноты прямо к его кровати, и от этого ощущения никак не удавалось избавиться. Только раскатистый гул безобразного шума, доносившийся с той стороны дома, что выходила на море, успокаивал и утешал своей неизбывной будничной праздничностью. В такие мгновения Джерри радовался, что отец живёт недалеко от главной артерии курорта — набережной.

Если во всём остальном мире все дороги вели в Рим, то здесь — исключительно на набережную, бывшую и достопримечательностью, и кормилицей местного населения. Выложенная аккуратной мозаикой брусчатки, нарядная, многоликая, толпоносная, она вытянулась вдоль всего посёлка длинной кокетливой дугой. Летом на её широких аллеях, разделённых ухоженными клумбами с цветами, красивыми фонтанами, было не протолкнуться. Разомлевшие,

расслабленные стада отдыхающих со всех уголков России валяж-но прохаживались туда-сюда-обратно, лениво поглядывая по сторонам и друг на друга. Ходили целыми семьями, взявшись за руки, в рядок, занимая всю ширину дороги так, что очень тяжело было просочиться мимо. Свергун-старший, встречаясь с такой шеренгой, всегда раздражённо таранил её цепи, беспощадно разрывая их, и, пройдя пару шагов, гневно оборачивался, пуча глаза на мужчин, но «отдыхайки» избегали конфликтов. И не только потому, что боялись, но и потому, что курорт преображал их: размягчал волю, выдувал тёплым солёным ветром из их умиротворённых сердец злость и решимость, ошпаривал обжигающими солнечными лучами и счищал наросшие в родных городах слои жестокости.

Вдоль белоснежных перил, отделяющих набережную от пляжа, сидели художники в окружении свит своих картин и рисовали портреты отдыхающих. Чем сильнее и ярче проявлялся талант портретиста, тем больше зевак приостанавливалось посмотреть, как рождаются сильно улучшенные копии оригиналов, смущённо застывших на услужливых стульях. Холсты южных мастеров, сохраняя наглядное сходство, благообразно преображали лица: похожие на проросший картофель бородавки на лицах ожиревших матрон уменьшались до размеров игривых мушек, придающих миленький шарм, а злые и безразличные блины рях стареющих бизнесменов становились добродушными и открытыми, словно каждый их них вот только что бескорыстно сделал доброе дело, да не одно!

Те из художников, кто не умел достойно «спасать мир красотой», губили его стремительными дешёвыми шаржами, рассчитанными, безусловно, на людей с внушительным чувством юмора, считающих возможным платить за насмешку над собой и покаленное полотно. Так появлялись на свет Божий огромные мясистые носы, оттопыренные коршуновы крылья ушей, сросшиеся гармошки бровей, воздушные шарики щёк, вот-вот готовые улететь с обезображенного, но непременно смеющегося лица — а улыбка изображаемого была как бы оправданием художника-шаржиста: мол, весело же, да, и совсем не обидно, да, поэтому и посмеёмся вместе, да, вот и хорошо, вот и чудненько, с вас столько-то столько-то, вот и ладушки, давайте я скорее заверну вам ваш портрет, да, похож, ведь правда, да, хехехехехе, это я шучу, шучу, вы очень красивы! И жертвы тоже вежливо посмеивались, не совсем понимая, зачем им понадобился искажённый вариант собственного обличья, но довольные тем, что выполнили ещё один пункт из незримого плана, довлеющего над каждым туристом.

Запечатлеть свой неповторимый облик отдыхающие старались не только на холсте, но и на фото: несметные орды голодных фо-

тографов с измученными костлявыми доходягами-обезьянками, удавами, попугаями и прочей чуть живой от жары живностью оккупировали набережную. Сфотографироваться можно было и с выряженными в национальные костюмы индейцами, и с великанами-африканцами, и с криво сшитым Шреком, и с весельчаком Микки Маусом. Микки был особенным! С настоящим южным юморком он подходил к стоящей неподалёку урне и, протаскивая свой длинный хвост между ног на другую сторону тулова, делал вид, что мочится. Как несчастные рабы ростовых кукол выдерживали в своих тяжёлых костюмах палящее пекло полдня и духоту, для Джерри оставалось загадкой.

Уличные музыканты появлялись на набережной попозже, ближе к вечеру, когда зной спадал и солнечные лучи насыщались винными оттенками заката. Музыкантов, как и художников, было много всяких: саксофонисты, трубачи, скрипачи, флейтисты, балалаечники — кто во что горазд.

Сумасшедший дед, небритыми скулами, всклокоченными волосами и надрывным каркающим голосом напоминающий Мамонова, бил наотмашь мимо всех нот по старенькому аккордеону и пугал детишек атональными интерпретациями старых военных песен. Начинать играть он всегда вдруг, всегда внезапно, словно из засады, из-за угла. Так, не замечая его, люди беспечно шли мимо, когда на них неожиданно обрушивался яростный шквал звуков аккордеона и хриплого крика. Прохожие нервно вздрагивали — а кто-то и подпрыгивал на месте, как ужаленный, — и ускоряли шаг, чтобы поскорее скрыться в толпе от музыкального старца.

Не менее старенькая, но куда более опрятная и безопасная бабулечка в тенистой аллее дребезжащим голоском выводила трогательные романсы, аккомпанируя себе на гитаре скрюченными и не всегда уже послушными пальцами. Одетая во всё белое, с длинной шляпкой на голове, она не замечала никого вокруг и была целиком погружена в себя. Даже исполняемые ею песни лишь маскировали отрешённость и оторванность от происходящего, словно пело и играло только тело, а душа витала где-то далече.

Угрюмый одноногий инвалид, сидя на стуле, держал в руках подключенную полуакустику, но никогда на ней не играл — только иногда делал вид, что настраивает, — потому что... не умел играть. Но расчёт был вполне понятен. В отличие, скажем, от расчёта тех неисчислимых трёхаккордных бардов, «поющих» и «играющих» скорее ради собственного удовольствия, нежели ради выгоды, потому что их футляры, чехлы и шляпы всегда пустовали.

Зато хорошо — по меркам уличных музыкантов — зарабатывали индейцы из Перу, биг-бэнд которых каждый летний вечер огла-

шал набережную светлым и беззаботным чириканьем, посвистом и перестуком на национальных инструментах. В перерывах между композициями индейцы великодушно позволяли всем желающим сделать с ними фото на память, обнимали отдыхающих, прилежно улыбаясь, и продавали диски с записями своих песен.

Неподалёку от них танцевали брейк, естественно, уже под другую музыку, и вдоль круга, образованного любопытной толпой туристов, ходил низенький жилистый оборвыш с коробкой, пританцовывая и показывая жестах, куда кидать деньги, в то время как его товарищи выделяли головокружительные па и трюки на грани акробатики и танца. Благоклонно похлопывающие в такт музыке и движениям исполнителей отдыхающие охотно расставались с мелкой монетой, десятками и пятидесятирублёвками.

Набережная была приютом для несметного безработного сброда (для тех, кто прозябал без настоящей работы, где действительно надо работать) всех мастей: астрологов, колдунов, вещунов, гадалок, хиромантов, предсказателей, экстрасенсов, профессоров народной медицины, самоучек-массажистов и прочих велеречивых шарлатанов. Подобно комариным полчищам, кружили они и зудели в людских потоках, выискивая простаков и тех, кто готов был раскошелиться либо от скуки, либо из вялого интереса.

Также на набережной за символическую плату можно было узнать свой вес, рост, проверить силу своего удара на выпирающем резиновом пузе бутафорского пирата и ловкость в извлечении мягких игрушек из стеклянного чрева при помощи управляемых джойстиком щупалец, поглазеть в подзорную трубу на море, пострелять из «аналогов» настоящего оружия в железных зайцев, наесться до рвоты сахарной ваты (что многие детишки и делали со сладострастным остервенением), ознакомиться со своим будущим, выслушав автомат, предсказывающий судьбу, прокатиться на раскалённом чадающем тракторе, разрисованном под паровозик, или с велорикшей, а то и самому взять напрокат велосипед, чтобы «тряхнуть стариной», освежить детские воспоминания и с отчаянным криком врезаться в не успевших разбежаться с дороги несчастных — в общем, был бы турист, а дело для него найдётся.

Все усилия курортного посёлка были направлены на то, чтобы выжать деньгу из глупых, ненавистных «отдыхаек» любым возможным способом, пусть копеечку, но выцарапать у этих мерзких постылых интервентов, пока лето, пока «сезон», ведь, как хорошо известно на юге, «лето год кормит». А закончится бархатный сентябрь, разъедутся по своим холодным городам «отдыхайки», и останется только одно — считать под завывание ветра и многочасовые дожди накопленные за лето деньги, драгоценный капитал,

которого должно хватить до следующего сезона, ибо работы зимой на юге, как снега, — чуть-чуть.

В «сезон» Владимир Иванович работал сутки напролёт, почти без выходных, стараясь накопить на долгую зиму и что-то отложить на счёт в банке. В свободное время он расслаблялся водкой, баней, преферансом с друзьями и мимолётными «кувырканиями» со случайно подвернувшимися женщинами, желательно из отдыхающих, чтобы очередной жене сорока ничего не принесла на хвосте: посёлочек-то тесный, теснее даже чем мир. Только когда подрос, Джерри правильно понял любимую присказку отца: «Сынок, греблю на старость не откладывай».

Когда Владимира Ивановича не было дома, маленький Джерри был предоставлен сам себе, так как жён отца сторонился и стеснялся, да и они чужого ребёнка — тоже. С некоторыми из этих несчастливых женщин Джерри поддерживал вялые приятельские отношения, похожие на никак не желающие разгораться сырые дрова, с некоторыми — обходился вежливыми ритуалами повседневности.

Ожидание отца всегда тянулось в томительном одиночестве. Джерри читал книжки — какие только попадались под руку — до рези в глазах или уныло наблюдал с балкона за скучной муравьиной жизнью внизу, в «бетонном капкане», или всматривался в заоблачную даль моря с лоджии, или устраивал себе второй и третий обед, без аппетита пожёвывая пищу и часто выбрасывая чуть тронутые куски в мусорное ведро, а потом прикрывая их другим мусором, чтобы отец не заметил. Но всё это в конце концов жутко надоедало, и Джерри часами валялся на кровати, глядя в потолок, дуря от безделья. Иногда он так и засыпал, но даже во сне, как ему казалось, мучился от скуки.

Шаги отца на лестничной клетке он узнавал безошибочно. В тот момент, когда Свергун-старший поворачивал ключ в замочной скважине, Джерри уже добегал до коридора и в великом смущении и радости стоял напротив открывающейся двери. Сам себе мальчик напоминал щенка, дождавшегося прихода хозяина.

Если Владимир Иванович приходил в благодушном (собирался выпить купленной в магазине к ужину водочки) или приподнятом (уже выпил пару кружечек пива по дороге домой и собирался выпить купленной в магазине к ужину водочки) настроении, то с порога, ещё только разуваясь, не глядя на сына, бодро спрашивал: «Ну, что, Женёк, перекусим и на море?» Или: «Что, домосед, не хочешь на набережную прогуляться?» И Джерри понимал: отчаянное веселье сейчас начнётся...

Но заканчивалось оно всегда плохо — отчаянное веселье. Так плохо, что маленький Женя трепетал от одной мысли об опустев-

ших, жутких глазищах пьяного отца с неподвижными зрачками, в которых жизнь разума замедлилась настолько, что и вовсе замерла.

Однажды Свергун-старший катал на себе чертей. И годы спустя Джерри вспоминал тот вечер и ту ночь с содроганием и тошнотой.

Домой Владимир Иванович пришёл хмельным. Разувшись и огласив квартиру весёлым рыком: «Кто со мной?! — пауза. — Тот герой!» — он прошёл на кухню с пакетом в руках и уже через несколько секунд выкладывал на стол водку, красное вино, сёмгу, сыр, копчёную колбасу, маринованные огурцы.

Лариса, тогда ещё только сожительница, в будущем — пятая супружница Владимира Ивановича, глядя на обрастающий закусками стол, слабо улыбнулась и вздохнула:

— Ой, Володик, опять...

— Так тебя никто и не заставляет. Не хочешь — не пей, — сердито посмотрел на неё «Володик». — Налей себе сока.

Стушевавшись, Лариса поспешила испуганно покачать головой и пробормотать:

— Нет, нет, да я ничего... Лучше вина.

Владимир Иванович довольно хмыкнул и промолчал. Штопор в его крепкой руке уже вгрызлся в податливую плоть винной пробки.

Джерри устроился на стуле с высокой спинкой, поближе к балкону. Он знал, что и ему достанется бокал вина: ничего плохого Свергун-старший в этом не видел. Джерри зачарованно следил за отцом: как тот лёгким, небрежным движением выдёргивает пробку из бутылки и разливает, взбивая узенькие слои пены, по бокалам сладко пахнущее, но с уловимым душком спирта вино, как, отвинтив крышку с другой бутылки, щёлкает её по горлышку пальцем, оглушая скаредную капельницу, и льёт в гранёный стакан — а Владимир Иванович почему-то любил пить водку именно из таких — бесцветное зелье, крадущее разум и душу из глаз. Всё это Свергун-старший проделывал молча и сосредоточенно, будто некий обряд.

Ужин продолжался недолго: пили живо и в охотку, ели с аппетитом, говорили обо всём и ни о чём, как это часто случается за столом. Джерри смаковал креплёное южное вино, ощущая, как тёплые волны удовольствия накатывают одна за одной на берег его сознания. Если бы его, мальчика, только что окончившего шестой класс, сейчас увидела мама, то следующее лето, как пить дать, он провёл бы в пыльном и душном родном городе. Но мать была далеко, а вино Джерри нравилось!

А ещё больше ему нравилось то, что отчаянное веселье никогда не заканчивалось на первых бутылках, а плавно перетекало на набережную, чтобы там уже по-настоящему развернуться, раска-

титься, распахнуться во всю необъятную ширину русской безудержности и неприкаянности.

Пьяный отец шагал размашисто, блаженная улыбка сверкала на устах. Ивы и платаны, росшие вдоль дороги на набережную, согласно кивали ему, шелестя листвою. Лариса, вцепившаяся в руку своего будущего несчастья, тоже шла с видимым удовольствием, мурлыкая себе под нос какую-то весёлую песенку. Джерри вела за руку эйфория, захлестнувшая мир разноцветными брызгами.

В первом кафе они ели шашлык и любовались морем. Шашлык был настолько сухим, что они тут же запили его: Владимир Иванович — водкой, Лариса — шампанским, Джерри — кокой-колой. Туалет в кафе, к их изумлению, оказался платным, что даже по южным меркам было чересчур меркантильно. Свергун-старший страшно разозлился. Покричав на персонал, он получил ключ от уборной бесплатно, но, вернувшись, сразу попросил счёт, ибо был обижен столь бесстыдным вымогательством. Путешествие по набережной обещало много приключений!

Съев по мороженому и поглазев на выступление местной рок-группы в составе двух электрогитар и барабанщика, игравшей вездесущий «Smoke On The Water», маленькая компания добралась до узбекского кафе, где утонула в мягких удобных диванчиках, невысоких, накрытых одеялами с красивыми узорами. В центре, окружённом сиденьями по периметру, располагался приземистый столик, на котором вскоре появились пиалы и заварочный чайничек с зелёным чаем, дымящийся плов, каре барашка — для Джерри, лагман и долма — для Владимира Ивановича и Ларисы, овощи и зелень, лепёшки, сок и, конечно, водка, которую вместе с Владимиром Ивановичем теперь пила и Лариса, пусть и маленькими глоточками, морщась и стеноя, но пила. Джерри посматривал на взрослых с тревогой и тоской: эйфория уже помахала ему ручкой, растворившись в лёгком недомогании и сонливости, а вечер только разгонялся.

Со всех сторон оглушительно бухала музыка, набережная жгла уставшие глаза мальчика ослепительными огнями. Чуть покачиваясь в такт ночи, Владимир Иванович и Лариса шли в обнимку. Джерри старался не отставать от них, то и дело вынужденный сворачивать в сторону и пропускать белые размытые пятна людей, а потом вприпрыжку догонять могучую спину отца, в которую выросла тоненькая талия Ларисы. Аллея, на которой снова оказались двое неутомимых путешественников и один очень утомлённый, была похожа на взлётную полосу. Тошнотворно пахло сахарной ватой и кисшим весь день на вертеле мясом.

А после было ещё несколько кафе, уже ничем не отличавшихся друг от друга, вязнувших в шквально накатывающей дремоте.

В одном из них, чтобы не свалиться со стула прямо в сон, Джерри украдкой кормил трущегося под столом об ноги кота невкусными и странными фрикадельками со своей тарелки. Вскоре объявился ещё один кот, а затем прибежали ещё — мальчик чувствовал, как они сплетались в один большой клубок в его ногах, — и Джерри аккуратно, стараясь не расплескать подливы, снял со стола свою тарелку, чтобы поставить вниз под одобрительное урчание. Хорошо, что отец ничего не заметил остекленевшими глазами: Владимир Иванович готов был сорить тысячами на алкоголь, но за грошовые фрикадельки, отданные кошкам, Джерри бы досталось. Мальчик плохо понимал этот парадокс в характере отца. Как-то раз, надеясь на похвалу, он рассказал Владимиру Ивановичу, что бросил десятку уличному музыканту, но Свергун-старший, заметно помрачнев, сказал: «А ты её заработал — эту десятку?» Десятка была из денег, которые отец давал ему на карманные расходы, и Джерри тогда густо покраснел и отмолчался, не поднимая глаз, чтобы не обжечься о пристальный взгляд Владимира Ивановича.

После кафе с кошками новоявленный Фельдфебель Кнопф, его подруга и засыпающий на ходу сынишка повернули домой, уже глубоко за полночь. Шли мучительно медленно, потому что отец был вдрызг пьян. Он не шатался, не падал, но ноги его, казалось, перестали гнуться, и Владимир Иванович чеканил шаг, как на военном параде. Лариса, благоразумно перешедшая с водки на сок в предпредпоследнем кафе, уже успела порядком протрезветь и испуганно поглядывала на своего одереженевшего кавалера. Джерри еле плёлся где-то позади, спотыкаясь и запинаясь ногами друг о дружку. Он хотел только одного: чтобы всё поскорее закончилось спасительным сном и больше никаких кафе, никакой набережной, никакого отчаянного веселья. «Дядюшка сон, заberi меня отсюда», — бормотал мальчик.

Но дома отец затеял поздний ужин. Побросав в одну кастрюлю пельмени, сосиски и покупные котлеты-полуфабрикаты, залив всё это водой, он поставил адское варево на большой огонь и уснул, едва присев на стул. Лариса спряталась в спальне и больше не показывалась.

— Да что же это такое? — возмущённо пискнул маленький Джерри, вышедший на кухню в трусах попить воды и заглянувший в дымящуюся кастрюлю. С трудом сдерживая тошноту, он выключил конфорку и побежал в свою комнату, где долго и тяжело дышал, сглатывая слюну. Будить отца Джерри не собирался, потому как знал по опыту, что ни к чему хорошему это не приведёт: проснётся только тело, а сон разума, как известно, рождает чудовищ.

Несмотря на наваливающуюся усталость, Джерри долго ворочался и ёрзал в кровати, скомкав снежные просторы простыней в отвердевшие холмы-сугробы и уродливые овраги — неудобные комки и складки, и никак не мог уснуть. Дядюшка сон оказался ещё тем обманщиком! Поманив мальчика пальцем, он отбежал на приличное расстояние и оттуда снова призывно махал, веселясь от души.

А вот Джерри было невесело. Набережная с другой стороны дома затихла: глубокая, чёрная-пречёрная ночь поглотила и бесчисленные громогласные кафешки, опутанные взлётными полосами аллей, и толпы отдыхающих, подобные половодью, — ни звука человеческого присутствия в омертвевшем мире. Лариса не закрыла окна лоджии и дверь, ведущую в другую комнату, видимо, так и заснув в ожидании «Володика». Поэтому ветер, пробираясь в квартиру через лоджию, хрипло завывал, пробегая по комнатам, и прыгал с балкона в «бетонный капкан», ероша и вздымая белые шторы над головой мальчика. Джерри навязчиво преследовала мысль, что некто или нечто вот-вот прямо по воздуху шагнёт сквозь реющие шторы к нему в кровать, а может, наоборот, подкрадётся из коридора, и все эти мелкие, едва уловимые звуки — шорохи, скрипы, щелчки, стуки — принадлежат этой затаившейся во тьме твари. Только серьёзным усилием воли Джерри сдерживался, чтобы не вскочить и не включить свет.

С кухни доносился натужный храп отца, его тяжёлое, надсадное хрипение, прерывающееся иногда судорожными всхлипами задыхающегося во сне человека и невнятным бессвязным ворчанием с бульканьем и стонами, от чего ночь становилась ещё абсурднее и страшнее: всё было не так, как надо, всё не слава Богу. Джерри мечтал о том, чтобы эта пытка как можно скорее прекратилась, но средство для этого было только одно — заснуть, упасть с колесницы творящейся яви, отпустив вожжи сознания...

...чтобы очнуться через несколько секунд всё в той же злобещей темноте, слушая свист и вой ветра, испуганно разглядывая замершую в воздухе над головой почти в горизонтальном положении штору, словно кто-то невидимый парил под потолком, подставив ей огромную спину. Джерри сел на кровати. Ему показалось, что отец позвал его с кухни слабым и каким-то чужим голосом. Мальчик спустил ноги на пол и, забыв про тапочки, босиком, осторожно побрёл в направлении коридора. Из-за кинжального, пронизывающего квартиру сквозняка Джерри дрожал. А может, сквозняк был ни при чём... Кухня зияла чёрной ямой, но даже в сплошном мраке Джерри различил контуры привалившегося к спинке стула отца, большого и корявого, как гора. Джерри подошёл вплотную и наклонился к лицу отца. Веки на глазах отца были опущены, но

мелко и противоестественно подрагивали, точно бы за ними кто-то копошился, стремясь вырваться наружу, голова чуть откинута назад, рот приоткрыт. Волосы зашевелились на голове мальчика, и он почувствовал: что-то ужасное неумолимо надвигается и должно произойти сейчас, прямо сейчас! Ощущение это настолько загустело, стало таким сильным, что его можно было потрогать рукой. Неожиданно и резко кухня посветлела до полумрака, и Джерри вскрикнул, увидев, как со всех сторон комками полетела сырая земля, жирная, чавкающая при отслоении от тех мест, где раньше были стены. Но больше никаких стен не было — лишь ненасытное и влажное чрево земли, будто квартира вдруг обернулась свежевырытой могилой. Раздался щелчок. Именно с таким звуком глаза отца мгновенно распахнулись и оказались абсолютно чёрными — ни зрачков, ни белков. А потом эта чернота вдруг хлынула двумя толстыми непрерывными потоками, пачкая всё вокруг. Сильно запахло спиртом, и Джерри подумал почему-то, что это льётся из глаз отца алкоголь, сгубивший его душу: эта мысль появилась в сознании мальчика как некая данность, озарение извне.

— Ууууууууу... — издал жуткий утробный стон отец и пошатнулся на стуле.

Джерри в ужасе попятился, пока...

...не вскочил с мокрой от пота кровати.

— Боже, Боже, Боже, Боже, — испуганно шептала Лариса, замершая в коридоре, перед поворотом на кухню. Джерри, ничего не понимая, взглянул на бледный овал её лица, маячившего в темноте, но ответного взгляда так и не дождался: женщина напрочь забыла о его существовании.

— Ууууууууу... — так же как во сне, услышал Джерри людоедский стон с кухни и пребольно ущипнул себя за руку, надеясь снова проснуться, но боль в руке засвидетельствовала неотвратимую реальность происходящего.

И тут в коридор выскочил на четвереньках, подобно дикому быку на родео, отец, и начал, хрипя и стоная, метаться в разные стороны, врзаясь в стены, раскидывая обувь, перекатываясь и кувыркаясь по полу, пытаясь схватить кого-то за своей спиной никудышными клешнями рук.

— Спина-ааааа, ууууууу, моя спина-ааа, слезь, слезь, говорю, слезь, уууууу, сколько вас, аааааа, мамочки, мамочки, мамочки, — скрежетал отец с надрывом, и его глаза бешено вращались, ничего вокруг не видя.

Лариса пронзительно взвизгнула и метнулась в дальнюю комнату. Выстрелом хлопнула дверь, и было слышно, как женщина подпирает и укрепляет её с той стороны, передвигая к ней мебель.

Джерри, не в силах оторвать взгляда от отца, отступил несколько шажков назад, а когда икры ног упёрлись в кровать, сел. Он онемел от страха.

Так же на четвереньках, озверелый, спятивший от ужаса Владимир Иванович ворвался в комнату и принялся выдирать из комода ящики, судорожно разбрасывая по полу их содержимое: одежду, полотенца, постельное бельё — шаря руками в мешанине тканей и подвывая:

— Где-то здесь... где-то здесь... спрятал сюда...

Джерри впоследствии не раз спрашивал себя: что же искал отец? Будь Владимир Иванович человеком верующим, Джерри предположил бы, что крестик или икону. Но Свергун-старший был убеждённым атеистом, ко всем религиям относился с одинаковой безразличностью, а попов и вовсе на дух не переносил. Представить Владимира Ивановича молящимся было равносильно тому, как представить тигра, бережно переводящего старуху через дорогу. Джерри так и не решился тогда спросить у отца.

Да и Владимир Иванович на следующее утро совсем ничегоньшеньки не мог вспомнить и очень удивлялся разгрому, царившему в квартире, а равно тому, почему он проснулся на полу в туалете с крепко зажатым в затёкшем кулаке кухонным ножом. Он растерянно бродил по жилищу, весь помятый, какой-то жалкий и виноватый, словно сгрызший новые штиблеты хозяина пёс, и чуть слышно шелестел трясущимися губами:

— Да что за чёрт? Почему ж так спину-то ломит?..

Маленький Джерри, ссутулившись, не поднимая глаз, молча сидел на краешке своей кровати, благодарный всему сущему за то, что пережил ночь.

Мул и Манул: Part 3

Опередив рассвет изрезанными ногами, побуревшими от зажёванной крови, в темнейший час ночи — всё той же шалой ночи, забралась Кальдера через окно в спящий дом Манула. Какая скверная ирония: опять окно! Но так велел огонь, говоривший с ней голосом умершего Учителя. А ещё огонь нашептал, что она должна найти и забрать с собой кое-что, принадлежащее Манулу.

Бесшумно ступая во мраке, Кальдера, похожая скорее на тень, нежели на человека, неожиданно столкнулась лицом к лицу с заспанной тучной женщиной, вывалившейся в коридор из ближайшей комнаты с грацией рыбы, выбросившейся на берег. Несмотря на крошечную темноту, толстуха чутьём поняла, кто стоит перед ней, и отпрянула, врезавшись в стену и чуть не снеся её.

— Его з-з-здесь нет, — запинаясь, пролепетала толстуха тьме. — Не приходил ночевать... Я... Я... Я ничего не знаю! Совсем ничего. Дела мужа меня не касаются — не представляю, что он натворил в этот раз. Я ни при чём! Тебе нужен Манул: это всё он! Но только вот его здесь нет!

— Верно, он уже далече, — молвила тьма-Кальдера. Помолчав немного, она тихо добавила: — И никогда не вернётся.

— Откуда ты знаешь?! — обиженно засопела толстуха.

— Огонь сказал мне, — ответила Кальдера. — Твой муж — трус и негодяй, но не дурак, — Кальдера услышала, как сбилось дыхание толстухи, закрапав дождевыми всхлипами, и настойчиво повторила: — Манул не дурак — он трус и негодяй. И он никогда не вернётся к тебе. Никогда! Он тебя бросил! Бросил тебя. И сбежал. Бросил!

— Чего тебе надо, колдунья? — уже рыдая вовсю, надрывно вскрикнула толстуха.

Кальдера помедлила несколько секунд, а потом сказала вкрадчиво:

— Мне нужен ключ, спрятанный Манулом в тайнике за зеркалом.

— Если дам, что просишь, ведьма, ты уйдёшь?

— Тотчас! — усмехнувшись в темноту, заверила Кальдера.

Причитая и плача, толстуха скрылась в провале комнаты, а через минуту вернулась с длинным замысловатым ключом.

— Вот! — она протянула ключ Кальдере, держа его за самый краешек, так, чтобы колдунья не коснулась случайно (или намеренно) её пухлых коротеньких пальцев. — Не знаю, от чего этот ключ. Может, от сундука с сокровищами, а может, от дома другой женщины. Манул думал, я знать не знаю о его тайнике...

Кальдера взяла ключ и, не сказав более ни слова, покинула жилище Манула. Через окно, как и велел огненный Судия.

Звуки Луны

— Джек, ты уверен, что это можно пить? — в руке Ольги подрагивал пустой пластиковый стаканчик, и девочка не спешила протянуть его застывшему напротив с «Ручейком» Джеку.

Остальные ребята нетерпеливо ёрзали с пенящейся в их стаканах вперемешку с «Кокой-колой» мёртвой водой, барахтались в расплескавшемся вокруг сумраке, разбавленном светом из окон, празднично-белым светом от снега, насмешливо поглядывали то на Джека, то на Олю. Недосказанность полумрака чужая лестничная площадка щедро восполняла предчувствием чего-то сказочного, невиданного и неслыханного, расчудесного, в десять великих

сажен. И на юных лицах нерадивых учеников 10 «б» класса, сбежавших с потной физкультуры и снотворной алгебры, изгибались улыбки. Неуловимая тайна сквозила во всём: и в этом тихом уютном подъезде, куда они незаметно прокрались вслед за угрюмым пенсом с собачкой, и в недозволенном «Ручейке», девять пузырьков которого Джек купил в табачном киоске на премию от победы в областной олимпиаде по истории, и в постепенно сгущающейся темноте столь раннего зимнего вечера, и в самой юности, пинком распахивающей запретные двери.

— Ну, хочешь, я позвоню по телефону — он есть на этикетке — и спрошу, можно или не можно? — улыбнулся Джек. Длинная белокурая чёлка в который раз наползла ему на глаза, и он привычным движением головы откинул волосы в сторону.

— Звони, котя! А то она не выпьет. С ней всегда так! — неожиданно громко, так, что многие вздрогнули, прошипела Анька, очередная пассия Джека, агрессивная фиолетовогубая деваха с большой не по годам грудью, ехидная и развязная, словно суккуб.

Оля не обратила на выпад Аньки внимания и продолжала спокойно смотреть на Джека, вопросительно изогнув левую бровь.

— Цыц! — сощурившись, отрывисто бросил Джек Аньке и достал из кармана куртки потрёпанный сотовый телефон. Быстро нащёлкав номер с этикетки, Джек подмигнул восхищённо уставившимся на него Додону и Мослу, а затем, подцепив пальцем щёку, издал громкий «чпок» и крикнул в трубку весёлым уверенным голосом: — До-о-о-брый вечер!

Ребята переглянулись и покатались со смеху, зажимая рты ладонями, чтобы на том конце провода не было слышно их гогота. Анекдот про оленя-насильника, терроризирующего лесных зверей, и неудачный эксперимент зайца с пробкой от шампанского был одним из любимых в классе.

— Добрый, добрый, дорогой, — услышал Джек из трубки хриплый мужской голос с кавказским акцентом.

— Мы тут вот собрались испить из вашего замечательного «Ручейка», — продолжил Джек всё тем же бодрым тоном. — Его как, вообще, э-э-э... пить-то можно?

— Конечно, можно! — рассмеялся голос. — Только не злоупотребляйте.

— Не отравимся?

— Не-е-е. Пей на здоровье.

— Ну, спасибо, — Джек убрал телефон в карман и снова повернулся к Ольге. — Производитель дал добро!

Оля с сомнением и грустью взглянула на Джека. Пить отравленный «Ручейк» ей совсем не хотелось, но обстоятельства...

«Noblesse oblige», — постоянно твердит её несчастная мама глупое французское заклятие. Неужели страшная поговорка, будто неведомая зараза, проникла и в Олину жизнь, чтобы усмехаться и выглядывать теперь из каждой неприятной ситуации, мучительного поступка, неудачи?! «Меня бы и не позвали, если бы не Джек. Откажусь — и Джек не просто обидится, но будет стыдиться меня перед своими дружками и этой... мымрой. Поймёт то, что все они давно знают: я несростовая! Чужая, никудышная, стрёмная. Плевать на них! Но не плевать на Джека! Джек — мой друг...»

— Лей! — ранено воскликнула Ольга и вскинула руку со станчиком.

Пузырёк с «Ручейком» грозно двинулся к трепещущему в ладоши девушки пластику, приостановившись лишь на долю секунды... Никто не заметил, насколько Джек смущён своей победой.

С момента встречи в мастерской с так и не воплотившимся в реального человека отцом прошли годы, но ощущение потери и острое осознание себя без отца всё прорастали в душе мальчика, сплетая непролазные тернии там, где должны были цвести прекрасные сады. Что за нелепый и горестный день — день первой встречи с отцом — поселился в сердце обиженного ребёнка, что за мрачный памятник обманутым ожиданиям был воздвигнут! День раскаяния! Маленькому Жене было стыдно за свои мечты, за то, что посмел мечтать.

Тогда, в тот жалкий день, вернувшись домой, он двумя резкими движениями ног, словно пинал кого-то невидимого, скинул обувь, буркнул расстроенной, искренне переживающей бабушке: «До свидания» — и почти бегом скрылся в ванной, не сказав Таисии Петровне ни слова. Мать удивлённо посмотрела на захлопнувшуюся дверь ванной комнаты. Оглушительно щёлкнула задвижка.

— Что случилось?! — услышал Джек из-за двери встревоженный голос матери.

— Ох, — тяжело и длинно вздохнула Зинаида Георгиевна, но Джек уже прижал ладони к ушам, и последующие её слова превратились в бессвязное бормотание, из которого, подобно ночным чудящим из шкафа, выскакивали отдельные фразы, больно жалящие мальчика жалостью. Он вдавил руки в голову ещё крепче, и бормотание потерялось в раскатистых ударах его сердца и шелесте дыхания. Джек прикусил язык, чувствуя, что балансирует на самой грани. Всем своим существом он понимал лишь одно: он не имеет права плакать! Не смеет плакать! Ни за что на свете! Только не сейчас, не сейчас, не в этот злополучный день. Прислонившись спиной к двери, Джек медленно соскользнул по ней на пол и закрыл глаза.

Через какое-то время он почувствовал, как дверь слегка вибрирует от настойчивого, но несильного стука. Убрал руки с головы и услышал ласковый шёпот матери. Открыл глаза, и тусклая лампочка ванной комнаты улиткой вползла в его сознание вместе с раковиной окружающего мира, такого простого и понятного в своём бытийном единообразии. Во всех этих шампунях, флаконах, тюбиках, зубных щётках Джек вдруг разглядел одну жестокую и вместе с тем милосердную истину: жизнь всё равно продолжается, как бы тебе не было больно и обидно. «Тук-тук», — глухо прошептал Джек, поднялся на ноги и, отодвинув задвижку, открыл дверь.

В тот вечер он был непривычно тих, задумчив, даже замкнут, на все вопросы матери отвечал односложно и нехотя. Съев ужин без особого аппетита, он сам, без уговоров и напоминаний, ушёл спать, хотя обычно Джека отправить в кровать было очень трудно.

Грустная Таисия Петровна на цыпочках заглянула в комнату сына пожелать ему спокойной ночи, а то и поговорить по душам, обнять, утешить, поплакать вместе с ним, но, увидев, что Женя отвернулся к стене и накрылся одеялом чуть ли не с головой, нежно поцеловала в затылок и кошкой-мягколапкой выскользнула за дверь.

В течение нескольких дней Джек оставался молчаливым и хмурым. Он так глубоко погрузился в себя, что не замечал ни растущего беспокойства мамы, ни осиротевших солдатиков-мутантов, чьи автоматы и базуки скорбно повисли в ослабевших лапах и клешнях, ни того, что иногда говорит вслух, причём даже не сам с собой, а в пустоту, отрешённо, машинально, словно неисправный робот. А потом...

Джек «вынырнул» из себя. Совсем другим. В таких случаях театрально впечатлительные тётки любят прижимать ладони к полной груди, с чувством восклицая: «Как повзрослел! Нет, ну вы только подумайте, как повзрослел!» А Джек и вправду почувствовал себя взрослым. Но именно тогда в его характере укоренилось противоречие, ставшее впоследствии мощным двигателем и взбалмошного, непредсказуемого поведения, и всех его головокружительных взлётов, стремительных падений, и удивительного умения добиваться своего, не прикладывая к этому, казалось бы, никаких усилий, и безрассудной страсти к саморазрушению.

Метаморфозу сына Таисия Петровна не могла не заметить. Женя вдруг стал очень заботливым, очень внимательным. Спешил помочь ей по дому: мыл посуду, убирался в комнатах, пылесосил, протирал пыль. Ничего подобного ранее с ним не случалось.

Женя всегда учился неплохо, но теперь его успехи в учёбе завысверкали столь яростно, что все — и учителя, и ученики — признали в нём маленькую звезду, спустившуюся с небес, чтобы ездить

на городские и областные олимпиады, зачитывать перед классом образцовые сочинения по литературе, давать списывать «контрошу» и подсказывать верные ответы на уроках. При этом назвать Зворыкина «ботаном» вряд ли кто-нибудь из учеников рискнул бы, а к старшим классам Джек уже пользовался всеобщим уважением, превратившись, по сути дела, в хулигана. Он выпивал, покуривал траву и обычные сигареты в школьном туалете, играл на уроках в карты с Додоном и Мослом, вечерами выступал со своей тогдашней группой «Cannabis Seeds» в клубах города — надо ли говорить, что одноклассники, а особенно одноклассницы, смотрели на Джека с восхищением и любовью? И, несмотря на столь напряжённый образ жизни, Джек продолжал учиться исключительно на «отлично». Учителя, в свою очередь, старательно закрывали глаза на его грехи, тем более что в других классах дела обстояли куда хуже (чего стоит Витька Никитин из 10 «А», пырнувший учителя физкультуры ножом прямо на уроке!).

Только учительница биологии некоторое время пыталась «воспитывать» Джека, ставя ему двойки не за ответы, а за поведение, угрожая тройкой в четверти. Но Джек насмешливо, даже с удивлённым презрением смотрел на неё из-под своей длинной чёлки и оставался невозмутим.

Поставить ему не то что тройку, но даже четвёрку в итоге не позволил завуч, доходчиво объяснив возмущённой учительнице, что в школе, где ученики не могут без ошибки написать свою фамилию, Достоевского вспоминают только в качестве оскорбления («От ты достаевский ваще!»), а историю преподаёт учитель математики, Женя Зворыкин — луч света в тёмном царстве.

После этого неприятного конфуза биологичка не на шутку разозлилась и стала придираться к Джеку по всякому, даже самому пустяшному поводу, пытаясь сломать его или просто унижить перед другими учениками. Больше всего её выводило из себя то, что Джек постоянно мусолил жевательную резинку. Раздражённая женщина, ехидно усмехаясь и неотрывно глядя в упор на Джека, спрашивала у класса: «Чей верблюд? В школу нельзя с такими большими животными!» Но никто не смеялся, а гробовая тишина подчёркивала недоумение учеников, беззаветно любящих Джека.

Кульминация конфликта оказалась неожиданно быстрой и вялой, как преждевременное семяизвержение.

— Зворыкин! Убери жвачку изо рта! — истерично взвизгнула однажды учительница биологии, распираемая клокочущей внутри яростью.

Джек спокойно вынул пальцами жевательную резинку и под давленные смешки одноклассников тут же с громким стуком при-

лепил её к парте. А потом, ласково улыбаясь, посмотрел на учительницу, но она отвернулась и продолжила урок, словно ничего и не произошло. С тех пор она оставила Джека в покое, перестала с ним здороваться и даже делала вид, что его не существует вовсе.

В пятом классе Джек, ещё не ставший сорви головой, даже ещё не ставший «Джеком», поразил учителей и одноклассников неожиданным альтруизмом. Сложно, наверно, было придумать более бескорыстное и бессмысленное служение, чем помощь Алёше Писаренко. Благородство Джека у взрослых вызывало пароксизмы умиления (Таисия Петровна так и светилась от гордости за сына), а у детей уважительное недоумение.

Маленький и незаметный, безнадежно отстающий по всем предметам, с трудом извлекающий из себя крошачьи на ходу камни слов, Писаренко был в классе фантомом, неприкасаемым: дети прилежно не замечали его существования, словно боялись заразиться его отчуждением от жизни, учителя, зная, что ответом будет несокрушимое молчание, никогда его не спрашивали. Писаренко был и не был одновременно, словно опровергая тезисы Парменида. На всех уроках он сидел на последней парте прилегающего к стене — подальше от окон — ряда, в самом дальнем уголке вселенной, всегда один... Пока рядом с ним не появился, незаметно и как-то вдруг, словно телепортировавшись, доброжелательно улыбающийся Женя Зворыкин.

— Привет! — сказал Женя и протянул ладонь для рукопожатия.

Несмотря на то, что ответного рукопожатия Джек тогда так и не дождался, с тех пор мальчиков часто видели вместе. Женя серьёзно взялся за своего отстающего одноклассника: терпеливо, по несколько раз, объяснял то, что класс проходил на уроках, иногда возвращаясь назад, к давно изученным темам, заставлял повторять непонятные английские слова и предложения, следя за правильным произношением Алёши, который и по-русски говорил еле-еле. Каким-то чудом Джеку удалось перетащить Писаренко за собой на первую парту — законную вотчину круглых отличников, старост, любимчиков и детей учителей (некоторые учителя, правда, сажают на первые парты отъявленных хулиганов, чтобы те были всё время на виду, но школа Джека свидетельств подобной смелости никогда не знала). Миграция странной пары с периферии в ВИП-зону произвела небольшие положительные сдвиги в сознании, хотя и не Алёшином: он как был, так и остался безучастным ко всему происходящему вокруг, даже к стараниям взявшего над ним шефство Джека. А вот учителя, будто устыдившись своего равнодушия, начали изредка обращаться к молчаливому призраку мальчика, нехотя заниматься с ним. Да и дети, глядя на взрослых, признали

существование Алёши и больше не сторонились его. Искра добра, высеченная великодушием Джека, на миг осветила усталые лица измученных школьников и их не менее утомлённых наставников.

И исчезла. Вместе с Алёшей Писаренко, так и не осилившим программу пятого класса. Утешая расстроенного сына, Таисия Петровна зачем-то придумала, что Алёшу перевели в спецшколу для хорошо рисующих детей. Женя, выслушав мать, пристально посмотрел на неё и осуждающе покачал головой:

— Это неправда! Зачем ты врешь?

Таисия Петровна густо покраснела и, опустив глаза, невнятно пробормотала:

— Ну, что же ты, Женечка... Разве так с мамой говорят?

— А где Алёша на самом деле? — проигнорировав упрёк матери, тихо спросил Женя.

— Я не знаю, сынок, — так же тихо ответила Таисия Петровна. И это уже была правда.

Таисия Петровна радовалась тому, как благородно взрослеет её сын, но иногда испытывала приступы необъяснимого страха, тонко чувствуя то, что только намечалось в переломившемся характере ребёнка после неудачной встречи с отцом. Внимательным и заботливым стал Женя, словно хотел возместить ущерб от бегства Валентина Борисовича, возместить всё то, что Валентин Борисович не смог дать ни сыну, ни жене (восполнить саднящую пустоту в сердце, пусть даже помогая чужому человеку — как в случае с Алёшей Писаренко), быть во всём не таким, как отец, быть лучше отца, но заняв при этом его место, место главы семьи, место отца. Женя почувствовал себя мужчиной, готовым принять ответственность за свои поступки, но вместе с ответственностью — и независимость, право решать, что правильно, а что — нет, что позволено, а что — нет, будто дух Германа Гессе витал над ним. Женя стал взбалмошным и своевольным, непослушным и упрямым. И некому было направить растущую силу и свободу мальчика в русло созидания либо ограничить до поры до времени. Нет отца, способного удержать, уберечь, наставить, направить... Тяжёлым, взыскательным и высокомерным взглядом отныне всё чаще смотрел Женя на мир.

В шестом классе с ним случилась курьёзная и даже досадная история, имевшая, однако, далеко идущие последствия. Воспылав жгучей любовью к музыке (а этому немало поспособствовала ворвавшаяся в его юную жизнь группа «Nirvana»), Джек захотел научиться играть на гитаре. Вот только никакой гитары дома не было, равно как и финансов, поющих грустные романсы, для её приобретения, о чём Таисия Петровна, скрепя сердце, известила сына, попросив набраться терпения и подождать — неизвестно

чего. Денег едва доставало на еду и непомерную квартплату — о какой ещё гитаре могла идти речь?!

Мучительно переживая несбыточность своих надежд, Женя страстно мечтал о чуде, не мог не мечтать, ибо действительность не оправдывала никаких ожиданий, была скучна и безрадостна. Зачем упорно учиться, стараться быть во всём лучшим, просыпаться, чудовищными усилиями преодолевая сладчайшую негу сна, каждое унылое зимнее утро и брести, утопая в снегу и пред-рассветной темноте, в обитель скуки, именуемую «школой», если самое заветное желание умирает в тебе не исполненным, не воплощённым в жизнь? Это же попытка!

В те дни Джек был непривычно тих и печален. Сокрушённым сердцем, а не устами, повествовал он о своей великой мечте одноклассникам, и когда очередь сочувствовать и хлопать по плечу дошла до маленького и неприметного Артёма Сухарева, давно искавшего дружбы Джека, то мальчик вместо неловких утешений неожиданно пискнул:

— А у нас дома есть гитара. Никому не нужная! Могу отдать её тебе.

— Ненужная гитара?!. — отшатнувшись, прошептал Джек и недоверчиво уставился на Артёма. Короткое замыкание, вызванное нелепыми, невозможными словами, на несколько мгновений парализовало разум Джека, как если бы одноклассник сказал ему: «Не нужна мне моя голова. Пойдём играть ей в футбол!» Ненужная гитара! Бред, абсурд. Не могут эти слова соседствовать и уж тем более сочетаться друг с другом.

— Ну, да, — оскорбительно буднично подтвердил Артём. — Пылитесь на шифоньере с тех пор, как Митька уехал в Москву жить. Отец никогда не умел играть на гитаре, да и вообще музыка ему по барабану, а мама... Митя, когда с армии вернулся, целыми днями наяривал армейские песни да блатняк. То завывал волком, а то кривлялся этаким, знаешь, манерным голоском, наглым и хамоватым — мать это очень не любила! Поэтому и сейчас гитару видеть не может без содрогания. Не, никому до этой гитары нет дела. Наверно, даже не заметит никто, если она исчезнет. Правда на ней не хватает нескольких струн...

— Это не проблема! — взревел уже вскочивший на ноги Джек. До него наконец-то дошло, какой шикарный подарок решила преподнести ему судьба. — Я сам куплю струны! Можно найти недорогие... Погнали к тебе прямо сейчас!

— Ещё три урока!

— Ну и что?! — Джек был так возбуждён, что не мог устоять на месте и прыгал около парты, радостно покрикивая.

— Я не могу слинять с уроков, — смутился Артём.

— Ладно, — разом помрачнел Джек. Интуиция подсказала ему, что если надавить на Артёма сильнее, то можно ненароком и сокрушить хрупкий порыв одноклассника. Вдруг Артём передумает? Как тогда Джеку жить дальше, зная, что он сам спугнул неожиданную удачу, прыгнувшую к нему на руки, подобно ласковой кошечке?! — Пойдём после уроков.

Три урока оказались непостижимо долгими для Джека. Подчас, в самые невыносимые минуты, он улавливал в воздухе запах горелого и видел вокруг себя струи дыма, потому что сгорал от нетерпения! Джек вертелся и елозил, пропуская замечания учителей мимо ушей, и, когда прозвенел звонок, засвидетельствовавший окончание шестого урока, выпрыгнул из-за парты и в два скачка очутился перед Сухаревым.

— Идём?!. — с тревогой и надеждой спросил Джек.

— Да, — почему-то покраснев, негромко ответил Артём.

Артём жил в соседнем от Джека дворе. Двухкомнатная квартира располагалась на пятом этаже хрущёвки — совет пентхаус, не иначе, — и была опрятной, ухоженной. В интерьере комнат, в каждой детали обстановки просматривался быт крепкой, ладной семьи. Джек чувствовал себя здесь не в своей тарелке, словно попал на космический корабль пришельцев — тарелку летающую. Всё вокруг, как мнилось Джеку, насмехалось и глумилось над ним. «Смотри, к нам пришёл мальчик, у которого нет отца», — громко и неприятно, по-малаховски, завопила тумба для обуви. «Он тако-о-ой жалкий, — жеманно откликнулось огромное зеркало, надрезанное до родниковой чистоты. — Разве так бывает — без отца?» — «Пусть он скорей уйдёт! Без него было так хорошо, — застонал из просторного зала большой мягкий диван. — У нас всё хорошо. Не надо здесь его. Пожалуйста. От него пахнет неудачником».

Джек, зажмурившись, резко потряс головой, и наваждение отступило куда-то вглубь, где продолжило жить своей беспокойной жизнью, достигая поверхности сознания в виде шипения помех, словно кто-то настраивал радио в голове мальчика. Открыв глаза, Джек увидел, как Артём, забравшись на табуретку, снимает с высоченного шифоньера гитару.

— Вот, держи, — прыгнув вниз, как-то чересчур по-простецки для такого торжественного момента произнёс Артём и протянул гитару Джеку, держа её за гриф одной рукой.

— Спасибо, — прошептал Джек и бережно взял гитару обеими руками, словно древнюю реликвию, хотя это была всего лишь старая, облезлая фанерка, именуемая в народе «дровами», на которой к тому же не хватало трёх нижних струн. Настоящая ветошь.

— Может, погуляем завтра? — спросил Артём.

— А? — рассеянно переспросил Джек, восхищённо разглядывавший акустического монстра, и торопливо добавил: — Да-да, конечно... — в ту же секунду, с последним звуком своего обещания, забыв о нём.

Придя домой, Джек показал артефакт маме и, захлёбываясь от восторга, поведал, как получил этот прекрасный инструмент в дар, и какой чудесный мальчик Артём, и что до полного счастья теперь недостаёт только комплекта струн или хотя бы трёх нижних — всего-то! Таисия Петровна, увидев сияющие, лучащиеся радостью глаза сына, коротко вздохнула и улыбнулась. Так вопрос со струнами был решён.

С новоприобретённым комплектом металлических струн и гитарой Джек по совету матери отправился к знающему и умеющему всё на свете дяде Вове, тому самому соседу по этажу, которому когда-то подарил бумажный чемоданчик с инструментами. Дядя Вова с ужасом и тоской посмотрел на агонизирующий инструмент, покачал головой, но струны натянул и терпеливо объяснил Джеку, как гитару надо настраивать. Джек блаженно улыбался. Он был на седьмом небе от счастья.

В последующие дни на голову бедной Таисии Петровны обрушился шквал дребезжащих, скрежещущих, скрипящих звуков, доносящихся из комнаты сына. Но ещё страшнее было то, что Женя этим акустическим всплескам вёсел в Стиксе подпевал, стараясь подражать Кобейну или просто крича что-то невразумительное. Атональный эффект звучания юного таланта был настолько свиреп, что его моментально отметили и оценили неистовым стуком по батареям центрального отопления критики — соседи то ли сверху, то ли снизу, то ли отовсюду сразу.

Таисия Петровна скрипнула зубами, но подавила свою гордость, и Джек, вняв очередному её совету, снова отправился к дяде Вове — на этот раз с тетрадкой и ручкой. По возвращению домой Джек похвалился тетрадными листами, исчерченными незамысловатыми квадратиками, внутри которых на линиях, словно птички на высоковольтных проводах, разместились пухленькие точки. Это были аккорды, записанные табулатурами. Последнее слово Джек произнёс шёпотом, с придыханием, округлив глаза, будто доверял матери страшную тайну. Тайну волшебных «табов»! Таисия Петровна, нежно улыбаясь, погладила сына по голове, думая о сакральных «табулатурах» детства и о том, что надо бы включить в семейный бюджет коньяк благодарности и преподнести вместе с коробкой конфет признательности дяде Вове.

Все силы растущего организма бросил Джек на освоение гитары, перестав читать книги и смотреть фильмы, напрочь забыв об и

так давно надоевшем телевизоре, забросив даже любимые компьютерные игры. Школьные уроки делал монотонно и без вдохновения, лишь бы быстрее освободиться от них. Гулять во двор спускался редко и во время этих коротких моционов пугал друзей извивающимися, подобно клубку рассерженных змей, пальцами левой руки, алчущей струн. Совсем загрустившие солдатики-мутанты, участники стольких кровопролитных заварушек во имя спасения вселенной, пылились на полу и слушали, как начинающее дарование разучивает созвучия, раз за разом пытаясь одолеть барре, потирая изрезанные пальцы, на которых вскоре появились твёрдые подушечки. Зачастую Джек отвлекался от тетради с аккордами и позволял пальцам вольно разгуливать по грифу, нащупывая драйв импровизированного хаоса, словно мальчик собирался в ученики к «The Flying Luttenbachers» или «Altered States». Но из хаоса возникали и обрывки знакомых мелодий — с каждым днём всё чаще. Натыкаясь на них, Джек несказанно удивлялся и радовался, как если бы он сам только что их придумал, а не выудил наудачу из Мировой Души.

Словом, Джек быстро подружился с инструментом, даже сроднился с ним, успев достигнуть впечатляющих успехов на пути самообучения, и уже худо-бедно мог играть несколько простых мелодий и песен, когда неприятная оказия перевернула всё с ног на голову. На перемене к Джеку подошёл, робко и неуклюже переминаясь с ноги на ногу, пряча виноватые глаза и по-настоящему страдаая, весь красный, как пожарная машина, и жалкий, словно нарушенное обещание, Артём Сухарев и смущённо откашлялся. А потом произнёс, запинаясь:

— Мать сказала, что гитару надо вернуть. Родители очень скучают по Митьке, и эта гитара... вроде как напоминание о нём, ну, типа... символ, что ли... Митя же любит побренчать... Ну, вот мать и говорит, что... когда брат приедет, то захочет поиграть обязательно... Конечно, струны новые купит... может, лаком покроет или чем там покрывают гитары... ну и... всё в том же духе... Вот. Поэтому надо вернуть.

Выдавив из себя этот невыносимой тяжести приговор, Артём вздохнул с облегчением, но глаз на Джека по-прежнему поднять не смел и косился куда-то в сторону.

— Струны, говоришь, новые купит? — сурово спросил Джек, в упор, не мигая, глядя на одноклассника. — Так я уже купил струны. И натянул их на гитару. Ты же сам отдал мне её, а теперь требуешь назад?! Это нечестно! Гитара теперь моя. И точка.

Артём, будто не веря своим ушам, понуро покачал головой:

— Нет-нет-нет. Придётся вернуть. Мне мать сказала, чтобы ты отдал обратно.

На последнем слове голос Артёма дрогнул. Губы мальчика предательски дёрнулись и искривились.

— И не подумаю, — злобно рассмеялся Джек и сам удивился неожиданно резкому, противному звучанию своего смеха. Но удивление мгновенно переросло в жестокую усмешку: — А-а-атдай аб-рат-на-ай, — передразнил Джек Артёма в нарочито мерзкой, издевательской манере (впоследствии такое «кривляние» голосом стало фирменной фишкой Джека и он неоднократно выводил из себя людей, внезапно исторгая протяжно и гнусаво, голосом тётки из регистратуры районной поликлиники: «Гражда-а-анин, спа-а-кой-на-ай!») и сильно оттолкнул Артёма, крикнув: — На, вот тебе обратно!

Артём едва удержался на ногах, схватившись руками за угол парты и отступив несколько шагов назад, растерянно покрутил головой по сторонам, но никто не спешил к нему на помощь: учителя в классе не было, а одноклассники на вопиющую сцену насилия почему-то не обратили внимания.

После уроков, торопясь домой — взять скорее гитару в руки, будто утвердив тем самым право на единоличное обладание ею, Джек вдруг заметил, что у него появилась вторая тень. Он остановился, нахмурившись, и подождал, пока самозванная тень подойдёт поближе. Но тень тоже остановилась, в некотором отдалении, на безопасном расстоянии.

— Чего ты за мной плетёшься? — спросил Джек у тени.

— Я не могу вернуться домой без гитары! — крикнула тень.

Джек усмехнулся и продолжил путь, больше не оборачиваясь. И только подойдя к дверям своего подъезда, он оглянулся, доставая из кармана ключ от домофона, и сказал застывшей в нескольких шагах тени:

— Иди отсюда. Всё равно я тебя в подъезд не пушу. Нет, ты, конечно, можешь подождать, пока тебе кто-нибудь откроет, но ведь ты же не знаешь номера квартиры, где я живу, верно? Так что ждать нет смысла.

— Есть! — упрямо возразила тень.

Джек удивлённо приподнял бровь в знак вопроса.

— Я не знаю номера квартиры, но я знаю, как выглядит твоя мама: я её видел в школе! — яростно завопила тень. — Я буду ждать её здесь! Хоть до ночи! А когда она придёт с работы, я всё ей расскажу!

Джек молчал, так и замерев с домофонным ключом в руках. Его глаза сузились до зловещего прищура, сквозь который он, тяжело дыша от гнева, рассматривал неотвязную, точно прикипевшую к настоящей, маленькую тень.

— Отдай гитару по-хорошему, и я уйду, — заканючила тень.

Джек плотно сжал губы и несколько раз коротко кивнул, глядя при этом на небо, будто после длительных раздумий пришёл к большому, судьбоносному решению.

— Хорошо. Пойдём, — спокойно сказал он тени и коснулся контактным ключом считывателя.

Окутанный трелью домофона, Джек шагнул в подъезд. Его поступь была тверда и чеканна, как у военного, она гулко выстреливала патроном каждого шага в беспокойное, затаившееся затишье пустых этажей и эхом терялась где-то вверх. Джек шёл, широко развернув плечи, и две безмолвные тени следовали за ним по пятам.

— Подожди здесь, — вставив ключ в замочную скважину, отрывисто бросил он через плечо, хотя тень, которая была чужой, давно уже остановилась и лишь молящим взглядом провожала исчезающего в своей квартире мальчика.

Когда Джек появился снова, он держал в руке гитару. Тень обрadowанно подалась вперёд, протягивая трепещущие ручонки.

— Ат-да-юй аб-рат-на-ай, — ухмыльнулся Джек и неожиданно хватил корпусом злосчастной страдальцы, столь нашумевшей во всех смыслах и отношениях, об стену.

Инструмент жалобно всхлипнул, и в руке Джека осталась культя грифа, по-прежнему соединённая с отломившимся корпусом струнами — корпус повис на них, словно казнённый через повешение, и лишь краешком коснулся холодного пола подъезда. Джек разжал ладонь, и гриф выскользнул из неё, обморочно стукнувшись в мёртвое тело опочившего вечным сном висельника.

В ужасе отпрянула маленькая тень, несколько мгновений непонимающе взирала на труп вожденной гитары, а потом громко разрыдалась и ринулась прочь. Джек, проводив тень взглядом, опустил глаза на распростёртую у ног груды. Задумчиво поскребя в затылке, он сгрёб останки в объятия и скрылся в квартире.

Воспользовавшись услугами ассистентов — мистера молотка и мистера гвоздя, юный Франкенштейн прооперировал погибший инструмент и заново соединил оторванные друг от друга части. У получившегося чудовища гриф торчал под неестественным углом, словно неправильно сросшаяся кость, расстояние между струнами и грифом по мере приближения к корпусу заметно увеличивалось, достигая прямо-таки неприличного, а корпус был испещрён шрамами трещин. Загробные звуки, которые извергал из своего перекаленного чрева этот восставший из мёртвых струноносец, сами собой — неважно, что Джек пытался на нём сыграть, — складывались в гимн атональности. Эту гитару невозможно было настроить, сколько ни крути колки. На ней нельзя было исполнять человеческую музыку. Но, несмотря на то, что

лютье из Джека вышел неважнецкий, он испытывал странную, плохо понятную даже себе самому симпатию к музыке, рождённой из духа случившейся с гитарой трагедии. «Звуки Луны» — так окрестил звучание инструмента Джек.

За неимением альтернативы мальчик вынужден был упражняться на своей «лунной» гитаре, постигая соль атональности и погружаясь в Марианскую впадину живородящего хаоса. Много дней Джек черпал информацию из глубоких омутов.

Душа Таисии Петровны рвалась на части, когда она видела сына со сломанной гитарой в руках, когда слышала его «лунные сонаты». Женя не стал сетовать о потере инструмента и молить о покупке нового, но это было очевидно! Эта, не высказанная никем вслух, но пропитавшая каждый потусторонний звук, доносящийся из комнаты мальчика, идея витала в воздухе, подобно полтергейсту. Таисия Петровна всерьёз задумалась о том, у кого бы занять денег, чтобы приобрести настоящую, пусть и не дорогую гитару. Но, как это часто случается в жизни, когда в человеке вызревает готовность решиться на важный шаг и поступиться ради него чем-то, неожиданная подмога приходит сама, подобно «кавалерии из-за холмов».

Несмотря на неудавшийся брак и глухую ненависть к мужу — истязателю холстов, Таисия Петровна сохранила хорошие отношения с бывшей свекровью. Две женщины, объединённые общим несчастьем в лице *enfant terrible* Валентина Борисовича, прекрасно понимали друг друга и никогда не ругались — ни до, ни после крушения «молодой» семьи Зворыкиных. Зинаида Георгиевна была человеком добрым и отзывчивым, во внуче души не чаяла, и поэтому, когда Таисия Петровна рассказала ей о драме, разыгравшейся на её глазах со Зворыкиным-младшим, сердце бабушки дрогнуло от жалости и любви. Отозвав Таисию Петровну в сторонку, так, чтобы внук не услышал, Зинаида Георгиевна горячо зашептала, что денег на гитару даст из собственных сбережений, а подарят они её мальчику вместе — мама и бабушка. Решительным жестом остановив вознамерившуюся было так же горячо возражать Таисию Петровну, женщина тихо объяснила, что у неё накопился довольно приличный капитал с тех пор, как Валентин Борисович перебрался в подаренную ему меценатом Беленьким мастерскую и стал жить на выручку от проданных картин. За долгие годы, пока она содержала сына, Зинаида Георгиевна привыкла к жёсткой экономии и совсем разучилась тратить деньги на себя. Издержки на личные нужды стали казаться ей невозможным расточительством, безрассудством, почти мотовством, делом пустым и нелепым, словно игра в «однорукого бандита», и она просто откладывала и откладывала «на чёрный день». Но почему бы этому дню не быть светлым?!

«Светлый день» застал мальчика врасплох. Когда загадочно улыбающиеся мама и бабушка, переглядываясь между собой, попросили заглянуть в зал, Женя озадаченно всмотрелся в их торжественные лица и даже нахмурился. Но, едва переступив порог комнаты, он громко вскрикнул от восторга. Прислонившись к книжному шкафу, как элегантная дама из высшего света, его дожидалась новенькая гитара. Она была чёрной, с кремового цвета узорами рядом с резонаторным отверстием. К грифу над верхним порожком была привязана праздничная лента, цветом в тон узорам на корпусе.

Никогда ещё Зинаида Георгиевна не видела внука таким счастливым и по-детски радовалась вместе с ним. Таисия Петровна тоже ликовала, глядя на сына. Улыбаясь, она рассказала, что договаривалась со своей подругой, Ириной Кудиновой, ныне, как оказалось, преподающей в музыкальной школе и дающей частные уроки, чтобы та позанималась с Женей, если он, конечно, того желает и готов со всей ответственностью взяться за дело.

Весь седьмой класс и половину восьмого Джек брал уроки у Ирины Юрьевны, а потом, купив за гроши громоздкую, жутковатого вида, с леденящим кровь звучанием советскую электрогитару «Тоника», быстро освоил «электричество», добрав необходимые навыки самостоятельно, и начал репетировать сразу в нескольких школьных группах. Видя его невероятный доисторический «струмент», ребята смеялись, но, когда они слышали, как Джек играет и какие неожиданные «запилы» может выдавать с ходу на хрипящей и чавкающей «Тонике», поглядывали на него с недоверчивым уважением.

На одной из таких репетиций Джек и познакомился с Миком Джаггером из «Cannabis Seeds», волею судеб и алкоголя вдруг забредшим послушать младших товарищей, а то и просто погреться в громящем на пол-округи гараже. Мик, долговязый и худой, в гиперболически огромных очках, с длинными, почти до пояса, прямыми волосами, забранными в хвост, совсем не походил на своего знаменитого тёзку, в честь которого получил прозвище, да к тому же в «Cannabis Seeds» исполнял функции барабанщика, а не вокалиста. В принципе ничего удивительного в этом не было: по просторам России уже давно бродило великое множество доморощенных Джимов Моррисонов, Джонов Леннонов, Сидов Вишесов, Янов Кёртисов и других громких имён, беззастенчиво присвоенных любителями понежиться в тепле чужой славы. Так что Джаггер из русской глубинки не казался явлением из ряда вон выходящим и располагался скорее в рамках устоявшейся традиции, нежели притязал на уникальность.

А вот «Cannabis Seeds» — притязали, даже несмотря на то, что своих песен у них в репертуаре не имелось (а возможно, и благода-

ря этому!), но зато были превосходно сыгранные каверы Литл Ричарда, Джерри Льюиса, Мадди Уотерса, Джимми Хендрикса, The Doors, Jefferson Airplane, ранних Pink Floyd и, разумеется, Rolling Stones. В городе знали и любили «Cannabis Seeds». Под «их» песни хорошо было танцевать с любимой девушкой. И с нелюбимой. И в гордом одиночестве, размахивая руками и дрыгая ногами во все стороны. И просто пить пиво, лениво кивая головой в такт музыке. У «Cannabis Seeds» был стиль, был вкус, и это чувствовали даже те, в ком ни первого, ни второго никогда не присутствовало.

Посидев на «репе», поглазев на немного смущённых оказанной честью подростков и съев всё принесённое ими печенье, Мик хлопал Джека по плечу и несколько жеманно, словно через силу, произнёс:

— Пойдём перекурим, что ль.

Джек послушно последовал за Джаггером на улицу, где октябрь, растерявший уже половину своих дней, печально стыл в ожидании дождя. Ветер выметал блеклые остатки дневного света, и всё-всё: и скудные вереницы гаражей, и перекошенная трамвайная остановка чуть поодаль с обязательным пристроен в виде алкогольно-табачного ларька, и нависающие над ними щербатыми валунами многоэтажки — содрогалось, готовое сдаться на милость наползающему сумраку. Очнулись от дневного сна фонари, продрав свои зверино-жёлтые глаза, чтобы засвидетельствовать ещё один вечер и ещё одну ночь. Тонкий аромат прекрасного и сладкого увядания томил сердца немногочисленных прохожих, спешащих домой, поскорее прочь от этой нестерпимой осенней потусторонности.

— Ты куришь? — спросил Мик, достав из кармана мятую пачку и вопросительно посмотрев на Джека.

— Да. Уже давно, — без запинки соврал Джек и взял протянутую ему сигарету.

В действительности курить он пробовал только раз, когда в одно беспокойное лето кенты (так во дворе называли старших ребят), вконец измаявшиеся от жары и безделья, решили провести для малышни открытый урок по всем запретным предметам сразу. Курение, в отличие от многих других тем, ограниченных рамками лекций, входило в программу практических занятий: надо было сильно затянуться, вдохнуть едкий дым как можно глубже в лёгкие и разборчиво сказать: «Жопа» — так, чтобы ни одна струя дыма не покинула рта. С третьей попытки Джеку удалось выдержать испытание без кашля, и он, довольный, под неистовое рукоплескание, смех и одобрительные возгласы экзаменаторов, побрёл куда глаза глядят, захваченный врасплох какой-то жуткой эйфорией. Но подъём, такой стремительный и мощный, продолжался недолго,

а вслед за ним пришла всепроникающая слабость, неожиданно обернувшаяся тошнотой. Джек прилёг прямо на траву, такую же зелёную, как и его лицо в тот момент, и долго приходил в себя, храбро сражаясь с рвотными позывами. Тогда, в порыве жгучего раскаяния, он дал себе слово, что никогда не будет больше курить.

Сейчас, прикуривая от тонкого пламени, вытянутого ветром почти в горизонталь, Джек решил игнорировать возмущённые вопли обманутого обещания, похожие на сигнал пожарной тревоги. Он осторожно вдыхал дым и почти сразу, задрав голову, выпускал его в тревожное октябрьское небо. Нельзя было облажаться перед самым Миком Джаггером!

— Короче, есть такая тема, — сказал Мик, затянувшись и задумчиво глянув на заалевший кончик сигареты, — Лёха, наш второй гитарист, сломал себе ключицу и надолго — месяца на три минимум — выбыл из строя. Нам нужна замена на это время. Наш репертуар знаешь?

Джек медленно кивнул, затаив дыхание. В репертуаре «Cannabis Seeds» он ориентировался плохо, но признаваться в этом Джаггеру не стал.

— А сыграть сможешь? — с сомнением спросил Мик.

Трамвай, незаметно подкравшийся к остановке, протяжно занял, отъезжая, и сверкнул в их сторону электрическими окнами. Людские профили в этом ускользящем свете были едва различимы. Те, кто остался на остановке, — горстка покинувших сияние — уже торопились скрыться во дворах ближайших домов. Джаггер поёжился, и густой белый дым, выпорхнувший из его ноздрей, ветер подхватил и разорвал на мелкие клочки.

— Думаю, что да, — ответил Джек, втайне восхищаясь собственной наглостью, — ты только напиши, какие песни надо разобрать.

Мик хмыкнул и блаженно улыбнулся:

— Лады, чувак. А гитару я тебе свою на время дам, чтобы ты людей не пугал этим орудием пролетариата. Но это, конечно, в том случае, если всё будет сrost.

На всю жизнь запомнил Джек тот октябрьский вечер. Ни одна подробность, ни одна деталь не выскользнула из объятий его памяти и многие годы спустя. Уезжающий в сумерки трамвай, горький вкус сигаретного дыма, улыбающийся Мик Джаггер... Вечер признания, вечер призвания. Джек был избран, и избран не Миком, и не «Cannabis Seeds», а своим собственным будущим. Это Путь ласково прикоснулся к нему, призывая к себе, признавая в Джеке «своего». Путь.

«Смотрины» прошли с оглушительным успехом. Музыканты «Cannabis Seeds» радостно улыбались, кивали со знанием дела,

словно оценивали достоинства породистого щенка, и хлопали Джека по плечу. Он так всем понравился, что было единогласно решено, невзирая на нежный возраст нового участника группы, взять его с собой в «Реактор», рок-бар, примечательный отвратительным звуком, духотой и тем, что он располагался ближе всего к репетиционной точке. У всей честной компании было приподнятое и праздничное настроение, то самое, от которого человек всегда спешит избавиться поскорее, залив пивом и водкой, — невыносимо хорошее настроение.

Сидя за столом с новыми друзьями и угощаясь четвёртой кружкой пива, купленной ему Миком, Джек пьяно улыбался. Когда к нему обращались, он делал вид, что всё понимает, кивал в ответ и счастливо мычал, хотя за грохотом выступавшей в тот вечер в «Реакторе» группы с интригующим названием «Молитва нечестивцев» ничегошеньки не было слышно: ни слова нельзя было разобрать ни из того, что говорилось за столом, ни из того, что безостановочно рычал и визжал в сопровождении зубодробительного стаккато обезумевшей ритм-секции вокалист «нечестивцев». Но разве слова что-то значили? Всего за полчаса Джек умудрился «наклюкаться» вдрызг, чем вызвал в коллегах из «Cannabis Seeds» ещё большую симпатию и уважение. Домой его провожали всей группой, крича почему-то песни «Гражданской обороны» и запиная их купленным в супермаркете вискарём. И хотя вечер запомнился Джеку плохо, смутными фрагментами, утром он проснулся с улыбкой на губах. Так началась новая жизнь.

Однако вступление в «Cannabis Seeds» стало не единственным знаковым событием, произошедшим с Джеком в те мятежные и искрящие неожиданностями дни: ещё он познакомился с Олей Князевой, перешедшей в их класс из другой школы по каким-то загадочным и страшным обстоятельствам.

И вот теперь, спустя год с небольшим после их первой встречи, Джек стоял напротив неё в темнеющем подъезде с ядовитым «Ручейком», в котором, со слов ребят из двора, уже многие утонули, и сомневался, стоит ли угощать им Олю. Но раздумья заняли не более секунды, и Джек, наклонив пузырьрёк, несколько раз булькнул в протянутый стаканчик, размашистым движением подхватил с бетонного пола «Коку» и плеснул в затаившиеся призрачно-прозрачные воды, а затем победоносно улыбнулся:

— Не робей, мать! Ничего страшного с тобой не случится, обещаю.

— Хорошо, — тихо согласилась Оля. В её голове вдруг заиграл сам собой «Вальс цветов» из «Щелкунчика», будто кто-то невидимый нажал на «Play». Девочка, зажмурившись, выпила всё одним большим глотком.

— Умница! — воскликнул Джек, по-приятельски приобняв её за хрупкие плечи.

Оля легко выскользнула из его рук и принялась кружить в такт музыке, звучащей изнутри, не обращая внимания на удивлённые усмешки одноклассников. Движения Оли струились в полумрак, простые, но изящные в своей безыскусности, словно ручьи, ищущие путь к реке, словно тепло, что разливалось по венам девочки. Возвышенный и нелепый, трагичный и смешной, танец её пульсировал в меркнувшей бездне лестничной клетки родником чистого и светлого, ничем ещё не замутнённого, наивного, трогательного волшебства. Оля танцевала, и всё сущее кружилось вместе с ней, забывшись. Оля танцевала, и прекрасный цветок жизни распускался, источая благоухание всех сокровенных тайн и смыслов, недоступных человеческому восприятию, выраженных за гранью, но так, что все присутствующие почувствовали невесомое прикосновение к своим душам.

Джек смотрел на неё во все глаза, поражённый.

Оля танцевала.

Мул и Манул: Part 4

Богатым человеком заделался Манул. Как на поводке, удача следовала за ним, преображая самые ничтожные аферы и махинации мошенника в прибыльные, беспроигрышные дела. Луна освещала путь Манула, Луна давала ему знания и силу. Никогда доселе он не обладал таким могуществом. До любой сокровенной мечты теперь было как до Луны — рукой подать!

И только три беды никак не отступали от везучего воришки, неподвластные ни могуществу денег, ни чарам Луны. Во-первых, огненное око Судии всё так же яростно взирало с обеих сторон монеты, приводя Манула в трепет. И даже пряча Луну подальше, Манул чувствовал на себе жгучий, пристальный взгляд огнерождённого. Казалось бы — ну и пусть, можно и потерпеть. Можно, конечно. Да вот только из первой беды неумолимо следовала вторая.

А следовала она по пятам за Манулом колдуньей Кальдерой. Куда бы ни кинулся вор, в какой бы город ни убежал или деревеньке глухой ни спрятался, а колдунья уже скоро-прескоро там. Неспроста? Ещё как неспроста! Ведь ведёт её покойник Судия, подсматривающий с Луны за Манулом своим глазом-сглазом. Коль достигнет Кальдера Манула, не поможет вору и Луна. Страшно, конечно. Страшно! Но если соблюдать осторожность, можно выиграть время и накопить силу, достаточную для того, чтобы сразиться с ученицей Судии и истребить её. А пока — надо терпеть.

Да всё бы ничего, всё бы ничего, но как терпеть нестерпимую боль?! Третья беда поселилась в обожжённой ладони Манула, при-

чиняя ему невероятные страдания, терзая с упорством кровожадного насекомого. Громадные волдыри упорно не желали подсохнуть, и по ночам, стеноя, Манул наблюдал, как в пузырях вспыхивает, пульсирует, играет, перекатываясь, словно насмехаясь над ним, колдовская радуга. И чего только ни испробовал вор, чтобы залечить руку, к каким только целителям ни обращался — всё без толку. Тогда, помешавшись от мук, упал он перед монетой, словно язычник перед кумиром, на колени и склонился в безумной молитве.

Истово и долго молился Луне Манул, да так, видно, и провалился в лунный сон, ибо, когда очнулся, то обнаружил себя стоящим в ночи перед дверью в убогую лачугу, где-то на окраине окраин. Оглянувшись, вор увидел лунную дорожку, по которой пришёл, и понял, что Луна услышала его мольбы. А потому, не давая себе самому опомниться, а страху возрасти в трусливом сердце, Манул поднял руку и громко постучал в дверь, исчерченную замысловатыми рисунками и символами.

В тот же миг дверь широко распахнулась, и на Манула, даже вскрикнувшего от неожиданности, набросился с объятиями и мокрыми поцелуями какой-то невообразимый, невозможный старчик, облачённый в синий мужицкий зипун с заплатой во всю спину, широкие грязные штаны и лапти. Тряся чернявой, нечёсанной бородёнкой, вертя головой с густо нарумяненными щеками и длинными, сальными волосиками, жирно зализанными назад, старец приплясывал и крутился вокруг оторопевшего вора, всё приговаривая и пришёптывая елейным, бабьим голоском:

— Ух ты ж какой! Кот! Кот! Ну, истинно дикий кот! То-о-олстый, кра-а-асивый! Ну, пойдём, пойдём в мою жалкую халупу, — и, нежно прихватив Манула за руку длинными костлявыми пальцами, потянул в освещённую свечой тесную клетушку, не прекращая верещать: — Кра-а-асивый, кра-а-асивый! Лунный братик мой ненаглядный, сахарная ягодка! Это ж всё Луна — небесная госпожа наша, покровительница, привела тебя ко мне, мой хороший мальчик. Вот сюда прямо и садись, — и старец похлопал рукой по дряхлому, обветшалому дивану, выдохнувшему тотчас густое облако пыли. — Бедно я живу, ох и бедно! Прозябаю птахой малой, воробышком на снегу: ни хлеба краюшки, ни счастья понюшки, ни любви, ни тепла, ни кола, ни двора, вот ведь как. Только эта поганая нора, как у зверя. Эх... — старец замолчал, одним дёрганным, но хитро рассчитанным движением тела подсел вплотную к Манулу и уставился на вора сладенькими, жадно блестящими в свечном полумраке глазами.

Ни разу в жизни не испытывал Манул столь мучительного смущения и неудобства. Словно снова впавший в сон, он никак не

мог заставить себя отодвинуться от противного старикашки или хотя бы не глядеть на два розовых солнышка, трясущихся на впалых щеках и проросших огромными седыми волосами, как картофельные клубни — ростками.

Манул молчал.

Старик молчал.

Свеча оглушительно трещала.

Наконец, вечность спустя, Манул напряжённо выдохнул, сгорбился, ссутулился, замер комочком-камешком и протянул ряжену старцу под нос свою изувеченную руку.

— Крот, крот, крот! — вместо «свят, свят, свят» выкрикнул старчик и аж подпрыгнул на диване. Затем он осторожно отодвинулся от Манула и принялся с любопытством разглядывать покалеченную ладонь. — Скве-е-рно... Вот это скверно! Скверно-прескверно... — невнятно пробормотал он, а затем сказал уже более отчётливо: — Обронил ты что-то, витязь мой медовый, потерял, а кто-то — подобрал! И идёт за тобой теперь, смерть в ладошку твою сеет, — после этих слов старчик вдруг быстро скосил глаза в разные стороны и «взглянул» на руку. — Вошью смятый! Будулай угодник! Да это ж баба за тобой крадётся! Ох и злющая волчиха — матёрая!.. Кинется — горло вмиг вырвет, даже вскрикнуть не успеешь. Жена, что ль?

Манул посмотрел на старца с болезненной усмешкой, но не проронил ни слова.

Старчик беспокойно заёрзал на диване, опять скосил глаза и покачал головой:

— Хм. Не жена. И не любовница... Не пойму никак... Да ты вообще с ней не знаком, лакомый мой?! Так ведь?

Искривлённая болью улыбка Манула стала чуть шире.

Тогда старчик снова «окосялся» и долго-долго нависал над пузыристой ладонью вора, лопоча вполголоса:

— И зачем ты ей, младенчик мой лунный, ведьме треклятой, сдался? Бежит за тобой, ажно из сил выбивается, жизни своей не жалеет, след в след, след в след, без еды, без отдыха, только сном коротким, будто обмороком, иногда забывается, да и то — чтобы поговорить с... — старец нахмурил седые дуги бровей и даже перестал дышать от внутренней надсады. — Поговорить с... — тело колдуна зазыбилось мелкой дрожью, тенорок треснул неожиданной хрипотой: — Испитые греховодники! Волк отец! Демоны подземные! П-п-поговорить... с-с-с... — старика затрясло так, что диван пошёл в прилипс по комнате. — А-а-а-а!!! — истошно завопил колдун, грохнувшись с дивана на пол и, не поднимаясь на ноги, перекатился в дальний угол: — Ты сжёг мои глаза!!! — воюя,

старик вцепился в собственное лицо с такой силой, что со лба и висков, куда вонзились длинные ногти, закапала кровь. — Ты сжёг мои глаза-а-а-а...

Всё с той же кривой усмешкой, пригвождённой болью к пухлым щекам, Манул медленно поднялся с дивана, достал здоровой рукой из кармана Луну и подобрался к вжавшемуся в угол колдуну.

— Нет, нет, нет!.. Прочь, гадкий мальчишка! Поди прочь! — заверещал тот, слыша, как приближается Манул.

Вор вытянул вперёд руку с монетой, и старик тотчас осёкся, уронив руки со стуком на пол, а седую голову — на грудь, громко клацнув челюстью.

На несколько мгновений в комнате повисла мёртвая тишина, даже свеча перестала потрескивать. А затем из-под стиснутых век колдуна забрезжило лунное сияние, и он чужим, бездушным и холодным голосом произнёс:

— Там, где пустыня осенью зацветает зелёными колючками, напоённая дождями, где вдоль дорог замерли схваченные мёртвым сном и ржавчиной железные чудища, а в земле затаились посеянные солдатами семена смерти, живёт в глиняном доме мужчина с женой, двумя малыми сыновьями и дочерью тринадцати лет. Прозвали мужчину Мулом за трудолюбие и выносливость, но не помнят люди — забыли напрочь, что не всегда он жил как они. Давным-давно, ещё юношей, и не помышляющим о жене и детях, уходил Мул из отчего края и долго пропадал невесть где. А когда вернулся и узнал, что всех родственников его прибрала война, — уединился в пустыне, и кто-то говорил, что он девона, а кто-то — что святой, но потом и первые, и вторые всё позабыли, словно никуда Мул и не уходил. По возвращению из пустыни он зажил самой обычной жизнью: построил дом, обзавёлся семьёй, хозяйством. Так и бытует уже много лет, растит бороду и детей, словно всерьёз надеется добрести до конца тропы простым смертным, а в пустыне не зарыт сундук с его прошлым... Отнеси Луну Мулу: только он знает, что делать... И он единственный, кому под силу... — лунное сияние, льющееся из-под век старца, стало постепенно меркнуть, а чужеродный голос — затихать.

— Под силу что? — закричал в панике Манул.

— Закрывать глаз Судии... — дряхлое тельце старца снова затряслось, но теперь ещё сильнее, чем в предыдущий раз, и Манулу пришлось наклониться, чтобы разобрать искорёженные и помятые звуки, сыплющиеся из перекошенного рта колдуна. — Награвировать... слова-приговоры... — голос захлебнулся в глухом утробном стоне, и Манул, не дожидаясь продолжения, перебил, в отчаянии стукнув себя по голове здоровой рукой сжатой в ладони монетой:

— Но зачем Мулу помогать мне?!

Тело старика на мгновение окаменело в неудобной позе, словно что-то выкачало из него все оставшиеся жизненные соки для последнего усилия, и ледяной голос громко и, как показалось Манулу, насмешливо произнёс:

— А он и не станет, ибо ненавидит колдовство... Но есть у Мула и своя Луна — родная кровинушка, в которой он души не чаёт и ради которой не пожалеет собственной — души.

В следующую секунду глаза старика — его настоящие глаза — широко распахнулись, брызнув в Манула слезами и ужасом, тело колдуна неестественно выгнулось, резко взмыло вверх с нечеловеческим визгом и врезалось в потолок с такой силой, что посыпавшаяся побелка потушила освещавшую комнату свечу.

Уже в крошечной темноте Манул услышал, как труп старика грохнулся на пол. Постояв немного в нагрянувшей тишине, вор вдруг тихо хмыкнул, а потом — хмыкнул ещё раз, а потом — ещё несколько, а потом и вовсе расхохотался в голос — надрывно и со всхлипами.

— Ааааа-ха-ха-ха-ха! Сахарная ягодка!.. — вопил он, корчась от приступов безумного хохота.

Ряженные

Side one: «Академия Болькина»

Антон Томилин и Евгений Свергун, Том и Джерри из заветной российской глубинки, были неразлучны с детства: жили в соседних подъездах, росли в одном дворе и даже учились в одном классе в мрачной и чопорной частной школе со странным наименованием «Академия Болькина».

Последнее обстоятельство было причиной особой гордости их семей, ибо родители мальчиков, не обладая ни баснословным богатством, ни хорошими связями, измученные уже самой необходимостью постоянно «вкалывать» до седьмого пота на двух-трёх работах, в результате чего складывалась одна терпимая зарплата, задроганные, вечно куда-то не успевающие, хронически уставшие, всегда на грани нервного срыва и синдрома эмоционального выгорания, всё же неистово жаждали престижа и уважения. Ради этих высоких целей, торжественно наречённых «успешным будущим детей», тратились непомерные для хлипких семейных бюджетов суммы. И если родители Тома худо-бедно справлялись с оплатой учёбы сына, то Наталье Свергун приходилось по-настоящему туго. Кляня на чём свет стоит бывшего мужа, из которого сложно было вытрясти даже те жалкие, мизерные гроши, что назывались «алиментами», она с годами всё больше погружалась в долги и

уныние, но никогда не позволяла себе мысли о переводе Жени в обычную школу — никогда.

Все эти надрывные усилия со стороны предков предполагали как нечто само собой разумеющееся, что благодарные отпрыски относятся к «Академии Болькина» с трогательным почтением, трепетом и любовью. Каких трудностей и затрат стоило одно только поступление в «Академию»! Но дети, как это нередко случается, видели ситуацию иначе.

«Сюда очень трудно попасть, — говорил Том, имитируя назидательную, с оттенком скрытой угрозы интонацию Ксении Дмитриевны, их классной руководительницы, и добавлял своим обычным голосом: — Но ещё труднее — здесь находиться». И Джерри с другом был полностью согласен. Между собой ребята величали драгоценную *alma mater* «Академией Боли». Впоследствии во многом благодаря именно этой шутке родилось на свет название «Жестокая Академия» (только к тому времени Антон, Женя и Никита уже год как перестали быть маленькими «академиками» и радовались свободе и неприкаянности студенческой жизни, а Джеку оставался ещё год до окончания школы. Но он тоже радовался своей свободе и неприкаянности, потому что учился в самой обыкновенной районной школе, где испуганного учителя старшеклассники могли отправить за пивом и чипсами прямо с урока. И попробуй не сходить).

Ни Джерри, ни Том толком не знали, кем на самом деле был мифический Болькин, обрёкший их на боль и подаривший свою фамилию школе: то ли выдающимся педагогом, не уступающим по значимости своего вклада в развитие системы образования ни Макаренко, ни Монтессори, ни Клавдии Петровне Грызиной из 179 школы (очень известный и уважаемый в городе педагог), то ли деревенским философом, сочинявшим к тому же стихи и эротические рассказы, то ли «новым русским», на чьи средства и была в начале девяностых годов построена «Академия». Версии в народе гуляли разные, официальной ребята никогда не слышали, да, если признаться по чести, никогда особо ей не интересовались.

Безжизненно-серая четырёхэтажная «Академия», со всех сторон окружённая не менее серым и унылым асфальтом, смотрелась как апофеоз серого цвета, сокрушительный бенефис агрессивной, навязчивой серости. Казалось, что здание было впечатано в асфальт кулаком спятившего великана либо, наоборот, выскочило из асфальта, подобно некой диковинной кочке. Территория по периметру школы была огорожена высоким забором из сетки-рабицы, а из-за забора удивлённо выглядывал мир красивых зелёных деревьев, детских площадок, весёлых лиц, смеха, увлекательных игр и всего прочего, чему в пенатах «Академии Болькина» не было места.

К огорчению каждого нового поколения мальчишек, футбол последователи Болькина, кем бы он ни являлся, недолюбливали, видимо, как недостаточно аристократичный вид спорта, и своего футбольного поля у «Академии» никогда не было. Ученики, из самых смелых и отчаянных, совершали дерзкие вылазки на поля соседних (обычных) школ, чтобы погонять мяч, но частенько бывали биты, осмеяны и обозваны всякими нехорошими словами, в общем, унижены и оскорблены ужасными аборигенами.

Зато у «Академии Болькина» был свой бассейн, размещённый в отдельном одноэтажном здании. После плавания, переодевшись в издевательски холодной сауне, красноглазые ученики, которым мнилось почему-то, что хлорки в бассейне больше, чем воды, могли недолго позаниматься в тренажёрном зале, поиграть в маленький теннис и даже подивиться в стеклянную дверь на выступающий из полумрака роскошный стол для русского бильярда, расположенный в закрытой от любопытных детей части здания. Что там было ещё — в этой заповедной зоне — никто из учащихся не ведал, но ближе к вечеру к зданию с бассейном, сауной и бильярдом подтягивались огромные, похожие по размерам на однокомнатные квартиры, чёрные джипы, откуда выбирались недружелюбного вида крепыши с бритыми головами на толстых мясистых шеях и их кукольнолицые, звонко цокающие высочеными каблуками спутницы.

Внутри «Академия» мало чем отличалась от обычной школы. Сразу за входом начинался просторный вестибюль, где во время перемен, несмотря на все запреты и внушения, ученики младших классов гонялись друг за другом, чтобы «замаять» того, кто не успел добраться до «домика». Иногда играли без «домиков», но по всему зданию: эта игра носила гордое имя «Суперка», и по её условиям нельзя было прятаться в помещениях, строго соблюдалось правило «коза козу не доит», а прерванный уроком процесс продолжался сразу после звонка на следующую перемену, когда увлечённые «академики» выпрыгивали из-за парт, вихревыми потоками вылетали из классов, чтобы «маявшийся» не успел коснуться их, проносились по этажам школы, перемахивая через пять-шесть ступенек зараз, врезаясь в возмущённых учителей и останавливаясь, только чтобы судорожно перехватить пересохшим ртом несколько глотков воды из фонтанчика. Из вестибюля вели два широких прямых коридора, в начале и конце каждого из которых располагались лестницы на другие этажи. Большая столовая, два спортзала — на втором и третьем этажах, актовый зал, где ставились утомительнейшие школьные спектакли, библиотека — ничего особенного во внутреннем убранстве «Академии» не

было. Удивлял разве что внушительный контрольно-пропускной пункт на входе, где дежурило аж четыре скучающих дармоеда в форме — форменных дармоеда.

Класс, в котором учились Антон и Женя, представлял собой типичный для «Академии Болькина» коллектив, управляемый при помощи кнута и... ну... собственно говоря, только при помощи кнута. Ксения Дмитриевна, истеричка предпенсионного (Бальзаку вряд ли бы понравилась) возраста, руководительница, но вовсе не «классная», давно на дух не переносила детей и с большим трудом сдерживалась, чтобы не лупить надоевших школяров линейкой по всем доступным для удара частям тела. Неоднократно она падала в обморок прямо на уроках... от злобы. Чёрные, как смоль, волосы Ксения Дмитриевна стригла очень коротко, чуть ли не ёжиком, и это, вкупе с красным квадратным лицом, придавало ей особенно свирепое выражение. Ученики её боялись, как огня.

Но ещё больше огня и Ксении Дмитриевны ученики боялись Директора. Даже имя его все старались не произносить, потому что для всех он был именно Директором — с заглавной буквы. Молчаливой тенью этот неулыбчивый человек бродил по коридорам «Академии», наводя одним своим присутствием леденящий ужас на всё живое, словно дементор из Азкабана. Вмиг обрывался детский смех, почтительно стихали разговоры, лица преисполнялись кротостью — наступал идеальный порядок, окованный благообразием. Природа страха перед Директором носила мистический характер, потому что никто никогда не видел его в гневе или даже просто недовольным, ни на кого Директор не повышал голоса, никого не ругал, не отчитывал, не наказывал — он вообще мог оказаться добряком и весельчаком, если бы не молчал постоянно. Но, вероятно, в этом молчании, а также в неустанных стараниях взрослых культивировать сам образ строгого Директора крылись причины безотчётного страха учащихся.

Несмотря на столь жёсткую иерархию и суровое психологическое давление «сверху», один хулиган в классе всё же орудовал, коварно мимикрируя, притворяясь перед учителями «хорошим» безо всякого стыда, а одноклассников держа в ещё большем, нежели огонь, Ксения Дмитриевна и Директор, страхе, потому что был ближе и всегда мог оперативно дать в ухо. Звали забияку и хамелеона Андреем Ермолиным. Глядя на этого невысокого, худенького мальчика, сложно было предположить в нём тирана. Но стоило присмотреться чуть получше, чтобы обратить внимание на всегда прямую спину, широко расправленные плечи, уверенную, не лишённую желания побравировать походку, скопированную один в один с отцовской. Яблоко от яблони... Ермолин-старший, хорошо

известный в криминальных кругах города как Митя Кулак, человек жестокий и на расправу скорый, никого не боялся, никого не жалел — даже родных и близких, а сына и вовсе нещадно лупил за малейшие проступки, неповиновение или просто так — «от души», но при этом не забывал и о «воспитании», научая отрока на насилие всегда отвечать насилием и никому, кроме, разумеется, самого Ермолина-старшего, не спускать обид. Непростой характер достался Андрею от отца.

Side two: Парадоксы нарождающегося интеллигента

А вот от Андрея больше всех доставалось Джерри. Всё в Джерри, начиная с кончиков длинных чёрных волос и заканчивая кончиками чёрных остроносых «казаков», купленных в девятом классе на чёрном-пречёрном рынке, раздражало Андрея, противоречило «понятиям», которым дрессировал сына, словно маленького зверёныша, Дмитрий Александрович Ермолин, Митя Кулак. А даже при всей присущей ему бесконтрольной жестокости отец являлся для Андрея нравственным мерилом мира: мальчик видел людей отцовскими глазами, судил их отцовским умом. И отцовским безумием тоже. И отцовской неиссякаемой злобой, злобой лютого хищника. Джерри в подобном ракурсе выглядел слабой и больной особью, не достойной быть в стае, жалким мутантом, подлежащим обязательному уничтожению с точки зрения естественного отбора, «не правильным и не пацаном», а из тех, кого Дмитрий Александрович презрительно называл «неформалами», подразумевая почему-то при этом, вопреки терминологии давно сложившейся, традиционной молодёжной субкультуры, нетрадиционную сексуальную ориентацию. Джерри был «неправильным», и это проявлялось не только в его вызывающем внешнем виде, но и во всей его натуре: в том, что и как он говорил, какую музыку слушал, в том, «чем дышал». Ненависть Андрея, доходящая порой до идиосинкразии, стала естественным продолжением ненависти к людям Ермолина-старшего. Усугубляло ситуацию ещё и то, что Андрей, даром что числился «академиком» и обладал недюжинной звериной хитростью, был, откровенно говоря, туповат. А сила, агрессия и тупость, соединённые в одном человеке, всегда чреваты страданиями окружающих.

И Джерри страдал. Не столько даже от побоев, сколь от постоянного унижения и незаслуженных оскорблений. Каждое злое словечко, каждый гадкий звук невыносимого, полного презрения смеха, что язвил сильнее удара в лицо, оседали в его душе, бередили без остановки сознание, крутились в голове, подобно влезшей без приглашения липкой эстрадной халтурке. Неотвратимость въевшегося в будни унижения отравляла всё, и никакая радость не могла быть

полной и чистой, и никакая надежда не находила путь к сердцу. Джерри оставалось только терпеть и нести этот груз на своих слабых сутулых плечах, но он не хотел терпеть! Узвлённая гордость, не обращая ни малейшего внимания на охрипшие крики страха и встревоженные доводы разума, принуждала его снова и снова дерзить в ответ на оскорбления и, само собой, получать по заслугам, а именно — по «физиии», ибо драться Джерри не умел. Мало того что не умел — даже не задумывался всерьёз о том, чтобы дать отпор своему истязателю, кроме как в сладеньком сиропе грёз, где он разделялся с проклятым Ермолиным при помощи приёмов рукопашного боя или магических способностей. Но мечтать вредно, если мечты не побуждают изменить неприглядную действительность, а служат бункером от неё. Никакими приёмами рукопашного боя в реальности Джерри, естественно, не владел, магические способности (во всяком случае осознанные и наглядно применимые на практике) проклёвываться упорно не желали, а вялых летних назиданий Владимира Ивановича по типу: «Сынок, ты должен уметь защитить свою умную голову крепкими кулаками» — с лихвой не хватало, чтобы справиться с Андреем Ермолиным, наставником коего был сам Митя Кулак. Таким образом, в сухом остатке получалось, что победить своего врага, не обладая ни физической мощью, ни силой духа, Джерри не мог, равно как не мог и отказаться от конфликта, не ввязываясь в заранее проигранное сражение. Это был парадокс. Назовём его первым парадоксом нарождающегося интеллигента.

Два случая с участием Андрея Ермолина прочно угнездились в памяти Джерри, словно дальние родственники из другого города, попросившиеся переночевать и «забывшие» съехать. Первый, приключившийся в девятом классе, представлял собой довольно нелепый курьёз: по сути, ситуация не стоила и выеденного яйца. Но стоила выеденной котлеты.

В столовую, как обычно — после окончания второго урока, Джерри спускался, глубоко погружённый в себя. Вот уже несколько месяцев, как заразился он излюбленным увлечением всех мечтательных и страдающих подростков, а также изнывающих от безделья пенсионеров — стихосложением. Выдавая на-гора в день по три-четыре шедевра с глагольными рифмами и беспощадно избитыми банальностями, Джерри совсем перестал замечать, что происходит вокруг. И, когда он садился на своё место в столовой, все силы его существа были брошены на возведение последнего этажа длинного философского небоскрёба о жизни, отделанного изнутри горьким разочарованием и мудрым пессимизмом, столь присущим отрочеству. Но завершающая строфа, шпиль которой должен был пропороть небеса и больно уколоть самого Созда-

теля, всё никак не желала взгромоздиться на уже отстроенные этажи, изводила, мучила, не позволяла отвлечься ни на что другое. Так, не переставая перекачивать в волнах мыслей камушки словес и даже приборматывая вслух: «Как надоевшую репризу, // Всю жизнь я вижу наперёд. // Не удивит меня сюрпризом // Судьба...» — Джерри съел свой обед и обратил туманный взор на пустующее место Андрея Ермолина и его тарелку с котлетой и гороховой кашей. Дальнейшее произошло само собой, на автомате, без участия разума, отправленного намыывать рифмы на приисках вдохновения. Джерри насадил на вилку котлету с тарелки Ермолина и в два счёта отправил её в голодную топку своего чрева. После чего, продолжая измышлять строки, коим предназначено было увенчать Вавилонскую башню его зарифмованных рассуждений, покинул столовую и медленно побрёл на третий этаж. Но на пролёте между вторым и третьим этажами его нагнал разгневанный Ермолин и громко окликнул. Джерри остановился. Полая красным от негодования лицом, Ермолин вкрадчиво спросил:

— Ты съел мою котлету?

Джерри рассеянно посмотрел на одноклассника:

— Что?

— Ты съел мою котлету? — так же вкрадчиво повторил вопрос Ермолин.

Джерри несколько раз моргнул и выпал из горнего мира в ужасную действительность.

— Да, я съел твою котлету, — он обречённо кивнул головой и потупил взор, а в следующее мгновение уже согнулся пополам от сильного удара в живот.

— Ещё раз попробуй... — пригрозил Ермолин, несколько секунд постоял над корчившимся от боли Джерри и гордо удалился, раздвигая широко расправленными плечами пространство.

Джерри, придерживая покачнувшийся мир за поручень, вдруг начал истерично хохотать, хлопая себя свободной рукой по колену и выплёвывая сквозь конвульсии смеха дописанные за него самой жизнью строки:

*Как надоевшую репризу,
Всю жизнь я вижу наперёд.
Не удивит меня сюрпризом
Судьба... Я так считал, но вот —
Удар в живот.*

Почему жизнь решила столь бесцеремонно вмешаться в глубокомысленный творческий процесс Джерри? Да просто потому, что очень хотела напомнить о себе. Как и всякая женщина, она требовала внимания, а Джерри, словно нарочно подводя нас ко

второму парадоксу нарождающегося интеллигента, не жил, а лишь рассуждал о жизни.

В ещё одном памятном эпизоде из истории трогательных отношений Жени Свергуна и Андрея Ермолина обошлось без насилия и стихов. Примерно через год после трагедии с котлетой Джерри неожиданно оказался на первой парте третьего ряда во время урока алгебры, пересев на место заболевшей отличницы Пищулевой по настоятельной просьбе учителя.

Решать задачи к доске, когда в середине урока створки её по мановению рук учителя распахнулись, были вызваны сразу трое: на фланги — Климентьев и Ермолин, в центр — Лида Дерябкина по прозвищу Мартышка. Мартышка, деловито крутя головой, важным голосом комментировала все этапы работы над своим заданием. Двое других сражались с неизвестными молча, зная о неминуемом возмездии в конце урока.

Вот так, волею судеб, Джерри очутился как раз напротив потеющего и тяжело вздыхающего Андрея Ермолина. А вздыхать Андрею было от чего! Времени на решение у него почти не осталось, а от разгадки он был теперь ещё дальше, чем до того, как увидел задачу. С точными науками Андрей был не в ладах, впрочем как и с гуманитарными (и даже с физкультурой у него постоянно возникали трудности, потому что он ленился или, что тоже вероятно, считал ниже своего достоинства проявлять рвение к этому предмету). Твёрдые итоговые тройки за год в «Академии» Андрею обеспечивались только авторитетом и дурной славой отца: кому ж охота объяснять Мите Кулаку, что сын его — дурень и раздолбай?! Здоровье дороже.

Глядя на страдающего Ермолина, Джерри испытывал меленькую подлую радость, но когда с удивлением поймал себя на ней, то тут же и простил: сколько унижений натерпелся он от этого глупого самонадеянного деспота — пусть теперь тоже помучается всласть. Славься, алгебра! А задачу, от которой округлились в два больших нуля вечно насмешливые и наглые глаза Ермолина, Джерри решил за четыре минуты, от нечего делать. «Ты думкорф, — злорадствовал и тепло улыбался он, рассматривая, как всегда, прямую и от этого сейчас ещё более нелепую спину Ермолина. — Безнадёжный думкорф. Тупее мела в твоих руках».

Неожиданно обернувшийся Ермолин заметил направленный на него взгляд и потускневшую в ту же секунду улыбку, но не осердился, как следовало ожидать, а молящим голосом горячо зашептал:

— Слышь, помоги, а? Ты же рубишь в алгебре. Я вообще в эти иероглифы не втыкаю.

И столько искреннего отчаяния сквозило в голосе хулигана Андрея, так убедительно жалок он был, что Джерри испытал при-

ступ тошнотворного сострадания, словно на его глазах злущего, бешено оскаленного пса, спешащего огромными прыжками, чтобы разорвать, растерзать свою жертву в клочья, сбило многотонным грузовиком, и, вмиг ставший беспомощным, зверь корчился в луже собственной крови, протяжно скуля и подвывая. Именно из этой брезгливой жалости — не из страха перед возможными последствиями отказа — только из жалости Джерри помог своему обидчику, нашептав решение.

В итоге недоумевающий учитель, хмыкнув и пожав плечами, поставил Ермолину «пять», а Андрей, дождавшись перемены, подошёл к Джерри, чтобы поблагодарить и крепко пожать руку. Наверно, будь они героями фильма или романа — тотчас бы и стали добрыми друзьями на всю оставшуюся жизнь, но в настоящей оба почувствовали смущение. Всё это было неестественно, неловко и натянуто. Что-то в мироздании пронзительно скрипнуло, надорвалось, и налаженный ход вещей уродливо перекосялся.

Джерри вдруг остро ощутил, что допустил досадную ошибку. От благодарности Ермолина его буквально мутило, чуть ли не выворачивало наизнанку, он сожалел о своей жалости. Пытаясь понять разлад внутри, он начал уныло копать в причинно-следственных связях, желая вывести самого себя на чистую воду и одновременно боясь этого, всё больше увязая в сомнениях разного рода: не из раболепного ли желания угодить и боязни он помог столько лет издевавшемуся над ним Ермолину, но, с другой стороны, если бы отказал в помощи — то не из низкого ли и мелочного мщения и т.д. Количество обвиняющих, оправдывающихся, спорящих, да и просто гомонящих во всю дурь голосов стремительно нарастало, и Джерри не знал, как спастись от них, куда от них деться, раз уж они оккупировали его бедную головушку. Вот из этого-то нелепого мучения и никчёмного самоистязания и появляется перед нашими изумлёнными очесами, словно то, что появилось «вдруг откуда ни возьмись» в ядрёной народной поговорке, третий, самый отвратительный парадокс нарождающегося интеллигента — рефлексия, ака самоедство (уже предчувствуя неистовое возмущение от столь неосторожного вывода и преступного использования священного для каждого истинного интеллигента слова, спешу, спешу изо всех сил, спотыкаясь и падая, спешу успокоить: интеллигентота, спа-а-кой-на-ай!).

К счастью ли, к несчастью ли, но великосветский конфуз, измотавший обоих невольных участников, вскоре схлопнулся сам собой: благодарность Андрея оказалась недолговечной, недоумение и растерянность в душе Джерри сменились будничным презрением, и жизнь вошла в привычную колею.

Side three: Странные и подозрительные типы

Только один человек в классе не страдал от сложного характера хулигана Андрея и почти всегда (об этом крохотном для общей толщи жизни, но изумившем всех «почти» — чуть позже) оставался верным своей беспечной и жизнелюбивой натуре, — Том.

Несмотря на дружбу с Джерри, — а они были друзьями не разлей вода — Том за друга перед Ермолиным не заступался и вообще не участвовал ни в каких «тёрках». Причиной такой странной политики «невмешательства» не был страх: к старшим классам Антон вымахал под два метра ростом и отличался могучим, богатырским телосложением. И по духу он не походил ни на Джерри, вечного бунтаря-лузера, ни на его визави Ермолина, облучавшего всех вокруг дозами радиоактивной агрессии, ни на, скажем, горьковского Луку, исчезающего в самые страшные моменты — как раз тогда, когда в нём более всего нуждались. В ярости Том скорее уподобился бы африканскому слону, учувшему опасность. Хотя таким в «Академии» его видели лишь однажды (но об этом интригующем «однажды», нераздельно связанном с крохотным «почти», — чуть позже).

Том чурался насилия во всех формах и проявлениях. На его добром, открытом лице бабочка улыбки, желанная гостья, порхала непринуждённо и легко, карие глаза, цвета пуэра, разлитого по фарфоровым чашкам, дарили всякому встречному доверчивое тепло. Том жил в своём мире, мире красоты и волшебства, и упорно держался в стороне от всего, что представлялось ему мелочным и суматошным, напрягающим, скучно обыденным, зряшным. Его большая кудрявая голова неторопливо плыла над суетной повседневностью, не всегда замечая, что происходит внизу. И даже некоторая чужаковатость, которую знали за Томом близкие люди, только добавляла ему шарма.

Задира Ермолин в присутствии Тома редко «кантовал» Джерри, на инстинктивном уровне предполагая серьёзную угрозу своему непререкаемому авторитету, хотя Том, как уже отмечалось ранее, всё равно не стал бы ввязываться, и не только потому, что на дух не переносил насилия, но ещё... из деликатности. Джерри и Том никогда не обсуждали этой неловкой темы вслух, но и без слов Том прекрасно понимал, что другу не по силам принять помощь: гордость не позволит. Таковы были правила игры, таков мир, и пусть многим Том казался «не от мира сего» — он не сражался с ветряными мельницами, но только созерцал их.

Да, Том жил мечтами и грезил наяву, с открытыми глазами. Видениями и сказками приукрашивал, словно ёлку — новогодними игрушками, пыльную обыденность, каждое мгновение и всё вокруг полагая чудом. Один раз, к примеру, он застал своего лучше-

го друга врасплох удивительным рассуждением, что никаких наук не существует, а есть лишь заключённая во всяком человеке под толстой-претолстой корой самообмана воля к волшебству. И, повинуясь тайной силе этой, взмывают в космос корабли, заводятся, ворча, моторы машин, оживают родными голосами сотовые телефоны — только благодаря ей. «Почему же люди не желают признать её?» — спросил озадаченно Джерри. Да потому, говорил в ответ Том, что им, маловерам, проще усложнить всё до невозможности различными хитро выдуманными схемами, формулами, расчётами. Но все эти путанные, многотрудные навороты воображения — тоже от волшебства, волшебства, распираемого собственным могуществом и склонного — от невозможности развернуться во всю ширь — к играм, лабиринтам, загадкам, преумножению масок. Джерри тогда внимательно посмотрел на Тома, вероятно, переживая за душевное здоровье друга, но тот, перехватив тревожный взгляд, безмятежно улыбнулся и сказал немного смущённо: «Ну, это просто небольшое метафизическое недоразумение, свалившееся на мою голову, когда я шёл домой с уроков и случайно задел головой облачко с метафизическими недоразумениями...»

Из подобных «недоразумений» и складывалась жизненная философия Тома, наполняющая мир светом и делающая каждую кроху бытия празднично осмысленной и одухотворённой. Надо ли говорить, что Тому и тому, кто находился рядом с ним, не бывало скучно? Живое воображение Тома безостановочно работало, преобразая происходящее, находя лазейки к веселью и радости из самых унылых бытийных тупиков.

Как-то раз, в середине января и девятого класса, погожим воскресным днём, когда солнце светило совсем по-весеннему — ртуть в термометре замерла чуть ниже нуля — и оставаться дома было бы преступлением против юности, Джерри и Том, позвав для компании одноклассника — Никиту Зернова по прозвищу Кострома, отправились на поиски захватывающих дух приключений, волнующих, опасных, будоражающих кровь, но... ничего не нашли.

Растерянные и сконфуженные, стояли они на пустующем футбольном поле чужой школы, попиная вязкий, осалившийся на солнце снег, и не знали, чем заняться. Денег, как назло, у всех оказалось катастрофически мало, и в гости пойти тоже было не к кому (такой уж день — воскресенье: предки торчат дома и приходят в себя после трудовой недели, плаксиво требуя тишины и покоя). Сложив жалкие гроши из вывернутых и тщательно обысканных карманов в одну кучу, ребята совсем приуныли.

— Филок хватит только на метро покататься, — грустно заключил Кострома.

— Да ну нах, — тотчас капризно отмахнулся Джерри. — Тоже мне развлечение нашёл. Какое ещё метро? Чего мы там не видели?

— Хм, — задумчиво выдохнул Том и, мечтательно улыбнувшись, закрыл на мгновение глаза: так он «наколдовывал» идеи.

— Да это я так... к слову пришлось, — начал торопливо оправдываться Кострома, но Том перебил его, вскинув указательный палец к небу:

— Есть одна мысль.

— И какая же? — скептически поинтересовался Джерри, уже настроившийся на одно сплошное разочарование и про себя обругавший хорошую погоду, выгнавшую его на улицу.

Том сложил ладони вместе и прикоснулся получившейся конструкцией ко лбу, вероятно, готовясь к длинной философской беседе о посетившем его инсайте.

— Ты говоришь: «Чего мы там не видели?» — но угол нашего зрения напрямую зависит от того, как мы сами выглядим, и от того, во что одеты в данный момент. Случалось ли вам, господа девятиклассники, господа академики, сильно опередившие в развитии своих быдлоподобных сверстников и настолько же сильно уступающие им в развитии физическом и половом, замечать, за своими матерями, например, ну, или кем другим, как радуется женщина всякой новой вещице, когда надевает её? Она по-другому оценивает всё вокруг, по-другому воспринимает людей...

— Но мы-то не женщины! — оскорблённо воскликнул Джерри, вдруг уловивший в надвигающемся предложении друга какой-то подвох, что-то нехорошее и, вероятнее всего, неприличное.

— Не женщины, — испуганным эхом повторил за Джерри Кострома.

— Стоп! Снято! Женья Свергун и Никита Зернов в новой уморительной комедии «Два капитана: Во имя очевидности», — с бодрой, нарочито идиотской интонацией, с какой по обыкновению анонсируют молодёжные комедии, прокричал Том и, покачав головой осуждающе, но с затаившейся в уголках губ улыбкой, терпеливо и спокойно, словно работник банка, объясняющий пенсионеру, куда совать пластиковую карточку, продолжил: — Ну, конечно, мы не женщины, и было бы странно, если б я пытался доказать обратное. Но мужчины притворяются, когда говорят, что им плевать, во что они одеты: мол, настоящему мужику нет дела до каких-то там нарядов — есть! Настоящему-то как раз и есть! Конечно, он хочет произвести впечатление простого, сурового и даже брутального самца, но если откинуть это горделивое лицемерие, то каждый мужчина, ежели он не люмпен и маргинал, о коих и упоминать не стоит, внимательно следит за своим внешним

видом. Поэтому довод, что одежда важна только для женщин, мы с негодованием отмечаем.

— Какая глыба, какой матёрый человечище! Антон, да вы философ, — с иронией, чуть приправленной уважением, заметил Кострома, глядя на Тома из-за стёкол очков преувеличенно серьёзно.

— Доморощенный, — усмехаясь, уточнил Джерри. Он по-прежнему смотрел на Тома с недоверием.

— Вот и хорошо, что доморощенный! Всё домашнее — хорошее, — отмахнулся Том. — Домашнее вино, домашние пельмени... Но к делу! Итак, одежда, безусловно, влияет на наше восприятие действительности. В предыдущие разы, пользуясь услугами метрополитена, мы были облачены в наши будничные доспехи, в кожуру, приспущую к нам, словно вторая кожа, и всё вокруг казалось нам обычным, обыденным, обрыдшим, да мы даже и не осматривались, не чая обнаружить чего-то нового, зная наперёд каждый поворот, каждый изгиб окружающего мира, предвосхищая его в своей голове, а потому и не обращая на него ни малейшего внимания. Сегодня... — Том взял торжественную паузу. — Мы со всей церемониальной строгостью разрушим рутину сиюминутной жизни, выгнув наше видение неестественным углом в неизведанное, кардинально изменив ракурсы восприятия, заставив мир вокруг, словно после клика по F5, обновиться и засверкать с яростной силой. А для этого — поменяемся прикипевшими к нашим телам и душам оболочками, впившимися в наши личности личинами, проще говоря — одеждой. Только верхней, разумеется.

— Последнее добавление — очень ценное, а то я уж и не знал, что думать, — хмыкнув, произнёс Джерри. — Но я всё равно пас. Глупость какая-то.

— А мне нравится! — громко и радостно рёк Кострома. — Я чуть не вывихнул мозги, вслушиваясь в высокопарную телегу, на которую Антон погрузил свою простую по сути мысль, — Никита довольно хохотнул, чтобы привлечь внимание на флёр пародийности в только что сказанном, — но в этом определённо есть интрига, волнующая моё воображение.

Том с улыбкой кивнул Костроме и повернулся к Джерри:

— Попробуй принять это не как катание на метро трёх заскучавших дебилов, а как обряд. Говорят, в чужую шкуру не влезешь, но мы можем исполнить это до безобразия буквально, перетасовав наши ощущения, словно колоду карт!

Джерри смущённо покачал головой:

— Просто так никто не рядится. Раз ты говоришь об обряде, ты должен понимать, что у каждого обряда есть свои правила, одно из которых — предназначенное именно этому обряду время. Так

вот, сейчас не время для ряженья: святки позади, до масленицы далеко. И никто вроде не женится.

— Святки? — растерявшись, только и переспросил Том.

— Ты говорил про обряд ряженья. У меня бабушка в деревне живёт, — покраснев, пробормотал Джерри.

Том задумчиво поскрёб своими длинными пальцами в затылке, сдвинув чёрную кепку на глаза, и пожал плечами:

— Ну, возможно, ты и прав...

Вот так обычно и заканчивается то, что не успевает начаться, но ровно в это памятное мгновение, когда предложенная Томом идея уже растворялась в январском полдне, а Джерри не без облегчения понял, что сейчас просто-напросто пойдёт домой, Никита Зернов, угодивший на большой огонь озорства и загоревшийся затеей с переодеванием, неожиданно вскипел:

— Да ну к чёрту! Какая ещё деревня? Причём здесь свадьба?! Святки... — тут Кострома припечатал такое словцо в рифму к «святкам», что Джерри отшатнулся с испугом. — «Давайте пить и веселиться, // Давайте жизнь играть, // Пусть чернь слепая суется, // Не нам безумной подражать!» Помните Пушкина? Пушкин велел! А Пушкин, как известно, наше всё!

Последнюю фразу Никита произнёс с придыханием, надрывно и страстно, словно настоящий пушкинист на пушкинской мессе, неистово трясая головой и руками, вдохновенно орошая слюной всё окрест. А произнеся, задрал, чуть не уронив с носа очки, покрасневшее от натуги лицо к небу и ткнул туда же указательным пальцем. Том и Джерри несколько секунд потрясённо молчали, а когда театральный эффект накатил на них, подобно огромной океанской волне, погребя под собой изумление, расхохотались.

— Пушкин... всё... — только и смог выдавить из сотрясаемого рыданиями нутра Джерри.

— Классика! — всхлипнул Том.

На самом деле они любили Пушкина — каждый по-своему. Джерри искренне восторгался его стихами, Том — зачитывался прозой, Никита — «спасённой» где-то книжицей «Стихи не для дам», в которой, как бы то ни возмущало пожилых университетских клуш, готовых с пеной на губах отрицать подлинность сего и всех подобных изданий, тоже было опубликовано наследие великого русского поэта. Гений Пушкина не подвергался сомнению, в каких бы формах он ни предстал перед пытливыми взорами поколений. Но вот легкомысленно отпущенная Аполлоном Григорьевым на вечный променад по устам всех грядущих менторов, смертельно надоевшая, издевательски назойливая в своей безусловной безумной банальности, постыдно пошлая и одеревеневшая

от многократного использования до кататонической кондовости, затёртая до идиотизма идиома «Пушкин — наше всё» вызывала лишь пароксизмы гомерического хохота и аллергию, когда хохот был невозможен по соображениям приличия.

— И пусть выпить у нас сегодня не получится, ибо не на что, уж простите великодушно, Александр Сергеевич, — продолжал паясничать Кострома, — но мы вполне можем повеселиться от души! А ну-ка, Антон, — обратился он к Тому и схватил его за лацкан пальто, — снимите это немедленно!

Том, даже не задумываясь, загипнотизированный, заговорённый, заболтанный, а скорее взболтанный, подобно оملету перед отправлением на кипящую маслом сковороду, повиновался.

Никита в мгновение ока сбросил с себя дублёнку и протянул её Тому, выхватив из его рук пальто и увенчав всё это действие азартным вскриком:

— А-а-а-девайсь!

С большим трудом Том вдел свои огромные ручища в несоразмерно узкие и маленькие тоннели рукавов чужой одежды, так, что края рукавов едва смогли отдалиться от локтей на незначительное расстояние, но сомкнуть дублёнку на груди уже не решился, опасаясь, что она просто лопнет на нём, как с чрезмерным усердием надутый воздушный шарик. Никита же исчез в пальто Тома, будто закутался в бескрайнюю ночную степь: пропали бесследно крохотные ручки, внизу пальто гармошкой попирало снег, и только голова парила над всем этим безобразием, парила с обнажённой в экстазе ухмылкой.

Карнавально преображённые, Антон и Никита медленно повернулись к Джерри, и тот упал на снег, словно подкошенный. Несколько первых секунд он совсем не мог дышать, хватая непослушным ртом охапки воздуха, а затем сотряс небеса и землю нечеловеческим гоготом, от которого с ближайших деревьев разлетелись, истошно каркая и сталкиваясь в воздухе от ужаса, вороны, а играющие во дворах дети поспешили укрыться в подъездах, тем более что перепуганные матери уже выглядывали с балконов. Держась за живот, Джерри перекатывался по снегу и никак не мог успокоиться. Когда за шиворотом у него оказалось достаточно ледяного крошева, чтобы остудить кипящий внутри хохот, он, не переставая похныкивать, поднялся на ноги.

— Пощады!.. — для начала выдавил он из себя и от этого неосторожного слова снова зарыдал, закрыв лицо руками. Антон и Никита смотрели на него с показным недоумением, из последних сил сдерживая проказливые ухмылки, отчего комический эффект только приумножался.

Отсмеявшись ещё раз, Джерри, увещевая самого себя, зашептал:

— Спокойно. Спокойно. Глубокое синее море. Море не волнуется — раз. Море не волнуется — два. Море не волнуется — три. Фу-у-ф. Так-так-так, — он покачал головой. — Мне почему-то кажется, что всё это закончится трагически. Антоха, ты же замёрзнешь, когда доконаешь дублёнку Костромы!

— Не, не замёрзну. Я вообще редко мёрзну, поэтому и хожу в пальто зимой. Что касается дублёнки, я буду осторожен. Главное — не делать резких движений. И не наклоняться. А вот Никита и правда может пострадать... Тебе бы, Женёк, поменяться с ним одежкой, пока он не сгинул в моём пальто навсегда, как дождевка в океане.

Джерри глубоко вздохнул, продолжая улыбаться, и со словами:

— Эх, что бы вы без меня делали... — разоблачился и протянул Костроме свою выдавшую виды косуху с налипнувшей в стиснутые зубы молний снежной кашей: — Держи, дождевка. Давай сюда океан!

— Уно моменто, — откуда-то издалека, будто подхваченный обманчивым эхом, раздался голос Никиты, и в следующее мгновение он возвратился на свет Божий, представ перед радостными лицами друзей и по-весеннему ласковым солнышком с чёрной громадиной в трепещущих руках.

Джерри перехватил из рук Никиты пальто и отдал взамен «косуху». Внутри драпового гиганта он вдруг ощутил себя раздробленным, тело охватила смута и сепаратистские настроения: кисти рук превратились в отдалённые уголки государства — республики, стремящиеся обрести независимость и суверенность, плечи, потыкавшись туда-сюда и не найдя нужных пазов, совсем сникли, оплыв воском, ноги же, напротив, преисполнились залихватским ухарством и в суицидальном стремлении переломаться, запутавшись в краях небывалой длины, всё норовили пуститься в пляс. И всё же из-за того, что Джерри был выше Никиты и шире в плечах, выглядел он в пальто Тома не столь вызывающе.

Чего никак нельзя было сказать о Костроме, охотно нырнувшем в проклёпанную кожу: в косухе, очках и шапке с помпоном он стал подозрительно похож на малолетнего любителя русского рока, о чём ему со смехом тотчас и доложили Джерри с Томом.

— Что, правда? — поспешил искренне расстроиться Кострома. — Вот это несрост! — он с досадой поджал губы, но уже через секунду расслабленно улыбнулся. — Но это только потому, что мы не закончили... наш обряд, — он стянул с головы шапку, явив миру русые, средней длины волосы, и протянул её Тому с напутствием: — Ты отдай кепку-депутатку Женьку, а он пусть отдаст мне свою «гондонку». И вот ещё, — он снял очки и двинул их в направлении Джерри. — Надень-ка их лучше ты. Не хочу быть дядей Юрой.

Круговой обмен состоялся.

Джерри водрузил на нос очки, а на голову — утеплённую мехом нерпы и синтепоном кепку, которую ему безропотно передал Том. Очки пришлось переместить на кончик носа, потому что иначе ничего не было видно. Оглядев себя с ног до головы, Джерри почувствовал, как внутри рождается помощник депутата. Как минимум — помощник депутата.

Кострома, избавившись от очков и надвинув на вмиг обезумевшие, потерявшие всякий смысл и выражение глаза чёрную «гондонку», обернулся тёртым и потасканным наркоманом, адептом «Sex Pistols» и саморазрушения, текущего в «резиновый шланг» из уже использованного кем-то шприца.

Том долго пытался натянуть на свою огромную голову отчаянно сопротивляющуюся шапчонку Костромы. Но дальше затылка дело не пошло, и помпон безжизненно и нелепо повис сзади, словно шутовской бубенчик.

— Гопарь! — вскрикнул Никита, тыкая пальцем в сторону Тома, и прыснул от смеха. — Натуральный гопарь! Только эти придурки так шапки носят — на краешке затылка.

— Слы-ы-шь, — набычился Том, для большей достоверности грозно выпучив глаза и оттопырив нижнюю губу. — Следи за базаром, нефер!

— Граждане! Немедленно прекратите безобразничать, — вмешался Джерри. — Все мы странные и подозрительные типы, — сделав ударение в последнем слове на второй слог, Джерри энергично зачерпнул рукой воздух (от сплина не осталось и следа) и воззвал: — Фырим в метро!

— Айда! — тотчас согласился Кострома, а Том молча, но радостно кивнул, одобряя.

До метро пешком было всего ничего, но весёлая троица добралась ещё быстрее, подгоняемая безудержной шалостью и попутным ветром сами знаете куда. Каждый старался вжиться в свою новую социальную роль, и поэтому разговор, пересыпанный солью шуток да прибауток, то и дело прерываемый оглушительными взрывами хохота и криками, отличался крайней несуразностью и даже бредовостью. Джерри представлялось, что они несутся по городу таким великолепным оранжевым сгустком, обжигающим всех встречных и поперечных возмутительной, раздражающей непохожестью, карнавальная развязностью, режущим глаза сверканием, словно солнце спустилось с небес и катится по улицам огненным шаром, но спешащие мимо горожане едва достаивали их тусклыми пренебрежительными взглядами. И разве что Кострома, без очков видящий чуть лучше крота, на входе в подземку со всей дури врезался в богатырского телосложения старую-пре-

старую бабку в огромной меховой шапке и с деревянной клюкой. Бабка от неожиданности выронила клюку на снег, пошатнулась, но на ногах устояла, схватившись одной рукой за шапку, чтобы та не слетела с головы, а Джерри краем глаза успел заприметить грубо вырезанную на сгибе палки воронью голову. Бабка сыпанула в спину Костроме горсть проклятий, но он уже скрылся за тяжёлой, открывающейся в обе стороны дверью.

Внизу их чуть было не подхватила под локти спешка и привычная для всякого метро суета, но маленькая беззаботная компания осталась невозмутимо медленной. Как три волнореза, оторвавшихся от берега и пустившихся в плавание, дефилировали они, окутанные наступающим со всех сторон тяжёлым маслянистым запахом креозота, мимо подземных киосков и магазинов. Людские волны обтекали их, обдавая брызгами мимолётных взглядов.

А потом произошло ускорение, словно неведомая сила вытолкнула их из горлышка реальности бурливым шампанским потоком в иное измерение: касса, эскалатор, рывок к только что подъехавшему электропоезду — и вот трое запыхавшихся, но безмерно счастливых подростков сидят рядышком, слишком возбуждённые, чтобы молчать, слишком запредельные, чтобы говорить, а потому просто тихо посмеивающиеся. Другие пассажиры, особенно пожилые, скребут наждачными касаниями недовольных глаз светлые детские лица ворвавшихся в вагон шалопаев, скребут с тем оттенком ироничного презрения и неосознанной зависти, с какими обычно и смотрят на подростков. Поезд разгоняется.

Вглядываясь в движущийся полумрак стекла над головами сидящих напротив людей, Том видит цветущие яблоневые сады. Видит не за стеклом, а вместо стекла, вокруг себя, потому что салон электропоезда внезапно исчез, оставив Тома стоять на прямой дорожке, пролегающей между белеющими яблонями к невысоким лесистым горам. Том вдохнул чудесный свежий воздух, и ему показалось, что он вдохнул умиротворение и покой.

Джерри, с другой стороны реальности повернувшись к Тому, чтобы наконец распечатать склеивший развесёлую троицу сургуч молчания, замечает странный, неподвижный взор друга, парадоксально сосредоточенный и отсутствующий одновременно, и, проследив его направление, тоже замирает. Электропоезд, протяжно взыв, разгоняется ещё сильнее, но Джерри переносится из его салона в салон старого, переполненного уставшими и потными людьми автобуса. Дорога, по которой едет автобус, очень плохая, неровная, с ямами, похожими скорее на канавы и овраги. Измученных пассажиров трясёт и бросает во все стороны, отчего они падают на поручни и врезаются друг в друга, ругаются и кричат,

не переставая, вина во всех бедах дороги, автобуса, водителя, всех вокруг и даже самих себя. Джерри тоже вопит во всю глотку, вопит от нищеты и уныния, от несправедливости и тесноты, от нерешительности, не позволившей ему сойти не на своей остановке, и удушливых сомнений: а не должен ли он был именно и сойти-то — не на своей остановке?! Но вот впереди, за дорожным кольцом, уже виднеется та самая, долгожданная остановка, та самая — без сомнений! Конечная остановка. Со всех сторон слышны вздохи облегчения, люди улыбаются и обнимаются в порыве искренней радости... Но на кольце автобус неожиданно поворачивает обратно и ко всеобщему ужасу начинает ездить по кругу. Джерри, задышавшись от ярости и возмущения продирается к водителю, не понимая, почему стоящие впереди пассажиры оцепенело молчат и ничего не предпринимают, чтобы остановить ненавистный автобус. Раздвинув последний ряд грязных, прокисших тел, Джерри вываливается вперёд, и гневные слова, уже выдыхаемые, уже выплёвываемые из исстрадавшегося, болящего нутра вдруг застывают на самом кончике языка. Водила — голый по торс, весь исколотый синими зоновскими татуировками уголовник, здоровенный и раскоченный, с обритой головой, но сальной щетиной на скулах и вокруг тонких злых губ, на которых змеится наглая усмешка. Вальяжно и расслабленно откинувшись на спинку сиденья, он небрежно крутит баранку одной рукой, а другой — то и дело подносит ко рту дымящийся замусоленный хабарик. Джерри стоит, оторопев. Джерри растерян. Джерри страшно. Словно кролик из романа Ричарда Адамса, он впал в «торн». Но гораздо хуже разбившего Джерри, подобно параличу, подобно «торну», страха — загорающаяся в его сердце ненависть к самому себе.

И только Никита Зернов не всматривается в мутное стекло электропоезда, потому что всё его внимание сосредоточено на двух странных и подозрительных типах, и это вовсе не Антон и Женья, что сидят рядом, уставившись в бракованное зеркало окна. О, нет. Те двое, на которых глядит с тоской Кострома, — другие, куда более странные и подозрительные типы, — медленно идут, не касаясь поручней, с другого конца вагона, и Никита знает, что они идут за ним, ищут его. Никита знает, и в знании этом нет никакой радости — лишь скорбь, много-премного скорби. Неотвратимые, как фатум, чужаки приближаются. Один — небольшого роста, почти карлик, другой — настолько огромен, что ему приходится нагибаться, чтобы не задевать потолок вагона. Лицо карлика перекоченено лютой злобой, маленькие ладони сжаты в кулаки. Великан мертвенно печален, он должен бы задевать всех вокруг, но проходит сквозь людей, словно они — привидения, тени, притом

Кострома почему-то уверен, что не великан и карлик — тени, но все те, мимо кого они движутся. На поясе у великана кожаные ножи, из коих торчит нож. Никто, кроме Никиты, не видит чужаков. Чадное, чёрное предчувствие частит в пульсе Костромы, оставляя на сердце сажу и копоть. «Может, они не узнают меня? Я же переоделся», — впускает немного робкой надежды он в душу, но как раз в то самое мгновение, когда эта мысль посещает его разум, карлик резко вытягивает свою маленькую уродливую голову туда, где трепещущим комочком вжался в сиденье мальчик, щурится, а затем со злобным торжеством вскидывает на Никиту палец и кричит:

— Вот он!

Великан медленно поворачивает голову и произносит глухим утробным голосом:

— Вижу тебя, ряженный.

Вот тут-то и Кострома, и Джерри, и Том одновременно очнулись, каждый — от своей грёзы, и ошалело посмотрели друг на друга. Ни один не вымолвил ни слова. Ни один — ни тогда, ни после — так и не собрался с духом рассказать, что видел. Веселье улетучилось. Джерри был мрачен, Кострома — расстроен, и только Том чуть улыбался краешками губ. На станции они сошли с электропоезда и сели в обратную сторону.

Когда любители переодеваний выбрались из подземного царства на свежий воздух, Джерри и Кострома вздохнули посвободнее. То, что мир остался на своём прежнем месте и солнце светило так же ярко и празднично, как и вечность назад, до спуска вниз, в пропахшее креозотом подземелье, утешало. И даже привычная городская суета с рёвом машин, людской толкучкой и прочими урбанистическими «прелестями» радовала замёрзшие сердца Костромы и Джерри: ничто так не лечит от страха перед зловещей неизвестностью, как обыденность, надёжная в своей непререкаемой пошлости.

Условившись переодеться в «родные» одежды там, откуда и началось неожиданное путешествие, — на заснеженном футбольном поле, — обратно шли медленно, постепенно вливаясь в течение и ритм улицы, разговаривая друг с другом тихо и спокойно, уже без хохота и балагурства, но с той доверительной приязнью, которой скрепляет людей общая тайна, тайна, не обсуждаемая вслух, но известная каждому из посвящённых. И пусть послевкусие у всех было разным: Джерри с облегчением чувствовал, как тускнеет острота впечатлений, добытых под землёй, Кострому тоже «отпустило», хотя неприятный осадок прочно осел где-то в глубине памяти, а Том продолжал наслаждаться ни с чем не сравнимой гармонией, впорхнувшей в его душу из цветущих яблоневых садов, — пережитое приключение сблизило ребят.

Не сговариваясь и без слов рассудив, что Кострома — клёвый парень, жизнерадостный, но не глупый, спорный на выдумку и знающий толк в разудалом, необузданном веселье, Джерри и Том охотно приняли его в компанию и с тех пор стали много времени проводить со своим новым другом. Немудрено, что вскоре Тома осенила лучезарная идея, проникающая в грубую суконную действительность из тонких сфер, — заняться каким-нибудь общим делом. К примеру, сколотить рок-группу. Вот это был бы сrost! И опять же неудивительно, что и Кострома, и Джерри думали в то же самое время примерно о том же: идея буквально витала в воздухе, порождая стихийную телепатию. Поэтому предложение Тома было принято «на ура».

На общем совете решили, что Никита, который до переезда с семьёй из славного старинного города Костромы успел отучиться там четыре года в музыкальной школе, будет заведовать гитарой (электрической, разумеется!), Джерри займётся бас-гитарой, как только выклянчит на неё денег у измученной матери, а Том освоит барабаны.

Название будущей группе придумали глупое, но броское — «Ряженые». У всех троих было ощущение, что оно навязалось само, чуждое ли не насильно.

Side four: Африканский слон (крохотное «почти» и интригующее «однажды»)

Однажды, в конце девятого класса, Том, которому почти всегда удавалось сохранять светлую безмятежность, подкреплённую неиссякаемыми запасами оптимизма, а также непринуждённую лёгкость в общении со всеми, но при этом держаться в стороне от общественной жизни и тем паче от любых конфликтных ситуаций, попал в пренеприятнейшее положение, столь неловкое, что не знал, как себя и вести. Никогда ранее не встречались ему люди, сознательно желающие причинить ему вред или унижить его. Во всяком случае, Том думал, что никогда не встречались. Ему и в голову не могло прийти, что такой человек всё время находился рядом с ним — с первого класса «Академии»!

Почему штатный хулиган Андрей Ермолин много лет игнорировал присутствие в ареале своего обитания, на своей территории, во владениях своих чудака Антона Томилина и дотерпел аж до последней четверти девятого класса, чтобы вдруг начать издеваться над ним, — для всех осталось загадкой. Не было ни одного резона, который мог бы послужить катализатором накопившейся ненависти, кроме, видимо, её размеров, выросших наконец из штанишек благоразумия. Поговаривали, посмеиваясь курьёзности этой сме-

лой мысли, что главной причиной запоздалого, но упрямого «наезда» Ермолина на Тома был страх. Тот же самый страх, что так долго сдерживал хулигана, подтолкнул его к нападению на противника, имеющего значительное преимущество в росте и весе.

Пьянея от самой возможности испробовать свои острые зубы на столь крупном звере, Ермолин, по всей вероятности, рассчитывал больше на наглость и напор, нежели на силу. Подавить, сломить волю соперника, чтобы он даже и не думал сопротивляться, а если и сопротивлялся, то как Джерри — по-интеллигентски вяло, с заранее выпестованным в душе горьким осознанием грядущего поражения. К тому же Антон, пусть и выглядел в разы мощнее Джерри, и вообще вымахал под потолок, что коломенская верста, но за друга, однако ж, никогда не вступался, а всегда держался поодаль, в тени, с краешку, с вечной улыбочкой на губах, будто только что оживил нарисованную бабочку. Значит, в действительности он просто трусил, а для понта делал вид, что является таким небожителем, мирские дела коего не касаются: мол, ах, оставьте меня, ибо я не от мира сего. Вот так мог бы размышлять Ермолин, если бы был способен размышлять. К несчастью, чтобы оскорблять людей, большого ума не надо, поэтому Том и услышал перед началом урока по русскому языку тяжело бухнувшие в затылок слова:

— Слышь, слоняра, подвинься, весь проход загородил тушей.

Антон с недоумением повернулся и одновременно отступил на шаг, хотя и так стоял достаточно далеко от дверного проёма, чтобы кому-то помешать. Мимо, стрельнув мгновенным оценивающим взглядом, промаршировал со сжатыми кулаками Ермолин, в этот раз особенно сильно вертя расправленными плечами, словно это они двигали его вперёд, а не ноги. Том хмыкнул и тут же выкинул произошедшее из головы как досадное недоразумение.

Но позднее в тот же день он обнаружил на своей парте сложенный вдвое тетрадный листок, на внешней стороне которого было нацарабано: «Человеку-слону». Том развернул лист и увидел внутри карикатурное изображение человечка с непомерно большими руками, ногами и огромной слоновьей головой с длинным толстым хоботом, похожим скорее на... другой орган. Подпись под рисунком не отличалась оригинальностью: «Человек-слон». Посмеявшись, хотя и не очень весело, Том смастерил из листа бумажный самолётик и запустил его кружить над партами. Если бы только на борт этого самолёта можно было погрузить назревающий конфликт!..

А конфликт неумолимо назревал. Ермолин нагел на глазах, распаляясь, как чудовище Франкенштейна в интерпретации Кобо Абэ — от хрупкости жертвы. При этом внушительные габариты только подчёркивали «хрупкость» Тома, теперь казавшуюся Ер-

молину очевидной. Именно «хрупкость» проступала в бесхарактерности, бесхребетности Тома, в его неумении постоять за себя и нежелании вступать в открытое противостояние, беспомощности перед хамством, агрессией и сжатыми кулаками. Том не отвечал на оскорбления и манкировал угрозами в свой адрес, и угроз с оскорблениями становилось всё больше. Том молча отходил, когда Ермолин будто невзначай толкал его, но в следующий раз толчок оказывался чуть сильнее. На уроках Том вздрагивал от попадавших в спину комков бумаги, щедро облитых слюной, но не считал нужным оборачиваться. Даже если слышал вдобавок злобное бормотание: «Ну, что, бивень, так и будешь сидеть? Или сюда, чмо! Сюда, я сказал!» Но Том не шёл.

Вскоре из всевозможных вариаций на «слоновью» тему Ермолин решил остановиться на одной, как ему верилось, самой обидной кличке — «Хобот». Для неё он придумал незамысловатые движения (пальцами обхватывал возле носа несуществующий хобот и проводил по нему рукой, будто разглаживая складки) и специальный звук, больше, правда, похожий на тюлений крик, чем на звуки, издаваемые слонами. Издевательство над «Хоботом» превратилось для Андрея в настоящее хобби, которому он предавался всё с большим азартом и рвением. Не могло быть и речи о том, чтобы сбавить обороты и просто насладиться произведённым на одноклассников эффектом, понежиться в ледяных потоках их страха, упиться их смятением, потому что Ермолин хотел драки, а вернее — жаждал избить Тома до полусмерти, прокручивая это сладостное видение в своём скудном воображении снова и снова, смакуя каждый удар, приправленный яростной бранью. Затопать, затопать ненавистного слона! Ничто другое уже не могло принести Андрею удовлетворения и разрядить искрящую от напряжения ситуацию.

Чувствуя, что непотребное злу насилием лишь провоцирует ещё большее озлобление, Том вознамерился «предупредить» Ермолина, но сделал это по-своему. На уроке биологии он неожиданно и совсем не к месту поднял руку и спросил у озадаченной учительницы:

— Марина Игоревна, разрешите мне прочитать доклад, специально подготовленный к сегодняшнему уроку.

Марина Игоревна, дородная пожилая женщина с редкими седыми волосами, зачёсанными назад и стянутыми в маленький хвостик, посмотрела на Тома через очки с тем оттенком равнодушия, что подразумевает также и перманентную учительскую усталость:

— Доклад? О чём же?

Том, уже успевший выйти к доске с кипой А4-х листов в руках, очаровательно улыбнулся и выдохнул:

— О слонах.

В классе повисла изумлённая тишина. Все до одного ученики замерли, словно Высший Разум нажал на пульт управления происходящим паузу. Джерри сидел с отвисшей челюстью. С задних парт донёлся звучный стук. Это Андрей Ермолин выронил гелевую ручку, которую крутил пальцами правой руки — на манер отца, только Митя Кулак таким образом крутил чётки — и она укатилась за край парты.

— Что?.. Зачем слоны? Какие ещё слоны? Не понимаю... — Марина Игоревна в недоумении покрутила седой головой, бесконечно далёкой от жизни класса, но Том уже произнёс громко и безапелляционно:

— Африканский слон! — и посмотрел прямо на Ермолина, отчего остальные ученики, как по приказу, стали медленно оборачиваться, а сам Ермолин нервно заёрзал на ставшем вдруг неудобным стуле. — Одно из самых опасных животных в мире! По статистике, от слонов погибает более 600 человек ежегодно. Африканский слон — самое крупное наземное млекопитающее на планете. Вес взрослой особи достигает 12 тонн. Рост — до 4 метров. Несмотря на свои размеры, слоны развивают скорость до 40 км/ч, и человеку ни за что не убежать от гонящегося за ним слона, — Том оторвался от чтения и снова выразительно взглянул на Ермолина.

Тихонько отошедшая в сторонку и самоустранившаяся от происходящего на уроке Марина Игоревна кашлянула как-то мелко и невыразительно в кулачок и отвернулась к окну, рассудив, вероятно, что лучше ни во что не вмешиваться.

А Том продолжал:

— У слонов слабое зрение, но слух, во много раз превосходящий человеческий, и прекрасное обоняние — они способны учуять любой запах за 1 600 метров. Бивень слона в длину достигает до 4 метров при весе в 50 килограмм. Хобот слона... — Том взял паузу, а затем громко и медленно повторил, словно смакуя: — Хобот слона... достигает до 2 метров в длину при весе в 140 килограмм. Благодаря тому, что в хоботе находится около 40 000 мышц, он очень гибкий. Кончик хобота заканчивается чем-то вроде пальца, который настолько чувствителен, что слон мог бы поднять им маленькую иголку. А ещё хоботом... — Том широко улыбнулся, продолжая между тем буровить взглядом постепенно закипающего Ермолина, — хоботом слон может поднять груз до 400 килограмм.

— Всё, Хобот, хана тебе, Хобот, — негромко, но отчётливо, так, чтобы все слышали, выдавил из себя Ермолин. И все, кроме окончательно растворившейся в законной панораме Марины Игоревны, слышали.

— Память у слонов — великолепная, — не обратив внимания на угрозу, рассказывал дальше Том. — Негодяя, который обошёлся со слоном плохо, слон запоминает на всю жизнь! А живут слоны долго — до 80 лет...

— Ты будешь жить недолго, Хобот, — уже громче сказал Ермолин.

— ...до 80 лет, — тоже повысил голос Том, и Марина Игоревна, нервно вздрогнув у окна, повернулась и решительно оборвала наметившуюся полемику:

— Достаточно, Антон. Я поставлю тебе плюс в журнал. Если бы доклад был по теме урока, поставила бы пятёрку. Садись на место.

Том медленно кивнул, с достоинством, явно помноженным на иронию, и вернулся за парту.

Класс, затаив дыхание, ждал звонка на перемену. Интрига-то закрутилась нешуточная! Шёпотом обсуждали, будет ли драка, и сходились на мнении, что да — конечно, будет. Но кто выйдет из неё победителем — вопрос куда сложнее. Большинство отдавало предпочтение мерзкому, но нахрапистому Ермолину. Голоса в поддержку Тома звучали не очень уверенно. Джерри, к которому не раз пытались обратиться, замкнулся в себе и вопросы одноклассников игнорировал. Выглядел он довольно жалко, словно это ему предстояло разбираться с хулиганом, а не Тому.

Трель звонка совпала с громким вздохом облегчения Марины Игоревны, которая последние полчаса, стараясь не замечать нездорового возбуждения на лицах учеников и незатихающего шёпота в классе, заученно бубнила урок, а про себя представляла, как забирается в горячую, полную ароматной пены ванную с бокалом белого сухого (и никаких слонов!). Радуюсь звонку не меньше учеников, она быстро продиктовала сквозь нарастающий гул домашнее задание и отпустила детей на все четыре стороны, а точнее — в сторону 321 кабинета, где, как предсказывало школьное расписание, должен был состояться урок ОБЖ.

К великой досаде одноклассников, жаждущих увидеть долгожданную бучу, и Ермолин, и Том молча, ни на кого не глядя и ни с кем не общаясь, собрали вещи и по одному покинули класс — сначала Том, через несколько долгих минут — Ермолин.

Все бросились в 321 кабинет, боясь пропустить драку.

Только Джерри еле плёлся где-то далеко позади, потускневшим взором уткнувшись в грязно-жёлтый линолеум под ногами. Когда он наконец добрёл до 321-го, перемене осталось жить меньше минуты. Зайдя в класс, он услышал разочарованные возгласы и, подняв голову, с удивлением осмотрелся. Весь класс был в сборе, и не хватало теперь только Тома и Ермолина, а именно их-то все и ждали — никак не Джерри.

За учительским столом скучал Сергей Дмитриевич Кабин, который, как и Марина Игоревна, не подозревал о разворачивающихся внутри класса боевых действиях. Это был мужчина крепкого телосложения, чуть ниже среднего роста, с короткими чёрными волосами. Большой любитель походов и авторской песни, Сергей Дмитриевич частенько появлялся в «Академии» с громоздким старым рюкзаком за плечами, многодневной щетиной, пропахший кислым запахом костра, через который пробивался тоненький и ненавязчивый перегарный дух. И пусть случалось и так, что костром от Сергея Дмитриевича не пахло — только перегаром, а на ногах его были носки разного цвета, — дети всё равно его любили, потому что он был человеком, что надо — честным, открытым, с хорошим чувством юмора, да к тому же молодым и не надутым ещё, подобно бомбажной консервной банке, от осознания своего превосходства и важности (чем разительно отличался от большинства старых коршунов «Академии»).

Едва Джерри успел занять своё место за партой, как из коридора раздался пронзительный вопль, а за ним — ещё один, а за ним — ещё, и спустя мгновение в класс влетел как-то боком, крутясь вокруг своей оси и мелко семеня ногами, словно выплясывая экзотический танец, Андрей Ермолин. Из расширенных от боли и изумления глаз грозного хулигана так яростно и обильно фонтанировали слёзы, что сидевший на первой парте Кострома дёрнулся, ощутив их брызги на своём лице.

— Полундра! Наш эсминец дал течь! — глядя сквозь стёкла очков, на которые тоже попало несколько слезинок, неожиданно воскликнул Никита и осёкся, спохватившись.

Но Ермолину в тот миг было явно не до Костромы, потому что в класс уже ворвался, топая так, что в окнах задрожали стёкла, Том, и был он по-настоящему страшен: взъерошенный, оскаленный, с дикими от бешенства глазами — пышущий раскалённой яростью супернапалм, готовый уничтожить всё на своём пути. Одним широким шагом Том подскочил к Ермолину и чудовищно огромной, невообразимо длинной ногой саданул хулигана куда-то в область плеча, отчего тот рухнул на парту Пищулевой и Фокина, синхронно отпрянувших в ужасе.

Невероятно, но Ермолин, продолжая реветь и вопить во весь голос, моментально поднялся и попытался достать Тома правой рукой, но сразу отлетел от сильнейшего прямого удара ногой в грудь, приземлившись теперь уже на стол к пораженному, оцепеневшему Сергею Дмитриевичу, никак не успевавшему переварить и осознать происходящее.

Ермолин снова попробовал подняться, но в этот раз ничего не вышло, и он лишь беспомощно свалился с учительского стола на пол. И, наверно, Том затоптал бы своего обидчика, как настоящий африканский слон, если бы Кабин, наконец-то опомнившийся, не обхватил его за талию (до плечей Тома из-за существенной разницы в росте он не доставал) и не потащил с силой из класса, скорострельно бормоча какие-то успокаивающие слова.

Когда они скрылись за дверью, все взоры обратились на всхлипывающего и стонущего на полу Ермолина. Никто не улыбался. В классе царил полная тишина. Но и без слов было понятно, что многим нравилось то, что они видели.

История эта наделала немало шума в «Академии». Ученики перешёптывались, что на следующий день после драки потерянные и перепуганные родители Тома ходили к Директору, и что там уже ждал их не только Директор, но и отец Андрея Ермолина, тот самый Митя Кулак, перед которым трепетали и дети, и взрослые, и, кажется, даже Директор, и что потом туда же вызвали и виновников скандала, и Ермолин был бледен, а Том невозмутимо спокоен, а вернее — возмутительно спокоен, и что, скорее всего, одного из подравшихся выгонят, а возможно, и обоих...

Но постепенно всё затихло. Мало того затихло — ещё и вернулось на круги своя, словно ничего не случилось. Никого не выгнали. Никого официально не наказали. Учителя делали вид, что о происшедшем знать не знают. Ермолин и Том вновь сосредоточились на своих ролях — тирана и мечтателя, разве что теперь игнорировали друг друга, а Ермолин ещё и обходил Тома за три версты, быстро отводя при столкновении лицом к лицу глаза в сторону, как аутист.

Из всех последствий, которые имела эта нелепая история, только два воспарили над пустой болтовнёй и получили в буквальном смысле прикладное значение — в качестве двух смачных подзатыльников. Один из них обрушился на затылок Ермолина-младшего, когда тот шёл с отцом после разбирательств у Директора к чёрному джипу. Андрей упал, едва успев выставить вперёд руки, чтобы не пропахать носом асфальт. В глазах у мальчика вмиг потемнело, оглушительный звон смял сознание с такой силой, что оно чуть было совсем не потерялось. Дмитрий Александрович молча сел в джип и уехал, предоставив сыну возможность самому добираться домой.

По всем правилам «метафизического» подзатыльника, описанного Германом Мелвиллом в «Моби Дике», второй, вполне себе реальный подзатыльник, отвесил уже сам Андрей Ермолин, отловив в коридоре Никиту Зернова.

— Это тебе за эсминец, — глухо, сквозь зубы проговорил Ермолин Никите, упавшему на пол вслед за слетевшими туда же с носа секундой ранее очками.

Покрутив головой, чтобы прийти в себя, Никита не без труда нашарил чудом оставшиеся целыми очки и водрузил обратно на нос. Ермолин уже скрылся за поворотом на лестницу. Кострома поднялся с колен, медленно отряхнулся и потёр пятернёй пострадавший затылок, а потом неожиданно улыбнулся:

— Я хотя бы не плакса.

Мул и Манул: Part 5

Когда Луна на чужом языке сказала: «Привет, тёзка!» — Спозми сначала очень удивилась, а потом догадалась, что это сон, пусть всё вокруг и было ослепительно чётким, осязаемым. Конечно, сон! Явь никогда прежде не позволяла Луне разговаривать, да ещё и на незнакомом наречии, слова которого девочка почему-то понимала.

«Здравствуй, Луна. Я направлялась к речке, но теперь возвращаюсь, потому что вышла из дома в неподобающем виде — с неприкрытой головой. Не пойму, как это могло случиться», — бесхитростно ответила Спозми на своём языке, но Луна уже превратилась в огромную сверкающую монету с одним словом в центре, от которого у девочки подкосились ноги и сердце пребольно сжалось в груди: «ПРОПАЛ». Спозми не знала, на каком языке выгравировано это слово, и кому оно предназначено, но смысл его был столь же ясен, сколь и посланный чуть ранее с небес «привет».

Какой страшный, нехороший сон! Спозми пожелала проснуться, но сон не отпустил её. Тогда девочка закрыла глаза, да только всё равно продолжала видеть повисшую в небе монету. Горько вздохнув, Спозми повернулась к Луне-монете спиной, отказавшись заодно и от дороги, ведущей домой, и побрела к реке, стараясь не смотреть вверх и не думать о том, что может встретить кого-нибудь по пути.

Но ведь дурной сон на то и дурной, чтобы в нём происходило именно то, чего боишься! Добредя до речки, Спозми угодила в ловушку дрожащего на волнах жёлтого отражения Луны-монеты и уже не смогла оторвать от него свой взор: отражение затягивало, как воронка, завораживало, держало крепко до тех пор, пока девочка не услышала сзади незнакомый мужской голос, прошептавший с придыханием и мерзким сладострастным смешком: «Какая у тебя красивая попка!»

Едва в воздухе растаяло последнее произнесённое слово, отражение тотчас отпустило девочку, и Спозми обернулась так

резко, что чуть не свалилась в реку. Перед ней стоял низенький круглолицый толстяк и масляными глазками ощупывал каждый изгиб её тела.

«О! И личико тоже ничего!» — хрипло добавил незнакомец, продолжая бесцеремонно её разглядывать. Говорил толстяк на том же языке, что и Луна, но девочка хорошо понимала его.

«Не подходи! Я позову отца!» — закричала Спожми что есть силы, но незнакомец лишь ядовито усмехнулся.

«Так он-то мне и нужен: есть для него работёнка!» — толстяк облизал губы. — Хотя и ты, моя сахарная ягодка, — после «сахарной ягодки» он мелко похихикал в кулачок и продолжил: — Также согласишься кое для чего!»

Спожми отступила на шаг и почувствовала, как ноги обожгла холодная речная волна. В голове девочки сам собой возник абсурдный, но тошнотворно яркий образ: это толстяк, ставший рекой, только что облизал её пятки длинным, шершавым, ледяным языком.

«Ну-ну! Что, бросишься в речку и постараешься выбраться на тот берег? — в притворном удивлении толстяк двинул брови вверх и наморщил лоб. — Так я оттуда и пришёл. Вон по тому хлипкому мосточку, — он небрежно махнул рукой в сторону чернеющего вдалеке жалкого сооружения, покачивающегося над рекой, — прямо из разрушенной старой крепости, где живут демоны».

«Ты демон?» — задрожав от ужаса, спросила Спожми.

«Не-е-е-ет, — смеясь, жеманно протянул толстяк. — Я повелитель демонов!»

Внезапно колдовской лунный свет, который струила с небес монета, пресёкся. И толстяк, и девочка одновременно взглянули вверх и увидели маленькую витиеватую тучку, заслонившую собой фальшивую Луну. Подлетевший ветерок принёс неожиданную прохладу и сыпанул мелкими дождевыми каплями.

«Да что же это такое! — от досады незнакомец даже хлопнул себя руками по жирным ляжкам. — Никак не отвяжется, чёртова ведьма!»

Дождинки, попадая на кожу незнакомца шипели и отскакивали в сторону, словно он был раскалён на огне. Но было заметно, что они причиняют ему сильнейшую боль. Скривившись, толстяк погрозил Спожми пальцем и прохрипел сквозь зубы: «Я приду за твоим отцом, девочка. И за тобой — приду!»

Он повернулся и гигантскими, невероятными скачками бросился наутёк. Через считанные секунды он уже перебрался по далёкому мосту на противоположный берег и скрылся в каменных развалинах.

Тихо радуясь спасению, Спожми с благодарностью подставила лицо морозящему дождю. А потом, едва дождик перестал, из тучки потянулись вниз облачные ступени, и по ним стала спускаться женщина. Девочка, ликуя сердцем, с нетерпением ждала внизу, потому что именно эта женщина и спасла её от гадкого толстяка.

Но вот тут-то, как и всегда — в самый неподходящий момент, на самом интересном, сон бесцеремонно вытолкал Спожми прочь.

Узелки судеб

Ей всегда снилось удивительно много снов. Красивых, как ширь реки, погружённая в прохладную дрёму ночи, с дрожащими огоньками редких костров далёкого потустороннего берега; и безобразных, как грязные ноги храпящего на лавке в сорокоградусную жару пропойцы; ярких, как солнце, слепящее глаза, когда никак не сообразишь, куда идёшь, и что происходит вокруг тебя, и тусклых, как избиваемое ноябрьским дождём дно грязной лужи. Водопады снов. Водовороты снов. Десятки снов за ночь, из спутанного клубка которых Оля выхватывала разумом и запоминала один-два, а остальные растворялись в тёмной воде, оставляя после себя только призрачное послевкусие.

Но были у Оли и любимые сны — про яблоневые сады. Бродя среди рядов благоухающих деревьев, дорогой, выстланной к лесистым зелёным горам, девочка слушала радостное пение птиц и деловитое жужжание пчёл, и душу её затопляли неисчерпаемые потоки счастья, которые выталкивали, вытесняли тревожный человеческий мир, словно и не было никогда ничего, кроме этих чудесных яблоневых садов. Пробуждение больно пронзало щемящим чувством потерянного Дома, но это чувство добавляло сновидениям глубину, и они становились настоящим, отодвигая растерянную явь в сторону. Да и что есть явь? Подчас она подобна старому чехлу, натянутому на бездну и поистёршемуся во многих местах.

В одну из таких прорех Оля заглянула, когда ей было десять лет. В тот жаркий июль семейство Князевых отдыхало на волжской турбазе, под сенью высоченных сосен, источающих в воздух густой хвойный аромат, такой сладкий и свежий, что при вдохе плечи расправлялись сами собой. Жили в небольшом, но трогательно уютном деревянном домике, с крохотной кухонькой, комнатой с двумя кроватями, одна из которых — двуспальная, верандой и крышей, усеянной хвоей.

Каждое утро Александр Игоревич, Олин папа, выносил столик с кухни на улицу и ставил между двух длинных лавочек: завтракали и обедали в светлом сосновом лесу, радуясь валящимся на голову невесомым шишкам, звучному трепету маленьких крыл

снующих между деревьев пташек и приходившим ласково потеться об ноги соседским кошуням. Кошек на турбазе было много, но всех их Оля знала по именам.

Справа от домика располагалась большая общая кухня с электрической плитой и двумя раковинами. На плите вечно что-то бурлило и булькало: чайники, кастрюли с ухой и щами. Оля помнила высокого чернобородого рабочего из интернациональной бригады, возводившей в глубине турбазы вторую кухню. Кавказец жарил на огромной сковороде омлет из двух десятков яиц. Девочка зачарованно наблюдала, как пышные края омлета приподнимаются из глубины великанской сковороды, пока мама, Елизавета Васильевна, не увела её за руку на пляж.

На пляж вела длинная широкая лестница. Уже к полудню сойти с неё на раскалённый песок босыми ногами было совершенно невозможно, только если, конечно, не бежать вприпрыжку прямо в прохладные волны реки. Иногда Оля так и поступала. Плавала она хорошо, и далёкие зелёные горы противоположного берега редко взмывали в небо, чтобы потом погрузиться вместе с ним под воду. Когда такое всё же случалось, вода попадала прямо в нос, а это непередаваемо гадкое ощущение, не так ли? Поэтому Оля старалась чувствовать каждое движение реки и держаться на воде уверенно и ровно, особенно если в нескольких десятках метров только что проехала моторная лодка или пронёсся лихач на гидроцикле, взметнув вверх фонтаны раскидистых брызг.

По вечерам рядом с лестницей загорался большой фонарь, и уже спустя считанные секунды вихри насекомых принимались кружить вокруг него. Среди них были даже светляки: так маленький свет тянулся к большому. Оля любила сидеть на широких ступеньках и просто смотреть: на фонарь, на Волгу, на далёкие горы. Подчас девочке казалось, что это место и есть та самая обетованная земля из снов. Но в глубине души она понимала, что красота волжской турбазы другая — земная. Да к тому же яблоневого сада на территории турбазы не было — только в лесу за оградой росло несколько небольших яблонь. И всё же, всё же... эта земная красота несла в себе искру той, запредельной, была пусть и отражённым, но светом, обещанием, заветом, посланием.

Обычно в июле на турбазе было не протолкнуться: все домики заняты, отовсюду сыплются детские голоса и смех, теннисный столик без передышки цокает мячиком, кружки и бокалы сидящих в тени искрятся янтарём, весело шипит оседающая пена, лица светятся улыбками, по вечерам — и часто до глубокой ночи — надывается хмельной хор, когда под гитару, а когда и а капелла, с неизменными «Ой, то не вечер, то не вечер» и «Степь да степь кругом».

Но в тот сезон отдыхающих заехало мало, и на турбазе было непривычно тихо. Тишина, нарушаемая только перестуками дятлов, ползала по тропинкам, забиралась в беззащитные домички, шелестела в верхушках сосен. Чужеродная, давящая, словно таящая в себе какой-то зловещий намёк. В той тишине не было никакого умиротворения, не было покоя. Та тишина тенью кралась по пятам, и иногда Оля резко оборачивалась, рискуя не устоять на ногах, словно хотела застать тишину врасплох. Но тишина в такие игры не играла: она вообще оказалась плохой подружкой.

Турбаза выглядела осиротевшей. Домики посередке пустовали, и лишь на другом конце территории, возле забора, за которым начинался лес, жили папины знакомые — несколько пар. Вот только все они приехали без детей, будто сговорились, и Оле совсем не с кем было играть. Девочка проводила большую часть времени с мамой. Отец вечно где-то пропадал — то рыбачил, то уходил играть с друзьями в карты, то отъезжал по неотложным делам в город. Уже тогда замельтешили вокруг Александра Игоревича эти мелкие пронырливые бесенята — неотложные дела. Целый легион неотложных дел — злых и беспокойных духов. Они с остервенением разрушали тихое семейное счастье во имя созидания Большого Бизнеса, отравляли всё вокруг, неотступно требуя к себе внимания, застилали разум белой вертлявой деловитости, вели Александра Князева за руку, словно слепца, вели его к ужасной пропасти. Но роковой шаг в пустоту Олин отец совершил позже, не в то жаркое лето, которое, несмотря на странно опустевшую турбазу, случилось безмятежным счастьем.

В один из вечеров, поужинав вместе с семьёй и затащив столик в дом на тот случай, если всё-таки разразится гроза (было очень душно), Александр Игоревич ушёл играть в покер на другой конец турбазы. Оля помогла маме убрать со стола и помыть посуду на общей кухне, а потом они сели в домике пить чай и слушать радио.

Жара к вечеру несколько не спала, а даже усилилась. Входная дверь была нараспашку, но ни малейшего дуновения не залетало в домик, потому что окна из-за неведомой поломки не открывались. Елизавета Васильевна поглядывала на них с тоской. От чая женщине стало ещё жарче, и пот, собираясь в маленькие ручейки, заливал её тело. Встав и выключив по дороге радио, Елизавета Васильевна подошла к двери и, отодвинув рукой москитную сетку, выглянула на улицу.

— Хоть бы уж дождь, что ли, пролился, — задумчиво глядя на сгущающиеся сумерки, негромко сказала она. — Невыносимая духота.

Оля подняла голову от листа бумаги, на котором уже успел появиться маленький аккуратный домик, а рядом с ним прямо на глазах

вырастала в небо стройная высокая сосна, и посмотрела на маму. Мама тоже была высокой и стройной. И очень красивой. Сейчас на ней было лёгкое летнее платье ярко-жёлтого цвета, полы которого немного не доходили до коленей стройных загорелых ног. Непослушные светло-русые волосы, свиваясь в спирали и кольца, обвивали её плечи, падали на спину, и когда Елизавета Васильевна поворачивала голову, они медленно, прядь за прядью, перекатывались, словно галечные камушки в игривых руках набежавшей волны.

— Мамочка, а почему ты выключила радио? — снова погрузившись в рисование, как бы между делом, спросила девочка.

— Да ну, надоело оно, — беззаботно и весело воскликнула Елизавета Васильевна и, сев рядом с дочерью, взглянула с интересом на рисунок. «Это наш домик?» — уже почти сорвался с губ женщины вопрос, но в этот момент и мама, и дочка одновременно услышали тишину, буквально спеленавшую мир. Ни звука не доносилось с улицы. Оля слышала только дыхание матери над своим ухом.

А потом тишина стала пульсировать, словно у неё появилось сердце. Что-то нарастало из тишины, должно было вот-вот родиться прямо здесь и сейчас. Непонятная тревога охватила Елизавету Васильевну. Оля внимательно прислушивалась, оторвавшись от своей картины, но ничего конкретного не различала в вибрирующем воздухе.

И тут возле дома, рядом с рукомойником, приделанным к дереву и видимым в дверной проём сквозь москитную сетку, раздалось тихое-претихое мяуканье, какое-то капризное и раздражающее, будто дёрнули струну «лунной» гитары Джека. Елизавета Васильевна вздрогнула и инстинктивно прижала к себе дочь.

Задул сильный ветер, притом, к настоящему ужасу замерших в объятиях друг друга мамы и дочери, задул из дома, вытолкнув наружу москитную сетку и приподняв её над верандой. Это было невероятно, но при закрытых наглухо окнах ветер действительно дул изнутри дома. Мяуканье стало громче и настойчивее. И ветер усилился — уже закружили под потолком салфетки и какие-то бумаги, наверно, папины — и вдруг резко оборвался, словно кто-то захлопнул невидимое окно.

В ту же секунду, как стих ветер, в дом забежал кот и громко мяукнул. Он был гладкошёрстым и абсолютно чёрным. Он танцевал, вертясь вокруг своей оси, не переставая требовательно вопить, и сверкал на Олю и Елизавету Васильевну удивительно яркими зелёными глазами, нереально зелёными, невыносимо зелёными, будто к нему в глазницы забрались жуки-бронзовки.

Этого кота Оля никогда раньше не видела, хотя знала наперечёт всех представителей кошачьего племени, обитавших на турбазе и

в её окрестностях, даже уличных оборванцев. Но чужак явно был не из уличных: слишком ухоженный и гладенький — ни лоскутов оборванных в жестоких драках ушей, ни шрамов, ни проплешин. Оля поймала себя на мысли, что при всей своей любви к кошкам этого отвратительно мяукающего танцора она не хотела бы гладить или тем паче брать на руки — ни за какие коврижки! — да и танец чужака был скорее похож на издевательское кривляние, словно он радовался, что смог напугать обитателей маленького домика.

Елизавета Васильевна, мягко отстранив дочь, медленно поднялась, выставила правую ногу вперёд, хлопнула по бедру рукой, а левой ногой притопнула. Кот в изумлении замер и вскинул на женщину ослепительно зелёные глаза. На несколько секунд снова воцарилась полнейшая тишина.

«Мексиканская ничья», — мимолётом пронеслось в голове у Елизаветы Васильевны, но тут она схватила первое, что попало под руку, — а это оказался красивый камешек с пляжа — и швырнула в кота, сопроводив своё отчаянное действие оглушительным, нечеловеческим «БРЫЫЫЫЫСЬ!!!»

Кот обиженно вскрикнул и пулей выскочил из домика.

Недолго думая, Елизавета Васильевна схватила Олю за руку и сверхъестественно бодрым голосом сказала:

— Может, пойдём поищем папу, как тебе?

— Конечно, пойдём, мамочка! — с радостью согласилась Оля. Сама мысль о папе успокаивала девочку. Папа сильный, папа ничего не боится.

Держась за руки, они шагнули в сумерки — в трещину между мирами, согласно искромётному определению дона Хуана, — и побрели по заросшей кустами тропке, мимо тёмных пустующих домиков. Елизавета Васильевна догадалась прихватить фонарик, и теперь его луч, прыгая туда-сюда, выхватывал из стремительно наползающей темноты то хитросплетения корней под ногами, то выглядывающие из кустов веранды. На одной из таких веранд они и увидели сидящую на стуле старуху, но лица рассмотреть не успели, потому как Елизавета Васильевна от неожиданности выронила фонарь из рук.

Оля наклонилась, подобрала фонарик и направила луч на то место, где сидела старуха, но там уже никого не было. Девочка удивлённо повернулась к стоящей рядом матери:

— Мамочка, а ты видела, там была старенькая бабушка?

Елизавета Васильевна помолчала, а потом произнесла задумчиво и отстранённо, каким-то чужим голосом:

— Не было там никого. Тебе просто показалось.

Холодный, загробный голос матери напугал девочку гораздо сильнее странного ветра, дующего из домика, чёрного танцующего

кота и призрачной старухи. К тому же теперь Елизавета Васильевна заметно ускорила шаг, и Оле приходилось бежать вприпрыжку, чтобы поспевать за ней. К счастью, через несколько секунд из темноты выплыли задорные электрические огоньки, означающие близость обитаемого жилища, и слышны стали громкие весёлые голоса, сопровождаемые смехом.

Встретили их радушно, тут же усадив рядом с Александром Игоревичем за общий стол, где шла дружеская игра в покер (на мелочь, лежащую небрежными кучками около каждого игрока), пенилось в стаканах пиво и не умолкали шутки. Наперебой Елизавета Васильевна и Оля, уже вооружившаяся открытым пакетиком чипсов, принялись рассказывать о странных событиях, произошедших после ухода главы семейства, умолчав только, даже не стовариваясь, про таинственную старуху. Александр Игоревич выслушал их с доброй, но несколько ироничной улыбкой.

— Вот уж не думал, что кот, пусть даже и чёрный, может нагнать на вас такого страху, — сказал он, дослушав историю до конца. — Бедняга котей! Он даже танец специально для вас подготовил, — Александр Игоревич рассмеялся, — а вы в него камушком. Какая неблагодарность!

Теперь, рядом со смеющимся папой, в шумной компании взрослых людей Оле и самой всё случившееся стало казаться курьёзным анекдотом: и шаловливый сквозняк, так напугавший маму, и отплясывающий котик, и бегство в потёмках по турбазе через кусты. Оля засмеялась. Елизавета Васильевна тоже смеялась, но смех её звучал чем громче, тем фальшивее.

В августе того же года произошла ещё одна странная история, куда более мрачная и непонятная. Некоторое время спустя оба эпизода переплелись в сознании Оли так, что августовский превратился в продолжение июльского, хотя прямой связи вроде как не было.

В конце августа, когда Елизавета Васильевна уехала на несколько дней в Питер — в рабочую командировку, а Александра Игоревича «вёл» его новый проект, не позволяя отвлекаться ни на еду, ни на сон, множа кровавые трещины в мутных, словно томатный сок, изнурённых глазах, Оля с бабушкой по материнской линии, Натальей Юльевной, или просто бабой Натой, отправилась в гости к бабушкиным сёстрам. О таком неожиданном приключении (а мама, будь она в городе, ни за что не разрешила бы Оле поехать к двоюродным бабушкам, ибо на дух их не переносила) девочка могла только мечтать! Да ещё и накануне неумолимо надвигающегося учебного года! Бабушка Диана, которую Оля видела несколько раз на семейных торжествах, и бабушка Маргарита, которую внучатая племянница не видела ни разу в жизни, да и вообще мало кто в

семье мог этим похвалиться, были окружены густым маревом из тайн и слухов. Про бабушку Маргариту, к примеру, говорили, что она ведьма и поэтому везде и всегда, даже в помещениях, даже в огнедышащую летнюю жару, ходит в огромной меховой шапке: под ней она прячет рога! Впрочем бабушку Диану тоже называли ведьмой, но Оля запомнила её доброй и улыбчивой женщиной. Не зная, верить ли семейным сплетням или нет, Оля твёрдо верила в одно: поездка обещала быть чертовски интересной. Да к тому же как раз именно в это время у бабушек гостила и Олина троюродная сестра — Нинка, внучка Дианы Юльевны. Нина была Олиной ровесницей, и девочки дружили, хотя общались чаще посредством мировой сети, нежели «в реале».

С начала мая и по середину октября бабушки Диана и Маргарита жили на даче под Сызранью, в старом большом двухэтажном доме с мансардой. Крохотный посёлок, на отшибе которого располагались земельные угодья бабушек, собственного имени не имел и обозначался по номеру шахты — Третья Шахта. Или Четвёртая: Оля точно не помнила. Добираться туда приходилось довольно долго: сначала на электричке — часа три до Сызрани, а потом и на автобусе — полчаса. Но дорога не казалась тяжёлой или скучной, потому что вид из окон очаровывал своей изысканной, гармоничной и проникновенной речной красотой. Можно было смотреть и смотреть, не отрываясь, как река бежит рядом с электропоездом, и чувствовать, что плывёшь, повинаясь течению, и медленно растворяешься сразу во всём: и в играющей солнечными бликами воде, и в безмятежной голубизне неба, и в проносящихся мимо маленьких уютных домиках с ухоженными огородами.

На сызранском вокзале баба Ната, мысленно попросив у Елизаветы Васильевны прощения, купила Оле столь же запретную, сколь и всё это необычное путешествие, шаурму, и внучка с бабушкой, довольные друг другом, сели на автобус. Получасовая тряска в душной печи на колёсах оказалась гораздо тяжелее трёхчасовой поездки в хорошо продуваемой электричке, и из жерла раскалённого салона на свежий воздух бабушка с внучкой выбирались на ватных ногах, чувствуя головокружение и слабость. Наталья Юльевна погладила внучку по голове и спросила:

— Ну, что, вымоталась, бедненькая? Совсем плохо?

Всё ещё чувствуя огромный ком дурноты в горле, Оля несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, прежде чем смогла выдавить из себя:

— Мне уже лучше, бабушка. Всё в порядке.

— Отдышись, лапушка. Мы куда не торопимся. Сейчас автобус отъедет, и пойдём потихоньку.

Автобус, словно только и ждал этих слов, скрипнул дверью и, обдав напоследок стоящих на остановке людей дымным выхлопом, покатился прочь. Дважды мелькнул на гребнях дорожной волны и скрылся за большим холмом.

— Ната! Оля! — неожиданно раздался с той стороны опустевшей дороги радостный женский возглас.

— Они приехали! — подтвердил счастливый детский вопль.

Оля вскинула голову и увидела спешащих к ним через дорогу Диану Юльевну и Нину. Диана Юльевна была в лёгком белом платье и соломенной бежевой шляпке, длиннополой, с чёрной лентой вокруг тульи, Нина — в шортах, маечке с обнимающимися мышами и белой панамке. На лицах встречающих сияли такие яркие улыбки, что даже солнце в смущении прикрылось тучкой.

После долгих обниманий и приветствий неспешно двинулись к дачным массивам через уложившийся в две-три улочки посёлок с малоэтажными кирпичными домами, переживавшими мучительную аварийную старость. Возле магазина, одного-единственного на весь посёлок, в тени раскидистого дерева сидели на корточках прокопчённые солнцем местные и лениво потягивали пиво, не обращая на женщин ни малейшего внимания. Говорили, кажется, о рыбалке. Чуть далее, метров через сто, облезлый помоечный кот приподнял морду из переполненного мусорного контейнера и оценивающе зыркнул на проходящую мимо маленькую компанию, но, тут же потеряв к ней всякий интерес, вернулся к прерванной трапезе. Вскоре посёлок закончился, за ним оказалось утопающее в травах поле, через которое скромная петляющая тропка ужином проползла к дачным участкам, в большинстве своём заброшенным, со сломанными, перекошенными и вовсе упавшими деревянными заборами и буйно разросшейся растительностью.

В одном месте тропа разделилась, и Нина, махнув рукой в левую сторону, воскликнула, обращаясь к Оле:

— А там Волга! Знаешь, какая красотища? Бабуль, можно мы быстренько сбегать туда?

Диана Юльевна ласково улыбнулась, но покачала головой:

— Успеете ещё. Вот ведь егоза! Пусть Наташа с Олей сначала отдохнут с дороги. Им надо переодеться. И поесть. Я, кстати, и пирогов напекла, — и она подмигнула шагающей рядом сестре.

— О! Ну тогда точно Волга подождёт! — рассмеялась Наталья Юльевна и, подмигнув, в свою очередь, Оле, сказала: — У бабушки Дианы пироги — ум отъешь! Никто так больше не умеет стряпать.

Между тем они подошли к одному из немногих сохранившихся в целостности заборов, да ещё и окружённому живой изгородью из свободно растущих кустарников и деревьев. За хитросплетен-

ниями боярышника, тёрна, груш и яблонь мало что можно было разглядеть, но Оля, поднявшись на цыпочки, успела подметить краешек мансарды, возвышающейся над забором, прежде чем подошла слишком близко.

— Вот мы и на месте, — весело сказала Диана Юльевна и, нащупав совершенно не видимую в изгороди калитку, распахнула её. — Добро пожаловать, гости дорогие!

— А не страшно оставлять калитку открытой? — вдруг спросила Оля.

Диана Юльевна с удивлением посмотрела на девочку, заметно смутилась и сконфуженно пробормотала:

— Ну, уж к нам-то точно никто из местных не полезет... А чужих здесь не бывает.

— Все боятся бабушку Маргариту! — важно пискнула Нина.

Диана Юльевна нахмурилась и бросила на внучку быстрый раздражённый взгляд:

— Тихо!

— Да я... — замялась, растерявшись, Нина. — Так... это ж свои, бабуль?

— Ага, — коротко обрубил Диана Юльевна, закрывая тем самым тему, а заодно и калитку за вошедшими.

Участок земли, принадлежащий сёстрам, впечатлял своими размерами, но только центральная часть его была отведена под заботливо обрабатываемый огород. Ближе к периферии начинались густые заросли, тянущиеся до живой изгороди. Вокруг нешироких дорожек из разноцветной плитки и цементного раствора, проложенных по всей территории дачи, росло очень много деревьев, чьи кроны в летнюю жару сплетали паутину тени. Тропы были усеяны палыми яблоками и грушами, кое-где цветы чуть склоняли к дорожке свои головы, и, чтобы пройти, надо было осторожно отодвинуть рукой их бутоны. Ближе к дому тенистая дорожка расширялась, превращаясь в аллею, ведущую напрямик к просторной веранде, где пустовало кресло-качалка с висящим на спинке пледом. Рядом стоял журнальный столик с заварочным чайником, чашками, лежала какая-то потрёпанная книжка.

— Дом старый, но крепкий, — произнесла Диана Юльевна, обращаясь к девочкам. — Его построил ваш прадедущка Юлий. Он был архитектором. На первом этаже кухня, гостиная, ещё одна комната, — продолжала рассказывать она уже одной Оле внутри дома, показывая направления руками, — на втором этаже, — Диана Юльевна подала знак следовать за ней по широкой лестнице вверх, — спальни, в одной из которых я с Ниной — мы как-то привыкли вместе, — а вы, — она обратилась к Наталье Юльевне

и Оле, — можете поселиться в разных комнатах. Ну... или тоже в одной.

— Я хочу свою комнату, — неожиданно даже для самой себя брякнула Оля, словно кто-то другой произнёс за неё эти слова, и покраснела, потому что прозвучало сказанное грубо и капризно. — Чтобы не мешать бабушке отдыхать, — поспешила пояснить Оля и покраснела ещё больше.

Диана Юльевна внимательно посмотрела на внучатую племянницу и пожала плечами, а бабушка Ната усмехнулась, но, вместо того чтобы как-то прокомментировать неловкую ситуацию, спросила, показав пальцем в потолок:

— Марго не спустится поздороваться?

Диана Юльевна опустила глаза и покачала головой:

— Думаю, что нет. Она теперь очень редко выходит... днём. Запирается на мансарде, и попробуй только её потревожь — себе дороже. Ты же её знаешь.

— Бабушка Маргарита живёт на чердаке? — простодушно спросила Оля. — Как кошка? Или привидение?

Нина прыснула от смеха, но тут же прикрыла рот рукой, а бабушка Ната, с притворной строгостью взглянув на внучку, хмыкнула:

— Мансарда, право же, звучит лучше.

— Марго всегда была нелюдистой, — вздохнула Диана Юльевна. — Она боится и стесняется людей, а люди боятся и ненавидят её, поэтому и сочиняют всякие небылицы и вздор. Но она просто старая больная женщина... — Диана Юльевна посмотрела нерешительно на девочек, на сестру, а потом усмехнулась и договорила нарочито сварливым голосом, каким обычно говорят в кино и мультфильмах колдуньи: — С прескверным характером.

Нина и Наталья Юльевна рассмеялись, а Оля улыбнулась и впросительном взглянула на потолок. Ей казалось, что сейчас самое время для какого-нибудь зловещего знака, который обозначил бы присутствие в доме могущественной и страшной силы: звона разбитой посуды, особенно громкого скрипа или жуткого стоны. Но чердак хранил гробовую тишину, и в последующие дни тишина эта накапливала всё более и более тревожные тона. Словно никто и не жил на чердаке вовсе. Ни одна живая душа. Оля, когда уже обосновалась в отведённой ей маленькой, но очень уютной комнате с окнами на волжские просторы, несколько раз чутко прислушивалась к чердачной тишине, особенно в сумерках, перед сном, даже вставала ногами на кровать, чтобы быть поближе к потолку — барьеру, отделяющему её от таинственной родственницы, но тишина умела хранить секреты. Чем-то эта напряжённая тишина напоминала ту,

что оковала летом турбазу, но задумываться об этом всерьёз у Оли не хватало ни времени, ни сил, потому что в свою комнату она возвращалась только под вечер, набегавшись за день вместе с Ниной по живописным холмам, накупавшись в Волге и устав настолько, что почти сразу засыпала, едва прижавшись щекой к подушке и накрывшись одеялом.

С Ниной не заскучаешь! Милая белокурая сестрёнка всегда знала, чем заняться дальше, во что поиграть и куда сходить, да к тому же превосходно ориентировалась в окрестностях. В первый же день, а вернее — уже вечер, после вкуснейших пирогов Дианы Юльевны и чая с душистыми травами, среди которых Оля уловила вкус мяты, но остальные оттенки так и остались неизвестными, девочки добежали до того самого поворота, который встретился им на пути к даче, и вышли на вершину холма.

— Как красиво! — прошептала Оля, обозревая широкую гладь Волги и теряющиеся в дымчатой дали раннего вечера заволжские просторы, опутанные серебряными паутинками многочисленных водоёмов, разделяющих большие и малые острова с разноцветными ягодками маленьких домишек.

Тропинка к Волге плыла по холмам и была едва заметна в траве. Спуск к берегу занял более получаса, но девочки забыли о времени. Нина с гордостью сообщила, что гостит у бабушки Дианы каждое лето — во время каникул, а потому здешние места знает превосходно, как свои пять пальчиков, ногти на которых окрашены в разные цвета. Правда, здорово? Это мама придумала, когда приезжала на прошлые выходные. Мама добрая, но много работает и иногда, по выражению бабушки, «закладывает за воротник». Бабушка злится и ругается, когда это происходит, но мама только отмахивается и говорит, что она просто очень-очень устала, а вовсе не пьяная. Папа бросил их, когда Нина была ещё маленькой. Наверно, поэтому мама «закладывает за воротник». Всё ещё любит его. А вот Нина совсем его не помнит. Но обязательно разыщет когда-нибудь...

На следующий день девочки спустились к Волге другой дорогой, гораздо правее, и вдоль берега прогулялись до старой-престарой полуразрушенной церкви, которую усилиями добровольцев из местных жителей уже много лет восстанавливали, но всё никак не могли восстановить. Снаружи здание, ошетилившееся лесами и окружённое беспорядочно сваленными кирпичами, досками и всевозможным хламом, выглядело угрюмо, но внутри чувствовался величественный покой, проступавший из полумрака ликами святых и ангелов на сохранившихся фрагментах росписи. Пол был устлан птичьим помётом: великое множество голубей обитало на-

верху, в прохладе древних сводов. Там они рождались, жили, заботясь о пропитании и продолжении рода, растили потомство и умирали. Воркование и трепет крыл не давали тишине загустеть, но в этом не было ничего противоестественного молитвенному покою. Это было настоящее торжество жизни во всей её непостижимой полноте.

От церкви девочки дошли до ветхого, забытого всеми погоста, а оттуда совершили паломничество на вершину самого высокого в округе холма, занявшее не один час. Дух захватывало от расплескавшейся внизу красоты. Ветер на вершине не смолкал ни на секунду, что-то неразборчиво шепча в уши и играя Олиными русыми и Ниниными белыми волосами. Под ногами чернели угли былого костра, а рядом лежали принесённые сюда снизу и заботливо сложенные кем-то поленья и ветки. Нелегко, наверно, развести костёр на таком ветру!

Домой вернулись уже на закате и, поужинав, разошлись по своим pokojам. Оля напряжённо изучала плавающий во мраке потолок, ловя каждый призыв, рождённый ночью внутри и снаружи дома, пока не провалилась в сон. Спала она крепко, без сновидений.

Утром, наспех позавтракав, подруги побежали купаться на Волгу, а оттуда полями и холмами пробрались к заброшенному карьёру по выработке горючих сланцев. Жёлто-коричневые насыпи уныло взирали на грязную дорожку, что пролегалa внизу и задышалась под весом неисчислимых пивных и водочных бутылок, а также другого мусора. По всему выходило, что жители посёлка давно использовали карьер в качестве свалки. Мусорная тропа привела девочек к скелетам каких-то огромных зданий, типичным жертвам мучительных судорог цивилизации, вымершим динозаврам советской эпохи.

Высоко в небе кружили два орлана, и присутствие их делало все эти мрачные свидетельства человеческой жизнедеятельности и вздорной суеты совсем нелепыми, фантастичными и жалкими.

Обедали вчетвером на веранде, отгоняя руками ос, или «осиков», как их называла Нина. Диана Юльевна, вспомнив детские годы, рассказала девочкам, как красила когда-то волосы луковой шелухой, и после обеда Нина и Оля тотчас опробовали бабушкин рецепт на деле. Сварив шелуху, они равномерно распределили её по волосам и обмотали головы пищевой плёнкой. Через двадцать минут Нина явила миру огненно-рыжие локоны и, поглядев в зеркало, аж подпрыгнула от радости. У Оли цвет получился не таким насыщенным, но она тоже была довольна. Даже несмотря на то, что грязь от шелухи угодила ей в глаза, и теперь они покраснели, сильно чесались и немного побаливали.

Вечером вместе с бабушками играли в карты, пили чай и ели оладушки с клубничным вареньем. Дремотная тишина и навевающая мысли о ранней осени прохлада осторожно заглядывали в дом, не слишком, впрочем, беспокоя его счастливых обитателей, и не было во всём мире места прекрасней.

А ночью Оля неожиданно очнулась в тёмной, незнакомой комнате, лицом к лицу с огромной высокой старухой со страшными глазами-омутами, будто вовсе без зрачков, да к тому же в невероятной меховой шапке, из-под которой змеились длинные седые пряди, и поймала себя на том, что старательно повторяет за незнакомым мужским голосом, звучащим в её голове, абсурдные слова:

— Луна-морок — судия, я иду скоро, Манул! Луна-морок — судия, я иду скоро, Манул! Луна-морок — суд...

Оборвав фразу на полуслове, Оля в ужасе сделала шаг назад и чуть не упала, с трудом вернув себе равновесие беспорядочными взмахами рук. Девочка не понимала, почему оказалась здесь, в этой жуткой каморе с низким потолком и затхлым, приторно-сладковатым запахом старости. Последнее, что она помнила точно, — это как ложилась спать в своей милой уютной комнатке. И, кажется, ей снился мужчина со смуглым лицом, густой чёрной бородой и сверкающими, яростными глазами.

А сейчас на неё смотрела белыми пустыми глазищами старая сумасшедшая ведьма и извергала из исполинской груди утробный глухой рык, похожий на тот, что издаёт кот, когда сильно злится. Старуха внезапно сделала неумовимый пасс левой рукой и поймала появившуюся откуда ни возьмись в воздухе деревянную клюку с вороньей головой на стигбе. Оля сдавленно вскрикнула, а ведьма обнажила в усмешке острые жёлтые зубы и заговорила быстро-быстро.

Девочка зачарованно слушала, понимая и не понимая одновременно. Все слова были знакомыми, простыми, но смысл ускользал от осознания, как если бы Оля пыталась схватить рукой и удержать в кулаке речную волну. Неизвестно, сколь долго это продолжалось, но в какой-то момент старуха замолчала, тяжело вздохнула и сказала уже более отчётливо, хотя и шепелявя:

— Отпрафляйся спать, дефочка. Лиф луна, упафлая с небеф, ф силах спасти тебя.

Оля повернулась и плавно двинулась к выходу. Ей казалось, что она засыпает на ходу. Хотя почему «казалось»? Так оно и было.

Утром Олю разбудила бабушка Ната, удивлённая и немного обеспокоенная тем, что внучка до сих пор в постели, хотя обычно встаёт раньше всех, прокрадывается в бабушкину комнату и невинными, как будто бы ненарочными шумами даёт понять, что бабуле тоже пора просыпаться.

— Ты как себя чувствуешь, ангелочек? — спросила Наталья Юльевна и скорее для порядка пощупала ладонью Олин лоб. — Хм. Температура вроде нормальная.

Оля сладко потянулась и выпрыгнула из-под одеяла.

— Лучше всех! — звонко крикнула она и снова выгнулась, вытянув руки над головой. Поезд с воспоминанием о полночном приключении ещё не докатился до конечной станции сознания, задержавшись в тёмном тоннеле.

— Вот и хорошо, вот и славно, — улыbnулась бабушка и несколько раз кивнула. — Все уже давно на веранде собрались. Завтрак готов. Только тебя и ждём. Беги умывайся, чисть зубки и за стол.

Но ничего из этого Оля сделать не успела, потому что в это самое мгновение в комнату ворвалась Елизавета Васильевна, растрёпанная, задыхающаяся, с красным злым лицом. Отпихнув в сторону Наталью Юльевну и даже не посмотрев в её сторону, она тихим от ярости голосом сказала дочери:

— Немедленно собирайся. Чтобы через пять минут была на улице с вещами. И только попробуй здесь что-нибудь забыть! Подожди... Что?.. Что такое?.. — Елизавета Васильевна наконец-то рассмотрела дочь и даже отшатнулась: — Что с твоими волосами?! Боже! А глаза!

— Лиза, послушай... — начала было увещающим тоном Наталья Юльевна, но Елизавета Васильевна бросила в неё тяжёлый выразительный взгляд и процедила сквозь плотно сжатые зубы:

— С тобой дома поговорим! — и добавила так, словно это было оскорбление: — Бабушка!

Всё пошло наперекосяк. Убежало, сверкая пятками и весело хохоча, счастье, помахал чёрным цилиндром покой и, взяв под руку поднявшуюся навстречу в лёгком платьице гармонию, с достоинством удалился прочь. Оля собирала вещи и силилась понять, чем она провинилась перед матерью и что сделала не так. Но ни в чём не могла себя обвинить. Вопиющая несправедливость терзала её детское сердце. От обиды сбивалось дыхание и пощипывало в носу, но плакать было нельзя... потому что... потому что... потому что она никак не могла отыскать носок! Один лежал под кроватью, там, где она его оставила вчера, а второго нигде не было. Оля обшарила всю комнату, заглянув даже в те места, где носка ну никак не могло оказаться, потом обыскала бабушкину комнату, спустилась на первый этаж и всё внимательно осмотрела, но дурацкого носка нигде не было. Девочка вернулась в свою комнату и села на кровать, обхватив голову руками. Сглотив комок паники, она несколько раз глубоко вздохнула и постаралась успокоиться. На улице ждёт мать и наверняка уже нетерпеливо посматривает на дом. Сейчас она войдёт внутрь и начнёт орать. Оля уже дав-

но надела другую пару носков, но врать матери, что она ничего здесь не забыла — а мать непременно спросит! — ни в коем случае нельзя. Мать сразу поймёт по её лицу, что она врёт. В этом Оля не сомневалась ни секунды. А когда мать поймёт... Нет, нет, нет, это ужасно! Не думать об этом! Просто не думать. Надо всё исправить сейчас, пока ещё возможно. Нет времени на панику и слёзы. Нельзя раскисать. Надо всего лишь вспомнить, как вчера перед сном сняла носки и положила их... Оля попробовала представить то место, куда положила носки, но тут из чердачной тьмы подсознания прямо на неё кинулось злобное косматое лицо сумасшедшей старухи, и девочка пронзительно вскрикнула. Призрак её ночного лунатического путешествия ожил и посмотрел на неё жуткими белыми глазами ведьмы. Это уже было чересчур!

Оля выпрыгнула из комнаты и, в два счёта одолев лестницу, выскочила из дома. Подбежав к матери, она прижалась к её животу и обхватила талию руками.

— Мапочка, я всё собрала, — задыхаясь, произнесла Оля и прибавила уже шепотом: — Но я потеряла один носочек.

— Иди ищи, — твёрдо сказала Елизавета Васильевна и гневно поджала губы, но Оля не сдвинулась с места.

— Я не знаю, где искать... я всё осмотрела, каждую комнату... его нигде нет, — жалобно пролепетала девочка.

Елизавета Васильевна с силой оторвала дочь от себя и, держа её за плечи, нагнулась к ней, так, чтобы их глаза — у одной испуганные и уже полные слёз, у другой — лихорадочно блестящие, с мечущимися в разные стороны зрачками — оказались на одном уровне.

— Обязательно... надо найти! Обязательно! — Елизавета Васильевна говорила с придыханием, коротко рубя слоги. На замерших в сторонке бабушек и Нину, инстинктивно сбившихся в одну кучку, она не обращала внимания. — Ты понимаешь? Ты меня понимаешь? В этом доме не должно остаться ничего твоего... или моего! Ни-че-го! Поэтому ты сейчас пойдёшь и отыщешь свой носок. Прямо сейчас!

На последних словах Елизавета Васильевна сорвалась на визг, вдавив пальцы глубоко в плечи дочери.

— Мапочка, мне больно! — закричала Оля и, растратив на этот крик последние крохи самообладания, зарыдала во весь голос.

Мать продолжала трясти её, вопя про потерянный носок, про слёзы и что-то ещё, и ещё, но Оля уже не слышала. Мир так сильно перемешался со слезами, что поплыл перед ней, и всё вымокло напрочь, а потом и растворилось в этом потоке: и огромный, как чёртово колесо, вопящий рот матери, и смущённые, полные сочувствия лица родных, и нависший над ними дом со старой ведьмой

на чердаке, и Волга со всеми её красотами, и разрушенная церковь, и мусорный карьер, и оладушки с клубничным вареньем, и всё-всё-всё остальное.

Оле плохо запомнился остаток того дня. Уже в Сызрани, на железнодорожном вокзале, когда слёзы давно иссякли и девочка наглухо замкнулась в себе, не отвечая на виноватые взгляды матери и игнорируя её глубокие вздохи, а про злополучный носок больше не было сказано ни слова, Елизавета Васильевна вдруг, как ни в чём не бывало, как если бы ничего и не случилось, спросила:

— Хочешь апельсинов?

И Оля, шмыгнув носом, тихо ответила:

— Да.

Но самая странная история, настоящая фантаσμαгория, ставшая зловещей предвестницей всех последующих трагедий, а возможно, и их непосредственной причиной, произошла несколько лет спустя, в июне.

Семейный совет, пожертвовав традицией отдыхать каждое лето на волжской турбазе, постановил: едем на море! Елизавета Васильевна даже хлопнула в ладоши от радости: жди нас, волшебная Испания! Или ты, цветущая Турция! Или... Ну... Или ты, дикая Абхазия! Но Александр Игоревич сделал вид, что не слышит. С честным лицом и открытой улыбкой, невинно, что называется, «на голубом глазу», он сообщил, что уже подобрал оптимальный вариант — посёлок в Краснодарском крае с наждачным, состоящим чуть ли не из одних согласных букв названием, но зато красивой бухтой, окружённой горами. Чтобы не раздражать жену, и без того серьёзно расстроенную неожиданным патриотизмом, Александр Игоревич промолчал, что туда же отправились отдыхать с семьями его партнёры по бизнесу (очень устала Елизавета Васильевна от бесконечной работы мужа и слышать не могла о его «делах»).

Расстроилась и Оля из-за того, что родители предпочли юг России милой, ненаглядной турбазе, но девочку утешало то, что она наконец-то увидит море, первый раз — воочию. И ещё ей мучительно хотелось уехать куда-нибудь подальше от дома — да куда угодно! — убежать от невыносимого, угнетающего напряжения, высасывающего все душевные силы, укрыться от него хотя бы на время. Предки всё больше ссорились, в основном из-за работы папы, и в семье рос разлад, причиняющий боль всем. Оля стала нервной и раздражительной, срывалась из-за каждой мелочи и никак не могла потом успокоиться. Ах, как хорошо, как своевременно подоспел отдых!

И вот теперь, глядя на море, стоя перед этой живой бездной и слыша её первобытное беспокойство, внимая не устающим бить-

ся о берег волнам, как сёстрам, девочка примирилась с тем хаосом, что бушевал в её душе. Ведь она не одна такая в этом чужом, враждебном мире: вот и море — такое. И у него резко меняется настроение, отчего оно то ревёт в небеса, орошая берег солёными слезами, то галечно шепчет что-то ласковое проступившим на лице небесной выси веснушкам звёзд. Оля с удивлением поймала себя на мысли, что сейчас смятение и необузданность моря ей ближе тихой гармонии реки. Значит, не случайно она оказалась этим летом здесь, у Чёрного моря, а не на берегу Волги?

К сожалению, и на черноморском курорте, далеко от дома и повседневных забот, родители не перестали ругаться и язвить друг друга мелкими придирками, упрёками, злобным сарказмом («О, это снова вы, Саркози», — усмехался Александр Игоревич в лицо жене в ответ на её ядовитые колкости). В сорокаградусную жару на Олю веяло холодом от двух самых близких в мире людей. Ничего-то в семье не клеилось — трещина продолжала расти и разветвляться.

Настоящий скандал разразился, когда Александр Игоревич заявил, что они все приглашены и непременно пойдут на праздничное мероприятие в честь дня рождения одного крупного бизнесмена, оч-чень серьёзного человека. О-о-оч-чень.

— Ни. За. Что, — выделив каждый слог, отчеканила Елизавета Васильевна. — От твоей работы, значит, нигде теперь спасения нет? Даже здесь, за тридевять земель, да ещё и во время нашего отдыха?! Я так больше не могу. Нет, правда, больше не могу. Ты, конечно, иди куда хочешь, вали! Но на меня не рассчитывай.

— Это что ещё за «вали»?! Да ты как со мной разговариваешь?! Ещё и в присутствии дочери! — ревел, словно девятый вал, багровый от ярости Александр Игоревич. — Я пока ещё твой муж...

— Пока ещё! — не преминула едко вставить Елизавета Васильевна.

— ...и будь добра уважать меня! — «муж» сделал гневную паузу, но Елизавета Васильевна лишь показательно отвернулась с невозмутимым выражением на лице, всегда особенно больно задевавшим супруга. — А-а-а, ну, понятно!! — со злостью завопил Александр Игоревич, но вдруг, опомнившись, сотворил в воздухе рукой примиряющий жест и сказал тихо: — Так. Стоп. Давай поговорим спокойно, хорошо? — он вздохнул. — Послушай, Лиза, и послушай внимательно: меня пригласили не одного, а вместе с семьёй. Туда все пойдут с семьями, понимаешь? С жёнами, с детьми. Но главное — с жёнами! И тут я такой с дочкой... рассекаю пространство... как глупый пингвин... — Александр Игоревич с надеждой глянул на жену, но улыбка не коснулась её каменного лица. — Так и

слышу эти бесконечные расспросы: а что с женой — заболела? Или вы поссорились? А может быть, она брезгует нашим обществом? А может, она просто не уважает именинника и поэтому не почтила его день рождения своим высоким вниманием?!

— Да у тебя паранойя, — с деланным ужасом покачав головой, прошептала Елизавета Васильевна.

— В жопу паранойю! — заорал Александр Игоревич, напрочь забыв о «присутствии дочери». О, он превосходно изучил за годы совместной жизни этот гадкий приём жены (с маской врача на лице, эдаким издевательски заботливым голоском: «Ты хорошо себя чувствуешь? Ты в порядке?»). Гадкий приём, мерзкий, просто отвратительный! Но эффективный. — В жопу паранойю! — ещё свирепее выкрикнул он, уже задыхаясь от злобы.

— В жопу — твоего жоппного олигарха! И твою жоппную работу — в жопу! — с ледяным спокойствием парировала Елизавета Васильевна, поставив в прениях сторон точку со всей силой восклицательного знака.

Супруги немедленно разбрелись по углам, словно истекающие кровью из рассечённых лиц боксёры со звуком гонга, и остаток вечера, равно как и всё следующее утро, старательно игнорировали друг друга. А днём Александр Игоревич, пребывавший в угрожающе бодром и развеселом настроении, и Оля, потрясённая и подавленная увиденным и услышанным накануне, отправились на день рождения «жоппного олигарха». Вдвоём. Елизавета Васильевна смешала мартини с водкой и, включив в наушниках Caetano Veloso, укрылась на балконе — созерцать море.

Даже первого взгляда хватило Оле, чтобы оценить масштаб праздничного мероприятия, на которое она попала с отцом. Для чествования именинника был целиком выделен пляж одного из самых дорогих пансионатов курорта. На время празднества с территории пляжа вежливо «попросили» не приглашённых на день рождения, после чего облагороженные художественной ковкой сварные заборы по периметру украсили гирляндами, цветами, воздушными шарами и отчаянно потеющими в строгих деловых костюмах охранниками. Всюду сновали жеманные официанты с шампанским на подносах и тусклыми, словно отражёнными в подносной глади, улыбками. Гостей было так много, что Оля чувствовала себя пассажиром переполненного утреннего трамвая, вот только вокруг — вместо истерзанных и опустошённых безнадёгой лиц — щекастые, лоснящиеся от самодовольства квадраты, нарезанные из плотного картона, с небольшими отверстиями для хищных, пронизательных глазок. Квадраты чувствовали себя вполне уверенно, передвигались неторопливо, вразвалочку, как и пола-

гается квадратам, но при этом одна эмоция, которой буквально разило от них, как от классического колдыря — ярим перегаром, никак не поддавалась точному определению. Это было некое внутреннее напряжение. А может быть, страх. Что-то, заставляющее всех этих людей вести себя с деревянной непринуждённостью, неестественно смеяться, одновременно затравленно озираясь по сторонам, и говорить о делах так, как рыбаки говорят о рыбалке, а болельщики — о недавнем футбольном матче.

В дальнем углу просторной террасы, на которую спустились Оля и Александр Игоревич, была смонтирована сцена, и оттуда доносилась плохо сочетающаяся с собравшимся обществом песня Stooges «Your Pretty Face Is Going To Hell». Хорошо, что от напряжённых квадратов трёх музыкантов заслоняло живое ограждение из детей и подростков. Оля заинтересованно поглядывала в ту сторону, но не решалась бросить отца одного, ибо показался ей Александр Игоревич на удивление жалким и потерянным, словно наказывал в шикарном ресторане намного больше, чем в состоянии был оплатить. Вытягивая голову, он всё кого-то выискивал в праздничной толпе, но безуспешно, крутил и мял в руке сотовый телефон, но никому не звонил, закусывал губу и с досадой цокал, кривился и обиженно сопел, не замечая, что дочь пристально за ним наблюдает. Неизвестно, сколь долго продолжалась бы эта неуклюжая пантомима, если бы на плечо Александра Игоревича не легла тяжёлая рука, а зычный неприятный голос не окликнул сзади:

— Здорово, земляк.

Оля обернулась чуть раньше вздрогнувшего от неожиданности отца и нечто огромное и хищное, похожее на тигра, вставшего на задние лапы, и даже пахнущее по-звериному, заслонило собой обзор. Девочка инстинктивно прижалась к отцу, а тот, храбро сунув свою маленькую ручонку в протянутую тигриную лапищу, обросшую густой шерстью, произнёс спокойно:

— И тебе не хворать, Дмитрий Александрович.

Ермолин-старший скользнул по Оле ленивым, небрежным взглядом, и в глубине его жёлтых тигриных глаз что-то промелькнуло. Что-то нехорошее. Оля поёжилась и прижалась к отцу ещё сильнее.

— Любовница? — спросил Ермолин, сально усмехнувшись, и движением головы указал на Олю.

— Дочь, — сухо ответил Александр Игоревич.

— Ух ты. Такая взрослая, — оскалившись ещё шире, так, что наружу вывалился ряд крепких кривых зубов, подразнил Ермолин.

— Только тринадцать, — невозмутимо выговорил Александр Игоревич и, наклонившись к дочери, быстро шепнул ей: — Иди

посмотри концерт. Мне надо немного о делах поговорить. Я потом тебя найду.

Оля с облегчением отлипла от отца и, не оборачиваясь, почти бегом, устремилась прочь от муторного звериного запаха, исходившего волнами от незнакомца, прочь от его шишковатой бритой головы, похожей на огромный уродливый орех, и особенно от его блестящих жёлтых глаз, исследовавших её грудь с пытливостью хищника, притаившегося в кустах и следящего за будущей жертвой. Последней фразой тигра в человеческой шкуре, которую девочка успела случайно прихватить с собой, стала:

— А ты чего без жены? Приболела? Или посрались?

Что ответил отец на эти вопросы, Оля уже не расслышала, потому что играющая на сцене группа перешла от вступления к куплету в песне «Rev It Up And Go», и тощий черноволосый басист завыл:

Well, I got a big old bomb and it won't be around for long,

Well, I got a big old bomb and it won't be around for long,

Well, it's a big old bomb, but it gets me where I'm goin'...

Очутившись в рядах беззаботно танцующих детишек и застенчиво застывших, подобно инклюзам, подростков, Оля разглядела выступающих музыкантов поближе. Те были не намного старше своей аудитории, да и играли, откровенно говоря, так себе: долговязый барабанщик то и дело ронял из рук палочки, гитарист-очкарик путался в нотах, а басист уверенно не попадал в такт и самозабвенно вопил ломающимся подростковым козлетоном в фонащий микрофон. И всё же они, эти смешные неумехи и раздолбай, почему-то пришлись Оле по душе: то ли (как и море) оказались созвучны хаосу, ревущему внутри, то ли выбранный ими репертуар был настолько хорош, что качество исполнения отошло на второй план, то ли было в них самих, неумехах и раздолбаях, что-то родственное той музыке, которую они пытались играть.

Ближе к кульминации песни, даже не дождавшись её окончания, на сцену выбежал толстый, низенький армянин с огромной, как небо, потной лысиной, окружённой небольшими чёрными тучками оставшихся волос, и принялся отчаянно жестикулировать, показывая, что время музыкантов вышло и им пора сворачиваться. Неожидаемое появление толстяка привело к тому, что поющий басист, оборвав игру и пение, в недоумении развёл руками, ударник громко вскрикнул и поднялся из-за барабанной установки, запоздало потянувшись рукой вслед за улетающей палочкой, а Оля почувствовала, как что-то несильно клюнуло её в висок. И лишь зажмурившийся от удовольствия и вертящий головой, словно флагом, гитарист, не замечая пропажи ритм-секции и вокала,

всё продолжал выпиливать электрические кружева. Музыка в его голове и руках никак не хотела заканчиваться и длилась до тех пор, пока раздражённый армянин не подскочил и не обхватил гитару за гриф двумя руками. Инструмент, пронзительно скрежещев напоследок, примолк. За толстыми стёклами очков гитариста распахнулись удивлённые глаза и несколько раз судорожно моргнули, прежде чем в них появилось осмысленное выражение. Вот теперь музыка действительно закончилась.

Зрители расходились кто куда, и Оля, подняв угодившую ей в голову барабанную палочку, тоже отошла немного в сторону, рассеянно потирая висок. Спустя несколько мгновений к ней, спрыгнув со сцены, приблизился смущённо улыбающийся верзила-барабанщик.

Опередив грядущие извинения, Оля возмущённо выговорила, не особо размениваясь на паузы:

— Слушай, хорошо, хоть не в глаз! И на том спасибо! Вы всех своих поклонниц пытаетесь убить прямо на концерте? — и обиженно нахмурилась. Барабанную палочку она с силой сжимала в руке, словно собиралась отдубасить ей незадачливого драммера.

— Только самых верных! — по-дураковски радостно воскликнул верзила и кашлянул в улыбку. — Но, если по-чесноку, не знал, что у нас есть поклонницы.

Оля покраснела. Последовавшее секундное молчание дало возможность обоим перевести дух.

— Держи... — протянула Оля верзиле барабанную палочку и, хмыкнув, добавила: — Крепче.

Верзила покачал головой:

— Оставь себе. На память. Тебя как зовут?

Оля внимательно посмотрела на молодого человека, беззастенчиво нависшего над ней, как любитель тихой охоты нависает над затейливым грибом, но, не найдя в его тёплых, добродушных глазах ни малейшего оттенка той сальности, с которой некоторые представители мужского племени уже поглядывали на неё, ответила:

— Оля.

— А я Том, — представился верзила. — Рад знакомству!

— Что, правда — Том? Не Ванёк или Петька? И даже не Юрец или Колян, но Том? — недоверчиво усмехнулась Ольга.

— Ага, — весело кивнул Том.

— А где же тогда Джерри? — сделала девушка быстрый выпад.

— А вон, — легко парировал Том и показал рукой в сторону сцены, — с басухой.

Оля рассмеялась:

— Да ладно! Ты надо мной прикалываешься?

— Нисколько. А на гитаре — Кострома. Чтоб русский дух не выветрился. А то у нас все песни на английском. Да и своих пока нет — только каверы.

— Как вы вообще сюда затесались с таким репертуаром? Этим бегемотам больше подошёл бы, ну... даже не знаю... Стас Михайлов какой-нибудь.

— Так он сейчас и будет выступать.

Увидев скептически изогнувшуюся бровь девушки, Том пожал плечами:

— Опять не веришь? Я на полном серьёзе. Поэтому нас и погнали со сцены. И да: мы здесь, конечно, случайно. Блажь бегемотов. Вчера один из них, самый важный, самый бегемотистый, в честь которого и затеяно всё это, — Том обвёл пространство с жующими и пьющими людьми рукой, — совершая променад в сопровождении своей свиты, остановился послушать, как мы играем, и закричал что-то типа, — юноша напрягся и, страдальчески сморщившись, пропищал противно и тонко: — «А, чтоб меня! Какие смешные огрызки! А давай-ка их завтра к нам — детишкам на радость!» — лицо Тома разгладилось, и он продолжил своим нормальным голосом: — Не успел бегемот договорить, как к нам уже подскочил один из придворных и попросил, а скорее потребовал, выступить на этом вот мероприятии за солидное вознаграждение. Настолько солидное, что мы сразу согласились. Мы ведь даже не местные. Играем по вечерам на набе со шляпой для мелочи, а живём у батяка Джерри вторую неделю. Скоро, правда, восвоися отправимся. Приехала Джеррина злая бабуля — матушка его бати — и всех нас попросила с квартиры сына. Подобрю-поздорову.

— А восвоися — это куда? — спросила Оля и, когда Том произнёс название города, изумлённо вскрикнула: — Вот это да! Я же тоже оттуда...

Том без удивления пожал плечами:

— Да здесь почти все оттуда. Именинник — точно. И большая часть гостей, по-моему. Этаким узелок судеб.

— Что? — с недоумением переспросила Оля.

— Узелок судеб. Ну... Это метафора такая, — Том почесал затылок классическим жестом всех стихийных мыслителей, — или даже больше, чем метафора...

— Морок... — вдруг отстранённо произнесла Оля. После слова «метафора» девушка отключилась от объяснений Тома и, уже почти не слушая его, уставилась невидящим взглядом в небо. — Луна-морок, — задумчиво пробормотала она, — как странно...

И тут по рядам гостей прошла волна внезапного оцепенения, будто их окатили из исполинского ведра ледяной водой. Головы

стали медленно поворачиваться в ту сторону, где стояли Оля и Том, но встревоженные и озадаченные глаза смотрели куда-то за молодых людей.

— Там что-то ужасное, да? — усмехнувшись, спросил Том, не спеша оборачиваться. — Огромный таракан с лицом Стаса Михайлова?

Оля стояла к нахлынувшей на всех волне оторопи вполоборота, но тоже не могла понять, что происходит, ибо забор из массивных бегемотовых спин закрывал обзор. Поэтому она спокойно сказала:

— Нет. Не бойся. Просто огромный таракан. Шучу. Я не вижу, что... а-а-а! — скорее от неожиданности, чем от страха сбилась на крик девушка, ибо толпа в этот миг расступилась и прямо перед Олей и Томом, наконец-то обернувшись, предстали четыре обнажённых по пояс атлета с серебряными повязками на головах, в одном из коих Оля узнала эстрадного качка, узурпировавшего имя главного героя многих романов Берроуза. Эдгара Берроуза, разумеется.

Культуристы держали массивный чёрный трон, на котором совсем не по-царски, а вальяжно развалившись и закинув ногу на ногу, с лихо дымящей сигарой в маленькой пухлой ручке, скорее возлежал, нежели восседал, жантильный толстяк. Оля сразу же догадалась, что это виновник торжества собственной персоной. Всё в его появлении: и неожиданная глумливая эксцентричность, и расслабленная поза, и презрительный взгляд желчных, излучающих холодный цинизм глаз, которым он окинул замершую перед троном чернь, — подчёркивало превосходство императора над подданными. Именинник был в элегантной чёрной рубашке и чёрных брюках, из-за чего его туловище, сливаясь в цвете с величественным портшезом, словно растворялось. Казалось, что круглая лысеющая голова парит в воздухе. Приглядевшись внимательней, Оля заметила, как заправленная в брюки рубашка под напором живота слоями переваливается через ремень, напоминая убегающее из кадушки тесто. Девочка невольно улыбнулась, и взгляд толстяка, лениво путешествующий по напряжённым, нервным лицам, тут же вонзился в неё.

Громким щелчком пальцев именинник остановил движение трона и оглядел Олю с ног до головы.

— Ух, красоточка! Прелестница! — вскричал по-бабьи пронзительно толстяк и наклонился: — Как зовут?

— Ольга, — представилась девочка и, смутившись, поспешно добавила: — Князева. Я здесь с папой.

— Такая взрослая — и с папой? — усмехнулся толстяк и покачал головой, будто бы с осуждением. — В жёны ко мне пойдёшь, Лёлька?

Понимая, что именинник шутит, и одновременно чувствуя, что с такими, как он, шутки плохи, Оля отступила на шаг и испуганно сказала:

— Мне только тринадцать.

— И что? — удивлённо возмутился толстяк, продолжая паясничать. — Я бывал в странах, где девочки становятся жёнами гораздо раньше, в совсем юном возрасте!

— Хорошо, что мы в России, а не в тех страшных местах, — тихо ответила Ольга.

— Уа-а-а-ха-ха-ха-ха! — сморщился от смеха толстяк и, выронив сигару, прикрыл ладонью глаза. — «Хорошо, что мы в России», — повторил он, хохоча, Олину фразу и, не убирая ладони, сквозь пухлые пальчики театрально огляделся по сторонам: — А? А? Слыхали когда-нибудь такое? «Хорошо в России». И-и-и-хи-хи-хи-хи! Скажешь тоже. Насмешница какая! — толстяк щёлкнул пальцами, и трон медленно двинулся дальше. — Я тебя запомнил, — толстяк погрозил пальчиком, — Лёлька Князева! С папкой твоим поговорю. Буду руки твоей и сердца твоего просить. И кое-чего ещё! — после последних слов он снова громко расхохотался, и окружающая трон свита с подобострастной готовностью подхватила его смех, но негромко, а со всем почтением и осторожностью, издав совместный глухой звук, похожий на квохтанье кур.

Словно подхваченные течением, гости потянулись за уплывающим тронем — один за другим, с фужерами и тарелками, притихшие и торжественные, как на похоронах, а Том, глядя на удаляющуюся вычурную процессию, сказал:

— Великий бал у Сатаны... — и усмехнулся: — Правда, в отличие от булгаковского, сегодняшний «бал» не увенчан величием. Нисколько. Да и пузан этот, разлётшийся на троне, совсем не похож на Воланда. Жалкая пародия! — Том посмотрел на Олю: — Читала «Мастера и Маргариту»?

— Нет пока ещё, — смущённо пожала плечами девочка. — Смотрела несколько серий по телеку вместе с мамой. Но... ты его недооцениваешь, — Оля указала рукой вслед трясущемуся над людскими головами трону. — Такие, как он, гораздо страшнее Сатаны.

— Почему? — удивлённо спросил Том.

— Даже не знаю... Может, как раз потому, что в них нет никакого величия, а есть только... ненасытность и желание прибрать к рукам весь мир, владеть людьми, как вещами, пользоваться всем вокруг, ничего не отдавая взамен, — девочка раскраснелась, и голос её зазвенел от негодования. — Из-за них никогда не прекращаются войны, революции, голод, болезни, народы прозябают в нищете, гибнет природа. Они никого не любят, а если и испытывают привязанность, то это привязанность червя-паразита к организму, в котором он поселился, и который он поедает. У меня мороз по коже от таких как он! — последние слова она почти крикнула,

словно хотела, чтобы их услышал именинник, но трон с толстяком уже был далече, а за ним давно сомкнулся плотный занавес из бегмотовых спин.

Том улыбнулся и покачал головой:

— Ух ты ж. Тебе правда тринадцать?

— Мне тринадцать, — коротко кивнула Оля. — Но всё, что я наговорила... пусть это и покажется странным... Это же написано на его лице! Разве нет?

Прежде чем юноша успел произнести в ответ хоть слово, из-за его спины донёсся надрывный раздражённый вопль:

— Том! Долго ещё будешь лясы точить?!

Кричал черноволосый басист, замерший на краю сцены и уже несколько минут стрелявший оттуда в молодых людей гневными взглядами из-под нахмуренных бровей. Том, не оборачиваясь на крик, виновато посмотрел на девушку тёплыми тёмно-карими глазами и вздохнул:

— Мне пора! Безумно рад знакомству! — он протянул Оле руку. — Мы завтра играем на набережной, возле морвокзала, часов с семи вечера и до десяти. Приходи!

Оля осторожно пожала огромную руку барабанщика за краешек и улыbnулась:

— Если получится.

Если... Если бы она только знала тогда, какая бездна подчас может разверзнуться в этом коротком слове — «если»... Будто чудовищное змеище, бедовое «если» жадно проглатывает человеческие судьбы, целиком, не разжёвывая, переваривая их вместе со всеми самыми смелыми планами и робкими надеждами. Даже косточек от выдуманного наперёд будущего не остаётся...

Оля задумчиво огляделась по сторонам, но рядом отца нигде не было, и девочка отправилась на его поиски. Побродив по заметно опустевшей террасе, она подобралась к тому месту, куда, по всей видимости, отнесли трон с именинником, но концентрация гостей возле престола была столь велика, что дальнейшее продвижение не представлялось возможным. Робко потыкавшись в спины, Оля с досадой цокнула, отошла в сторонку и устроилась неподалёку на подвернувшемся стуле.

Вот там через пару десятков минут, когда гости потихоньку начали разбредаться из эпицентра праздника в произвольных направлениях, её и нашёл Александр Игоревич. И очень даже своевременно нашёл, так как со сцены уже доносились первые хрипы известного эстрадного певца, сопровождаемые несъедобным и плохо нарезанным винегретом из еврейских, цыганских и балканских мотивов, — слушать это было мучительно больно.

— Ну, слава Богу... — поднявшись со стула, усмехнулась девочка, но, увидев необычайно бледное и расстроенное лицо отца, осеклась. — Папа, что случилось?!

Александр Игоревич рассеянно глянул на дочь, потом нахмурился отчего-то и махнул рукой:

— Всё в порядке. Ерунда, — он взял небольшую паузу, чтобы тяжело вздохнуть, и, потерев висок, проговорил с неохотой: — Вот только отпуск придётся дома догулять: завтра с утра уезжаем.

— Мама будет в ярости, — покачала головой Оля.

— Да уж. Это точно, — согласился Александр Игоревич и осулся ещё больше.

Не в силах смотреть на измученного, постаревшего вдруг отца («Краше в гроб кладут», — услужливо подсказал гнусный внутренний голос), Оля порывисто обняла его.

— Ну-ну, ты, главное, не расстраивайся, — тихо сказал Александр Игоревич и погладил дочь по голове. — Приедем домой, развяжусь быстренько с делами, и махнём на турбазу! Да?

— Угу, — просопела Оля в папино плечо.

— Всё будет хорошо! — щедро пообещал Александр Игоревич и невольно соврал, потому что убили его всего несколько дней спустя. Прямо на глазах жены и дочери убили. Что ж тут хорошего...

Мул и Манул: Part 6

А ничего! Ну, вот совершенно ничего хорошего нет в том, что тебя убили. Да и в том, что пытались убить, тоже. Разве что бесценный опыт вкупе с приобретённой дотошной осторожностью и подозрительностью ко всем вокруг, особенно к тем, кому позволил ближе других подобраться к себе. Таких людей лучше выбирать с исключительным тщанием и взыскательностью.

Первое покушение на свою драгоценную и вполне удавшуюся жизнь Манул переживал тяжело. И ладно бы проклятая ведьма, всё ещё плетущаяся за ним по пятам, каким-то невероятным образом дотянулась до него своими исхудалыми ручонками! Страшная, конечно, была бы смерть, но предсказуемая и понятная. Но ведь нет, нет! Безднадёжно Кальдера отстала, несколько дней пути уже пролегло между ними, да и чуял Манул всем своим расчётливым существом: из последних сил ползёт за ним ученица Судии, вот-вот сдохнет от истощения и натуги. Всего-то и осталось — сохранить выстраданное безостановочной гонкой расстояние и дожидаться, пока крохотный огонёк её жизни потухнет сам.

Но не Кальдера подослала к Манулу убийц. О нет! Добрые и верные друзья — компаньоны по одному крупному делу — отправили к Манулу головорезов и подкупили начальника его охраны —

улыбчивого сквернословца и бабника, в прошлом — бравого вояку, а ныне — бравого наёмника Войцеха.

Тем знойным утром, изнывая от нестерпимой духоты и боли в руке, Манул не просто с радостью, а скорее с бурливым детским восторгом бросился к прохладным речным волнам, фыркая и брызжа водой во все стороны. Войцех стоял в одиночестве на берегу — бойцов охраны он ненадолго отпустил в город — и наблюдал за ухающим от удовольствия толстяком с едва уловимой ухмылкой. Манул плескался возле бережка, хмелея от свежести и не замечая, что к нему, беспрепятственно миновав даже не дрогнувшего начальника охраны, направляются двое.

Дальнейшие события, фрагменты которых промелькнули перед выпученными глазами Манула с неистовой скоростью, да к тому же чередуясь с мутными красками подводного мира, куда толстяка с безжалостным нажимом отправляли крепкие, исколотые синими татуировками руки, плохо сохранились в его памяти. После одного из первых погружений, когда Манулу ещё удалось отчаянным рывком вынырнуть и чуть ли даже не вырваться, он успел заметить, как Войцех злобно хохотнул, сверкнув золотыми зубами, по-девчачьи кокетливо сделал ручкой и был таков. А уже через секунду, снова прижатый ко дну, Манул настолько ослабел, что мысленно распрощался с жизнью, беспомощно обмяк в стальных пальцах и втянул в себя вместе с болью, раздирающей нос и горло, воду. И стать бы ему гостем дорогим на пиру у речных рыб, если бы в следующее мгновение давление сверху внезапно не оборвалось, а неведомая сила не выдернула толстяка рывком из-под воды.

Оказавшись почти на берегу, Манул на четвереньках, падая и тут же поднимаясь в собачье положение и даже поскуливая по-щенячьи, а заодно и исторгая горлом реку, бросился из воды прочь. За его спиной раздавались звуки ожесточённой схватки, и когда, уже будучи на спасительном берегу, он посмел оглянуться, то увидел двоих, бьющихся на кулаках. Оба мужчины хорошо уворачивались и блокировали удары, и выпады их были настолько быстрыми, что Манула снова стошнило. Одного из дерущихся толстяк опознал по синим узорам на оголённом накаченном торсе и руках: это был подосланный убить его головорез. Другой мужчина — на голову выше своего синекожего соперника — был Манулу не знаком. В нескольких метрах от места сражения плыло головой вниз тело второго синекожего душегуба, напавшего на Манула. Понимая, что от исхода продолжающегося в реке боя теперь зависит его жизнь, толстяк попытался подняться на ноги, но, потратив на это последние оставшиеся силы, потерял сознание.

Когда он, придя в себя, смог наконец-то приоткрыть глаза, взгляд его упёрся в широкую спину сидящего рядом и тяжело дышащего мужчины.

— Ты кто? — перетерпев саднящую боль в горле, прохрипел толстяк.

Мужчина несколько раз глубоко вдохнул, выровнял дыхание и повернулся, поразив Манула неожиданно широкой и даже торжественной улыбкой, сияющей рядами идеально ровных и белых зубов:

— Берг. Так меня зовут.

«Cannabis Seeds»

Легко и плавно, не спеша, словно вальсируя вместе с ранней, ещё совсем безмятежной осенью, они шли по городу: он — в тёмно-синем костюме и жёлтой рубашке, с открытой бутылкой пива в руке и зачехлённой электрогитарой за спиной, она — в распахнутом твидовом пальто, белой блузке, голубых джинсах и с ненужным зонтом. С небесного склона вместо дождя лились-переливались ласковые солнечные лучи, и сентябрь растекался по улицам, проспектам, переулкам и сердцам горожан потоками умиротворяющего тепла, уже без жара и духоты выкипевшего лета, но с нежной благодатью лета бабьего. На зонте же настояла, угрожая и вовсе никуда не отпустить иначе, Олина мама.

За два года, прошедших со дня смерти супруга, Елизавета Васильевна превратилась из жизнерадостной красавицы в угрюмую затворницу, добровольно заточившую себя в четырёх стенах, и хуже того — в домашнего тирана. Редко теперь она выходила на улицу — только в самых крайних случаях. И дочь отпускала лишь в школу да гулять ненадолго, если за Олей заходил её друг — очаровательный белокурый мальчик, всегда одетый в костюм, всегда безукоризненно вежливый, с прекрасными манерами, да к тому же круглый отличник, победитель многих олимпиад и лучший ученик класса — двумя словами, надёжный парень! — Жень Зворыкин.

— Костюмчик не жмёт? — в который раз за последние месяцы, уже скорее с ритуальной, нежели вопросительной интонацией, но от этого не менее ехидно поинтересовалась Оля у своего спутника.

— Не-а. То, что доктор прописал! — непринуждённо сказал Джек и громко отхлебнул из бутылки.

— Думаешь, бутылка «Жигулёвского» хорошо с ним сочетается? — не сдавалась девушка.

— Думаю, охрененно! — если честно, Джек употребил другое слово, более острое и мощное, но, как известно с древних времён, что позволено Юпитеру, то не позволено быку, и поэтому, завидуя

Джеку, это слово всё же здесь опустим (опустим — не по зонавским канонам, естественно, а по нормам русского литературного языка).

Знакомство Джека с Елизаветой Васильевной, состоявшееся, когда Оля и Женя учились в десятом классе, было грандиозной афёрой, которую молодые люди долго и тщательно готовили. Новый образ Джека был продуман до мелочей: во что он должен быть одет, как ему отвечать на каверзные вопросы Олиной мамы, как вести себя с Олей в присутствии Елизаветы Васильевны и Натальи Юльевны, к которой мама с дочкой переехали жить после гибели Александра Игоревича. Сначала Джек был не в восторге от сочинённого ему Олей имиджа, но постепенно вошёл во вкус и позднее даже на концертах «Cannabis Seeds» стал выступать в костюме, ибо, как оказалось на поверку, костюмчик только подчёркивал его отчаянную разнузданность и исключительную циничность.

В назначенный Елизаветой Васильевной день, когда Оля открыла входную дверь и увидела Джека, прилизанного, в пиджачке, рубашечке и брючках, с букетиком роз и коробкой конфет, девушку так и заколотило от смеха. Джек тогда, нахмурившись, тихо спросил: «Что?! — и нервно оглядел себя. — Что не так-то? Ширинка? — сунув конфеты подмышку, он быстро пощупал свободной рукой промежность, но «магазин был закрыт». — Чего ржёшь? Я нормально выгляжу?» — «Превосходно! — всхлипнула Оля. — Тебе только очков не хватает до полной картины!»

Появившаяся с кухни Елизавета Васильевна бросила на смеющуюся дочь настороженный взгляд, вежливо поздоровалась с Джеком и пригласила его войти, тотчас захлопнув за ним дверь и с невероятной скоростью щёлкнув сразу несколькими замками.

«Что тебя так развеселило?» — тихо спросила Елизавета Васильевна у Оли. «Да вот, Женя анекдот рассказал!» — и девушка озорно подмигнула Джеку, уставившемуся на неё, в свою очередь, с изумлённым возмущением, потому что никакого анекдота в сценарии не было. «Расскажите и мне, Евгений», — перевела внимательный взгляд на застывшего юношу Елизавета Васильевна.

Джек, собиравшийся стянуть с ног начищенные до неприличия остроносые туфли, резко выпрямился, хрустнув чем-то в спине, растерянно кашлянул в кулак и молвил неловко: «Ээээ... Завёлся как-то в лесу олень-насилё...»

«Только не этот!» — с ужасом оборвала его Оля, сделав огромные глаза.

«Хорошо, — согласился Джек. — Тогда другой...» — но «другого»-то как раз и не было! Все до единого анекдоты, которые Джек помнил, были ещё хуже, ещё неприличнее, ещё пошлее, грязнее, оскорбительнее, чем про оленя-насилёника. Панически перебирая

в голове эти нерукотворные памятники человеческим грехам и сквернословию, Джек не просто слышал звон, но и знал, где он — да прямо здесь! Это секунды невыносимого молчания откалывали от вымышленного образа «хорошего мальчика» огромные куски, которые, падая на пол, разбивались вдребезги. С шулерской скоростью похабная колода перетасовывалась в сознании: «Решил мужик попить из реки, да вкус у воды оказался странным каким-то. «Там наверху никто не сикает?» — крикнул мужик...» Так. Стоп. Не пойдёт. «Зашёл интеллигент очкастый в аптеку и говорит тихо-тихо, почти шёпотом: «Дайте мне, пожалуйста, упаковку презервативов...» Нет! «Решили как-то русский, американец и француз выяснить, кто сможет больше насра...» Нет! Нет!! Да что с тобой?! «Приходит мужик к врачу и говорит: «Доктор, у меня в языке заноза...» Нет! О, Господи, конечно же нет! «Лежит Ленин с Горьким постели...» Тьфу, твою мать! Безнадёжно! Это просто безнадёжно!

«Лучше я вам стихотворение расскажу! — неожиданно выпалил Джек и, не дав Елизавете Васильевне и полсекунды, чтобы возразить, продекламировал:

*И воробей на фонаре,
И набережная с закатами,
И размышленья о добре,
О смерти, о любви, о фатуме,
Вся жизнь с вопросами проклятыми —
Всё-всё поместится в тире,
Поставленное между датами».*

Мягкая улыбка, с которой Елизавета Васильевна начинала слушать стихотворение, ближе к его завершению медленно потускнела, почти исчезнув. В крохотной тени, оставшейся от улыбки, зацепившейся за самые уголки губ, было столько грусти и страдания, что Джек чуть ли не с физической болью ощутил сгустившуюся в воздухе горечь потери. Мысленно проклиная себя за глупый и несвоевременный поэтический порыв, он замямлил было: «Вот. Вспомнилось почему-то...»

«Хорошее стихотворение! — перебила его Елизавета Васильевна. — Хотя и очень печальное. А кто автор? Неужели такое теперь проходят в десятом классе?»

«Иван Елагин, — сказал Джек. — Нет, не проходят. Это я так... не по программе... для себя, — и вдруг добавил громко и пафосно: — Люблю стихи!»

Разумеется, это была неправда. Мягко говоря. А говоря откровенно — наглая и бесстыдная ложь. К стихам Джек относился с недоумением и прохладцей. Никакого отклика в его душе не нашли ни русские классики золотого века, ни новаторы серебряного, а осталь-

ных он и вовсе знать не знал. Единственным поэтом, которому удалось по-настоящему зацепить Джека за живое, оказался тот самый Иван Елагин, урождённый Матвеев, выброшенный на берег Мировой Души второй волной русской эмиграции кошмарного XX века.

Думаете, Джеку было дело до поэтов-эмигрантов? Господь с вами!

Стихи Елагина попались Джеку на глаза из-за череды случайностей, одной из которых стала забавная история, в которой Венедикт Март, он же Венедикт Марьин, он же Венедикт Матвеев, наркоман, алкоголик, поэт-футурист и по совместительству отец Ивана Матвеева (Елагина), а с ним биолог-литератор Лев Аренс привязались ремнями к верхушке сосны, не забыв, однако, присобачить туда же ящик водки. Так и не найдя в интернете, чем закончилась хвойная пьянка, в одном Джек был твёрдо убеждён: заветный ящик два сумасшедших футуриста точно опорожнили! Их брутальная лихость, столь далёкая, по тогдашним школьным представлениям Джека, от поэзии, долго ещё будоражила воображение юноши, а поиски подробностей привели, собственно, к Ивану Елагину, со слов которого фантастическая история и начала своё шествие по миру.

Без особого интереса проглядев несколько его стихов, Джек неожиданно наткнулся на «Камаринскую»:

В небо крыши упираются торчком!

В небе месяц пробирается бочком!

На столбе не зажигают огонька.

Три повешенных скучают паренька.

Всю неделю куралесил снегопад...

Что-то снег-то нынче весел невпопад!

Не ридить бы этот город — мировать!

Отпевать бы этот город, отпевать!

Необоримое несоответствие (в народе именуемое ещё проще и понятней — «когнитивный диссонанс») между разудалым плясовым мотивом и обрушившимися на него со всей тяжестью эпохи мрачными, апокалипсическими строчками окончательно снесло и без того уже ненадёжную крышу лучшего ученика 10 «б» класса. Это тебе, понимаешь ли, не «мимолётное виденье», вызывающее сладкие «томления грусти безнадёжной» у сюсюкающих престарелых пушкинистов! И не бесконечные причитания о народе, что и сейчас слышны у каждого подъезда в парадных размышлениях бабушек-коммунисток. И уж подавно не тошнотворная «Градо-женщина» с «улыбкожабами» и «электрзеркалорестораном», на которую Джек тоже как-то ненароком напнулся, прогуливаясь по просторам интернета. О нет! Елагин с его изломанным — и тра-

гичным, и жёстким, и иронично-циничным, и философским — мировосприятием, облечённым по большей части в классическую стихотворную форму, был гораздо ближе Джеку, роднее своей утончённой противоречивостью.

И, даже несмотря на то, что прочитанное стихотворение опечалило Олину маму, Джеку удалось произвести правильное впечатление, да к тому же выпутаться из анекдотически неприятной ситуации «с анекдотом». А больше в тот день никаких оказий и конфузов не приключилось, и знакомство Жени Зворыкина с Елизаветой Васильевной, одна мысль о котором приводила Олю в трепет, прошло успешно. Все остались довольны! Джек получил извращённое наслаждение от собственного артистизма, корча зайньку-паиньку, Елизавета Васильевна не без облегчения (теперь есть, с кем отпускать дочь на улицу!) убедилась в надёжности и даже трогательной невинности Олиного друга, а Оля наконец-то получила возможность хоть ненадолго выбираться на свет белый из темницы, в которую превратился её дом после смерти отца. Благородная цель переговоров была достигнута. И даже более того: к Олиному одиннадцатому классу Елизавета Васильевна прониклась к Джеку таким доверием, что стала отпускать с ним дочь без лишних вопросов и даже больше чем на час.

Вот поэтому солнечный сентябрь и имел удовольствие наблюдать за молодыми людьми, прогулочным шагом двигающимися в направлении рок-бара «Реактор», где вскоре должен был состояться саундчек «Cannabis Seeds», а после — концерт.

Но не один сентябрь пылливо следил за Олей и Джеком в тот день. Мужчина, лет под сорок, хорошо одетый, но довольно неприятной наружности — с красным одутловатым лицом, маленькими угрюмыми глазками, не по-пороссячи сообразительными и шустрыми, и увесистым двойным подбородком — шёл за ними по пятам, сохраняя при этом постоянную дистанцию, чтобы оставаться незамеченным. Когда же к молодым людям присоединился вывернувший из-за угла высокий бритоголовый парень, мужчина тут же остановился и достал из кармана пачку сигарет, внутрь которой была втиснута чёрная зажигалка «Cricket».

Метрах в ста от уже прикуривающего за оградой ладошки «водя краснорожих» Джек и Оля радостно поприветствовали Андрея Ломакина по прозвищу — ни за что не догадаетесь какому! — Лом.

— Ну, ты, чел, и вырядился! — поздоровавшись, усмехнулся Лом, покачал головой и даже пощупал, дабы окончательно убедиться в его натуральности, пиджак Джека. — Костюмчик не жмёт?

— Вы что, сговорились?! — возмутился Джек, поочерёдно взглянув на Олю и Лома, и беспомощно развёл руками, отчего бу-

тылка пива тотчас совершила пересадку в Андрееву десницу. — Я уже почти год в этом костюме выступаю!

Лом сделал внушительный глоток пива и пожал плечами:

— А я уж больше года ни на какие концерты не хожу. Не хочу светиться лишний раз.

Станным всё-таки человеком был Андрей Ломакин! Из противоречий, тонких и ломких, складывался его характер. Вот, к примеру, «не хотел он светиться лишний раз», а в городе был давно и хорошо известен благодаря энергичному участию в различного рода экстремистских организациях, скандальных акциях, провокациях, погромах, да и просто драках, а ещё больше — благодаря оголтелому нацизму-национализму, естественно, не без нежной любви к Гитлеру, парадоксальной, но столь характерной для «славяно-арийских» фашистов.

Несмотря на грубое прозвище и действительное умение хо-рошенько «вломить» и основательно «поломать», Лом отличался острым, незаурядным умом и к тому же — неиссякаемой страстью к конспирологии. Был он из тех почитателей «теории заговора», что не страдают от мании преследования, а делают её естественной частью своего бытия. «Это как?» — спросите вы. А вот так: ни в коем случае не живи там, где прописан! Никому не доверяй! Ничему не верь! Тебя обманывают! Идешь по улице — смотри по сторонам: где-то там за тобой волочётся «хвост». Помни, следят за тобой всегда и всюду, даже если «хвоста» нет: видеокамеры-то — везде! Никому не доверяй! Ничему не верь! Тебя обманывают! Никаких социальных сетей, блогов, переписок с друзьями и случайных фотографий! Все средства массовой информации уже со времён второго пришествия инопланетян под контролем ФСБ, Госдепа, мирового банкирства, жидо-пидоро-масонов и прочих рептилоидов. Никому не доверяй! Ничему не верь! Тебя обманывают! Если где-то что-то взорвалось, то это, само собой, устроили спецслужбы. Они же, спецслужбы, управляют глобальными стихийными бедствиями: ураганами, землетрясениями, наводнениями — и всеми остальными ужасами, которые обрушатся уже очень скоро на твою несчастную голову. Или уже обрушились. Это чтобы тебя унижить и превратить в послушного раба. Да и вообще, раз уж на то пошло, вся твоя серая, унылая и нищая жизнь не по твоей вине серая, унылая и нищая, а потому что хозяева мира тебя задавили. Ведь иначе ты разогнёшься и ка-а-ак скинешь их со своих богатырских плечей, и тогда-то заживёшь, уж заживёшь по-настоящему! Вот чего они боятся! Потому и травят тебя, и давят, и угнетают, и обманывают! Гниды!

Мнительность такая, признаемся честно, вполне отвечает бес-покойно-истеричному духу современности, измаянному нескон-

чаемыми информационными вихрями, и скорее типична, нежели исключительна. Рискнём даже предположить, что Андрей Ломакин, обладая немалыми душевными и физическими силами, яркой самобытностью, но так и не найдя себя-созидателя, оказался настолько же «героем» нашего времени, насколько Печорин был героем своего.

Ближе к тридцати годам политическая и общественная активность Лома заметно снизилась в связи с его переходом с крепких алкогольных напитков на лёгкие наркотики: Андрей успокоился, подобрел (в прямом и переносном смысле) и стал жить-поживать в своё удовольствие, не особенно размениваясь на происходящее вокруг. И только конспирологические навыки нет-нет да и всплывали из глубин подсознания на поверхность его сложной натуры пузырьками неожиданной тревоги и подозрительности. «Это как?» — опять спросите вы. А вот так.

Пройдя с Олей и Джеком полтора квартала и совершенно очаровав их своей харизматичной отвязностью, Лом неожиданно примолк и обеспокоенно нахмурился. Несколько раз нервно оглянулся он, крутанув головой туда-обратно с такой скоростью, словно хотел сломать себе шею, а потом выдал:

— Кажись, вон тот мужик, что сзади плетётся, за нами шпионит. Только не вертите тыквами, блин!

Оля вздрогнула. Джек скептически поморщился. А Лом продолжил ломающимся с полушёпота на шёпот голосом:

— Странно, что я его сразу не срисовал, а только когда с вами пересеёлся. Я ведь всегда нутром чую, когда за мной следят!

— Может, он не за тобой следит? — вдруг спросила Оля.

Оскорблённый до глубины души, Лом засопел и бросил в Олину сторону презрительный, уничтожающий взгляд:

— Не за мной?! А за кем? За тобой, что ль?

Оля покраснела, но промолчала.

— За мной! Точно за мной! — убеждённо и трагично выдохнул конспиролог. — В этот раз послали профи! Если уж даже я так долго не замечал «хвоста». Плохи дела!

Несколько сбавивший шаг Джек потихоньку оглянулся и, терпеливо дослушав Ломовые причитания до конца, произнёс вяло, со скупающей интонацией:

— Да нет там никого.

Тут уже Лом резко притормозил, скрипнув покрывками по асфальту, и развернулся на 180°. Судорожно посветив горящими глазами по сторонам, он замер. Улица и правда была пуста.

И тогда он серьёзно, очень серьёзно и торжественно посмотрел на Джека:

— Спалил, что мы его спалили... Я ж говорю: профессионал высочайшего уровня, — Лом кинул недопитую пивную бутылку в урну, коротко кивнул Оле и похлопал Джека по плечу: — Всё, ребята-котятки, мне пора!

Перемахнув ограду, отделяющую тротуар от трассы, он в несколько огромных кенгуриных прыжков форсировал пустынную дорогу и, перебравшись через ограждение уже на той стороне, скрылся за ближайшим домом. Оля улыбнулась.

— Забавный у тебя дружан, Джеки. Проворный.

— Ну... обычно он не настолько шизанутый, как сегодня. Обострение, наверно. Осеннее.

Они подошли к указующей вниз чёрной вывеске, на которой горело неоновое: «Реактор» — и Джек начал было спускаться по лестнице, когда Оля тихонько тронула его за плечо:

— Подожди секунду.

— А? — он обернулся.

Оля немного замялась, опустила глаза, густо покраснев, а потом сказала:

— Он не настолько чокнутый. Твой друг. Просто... это действительно не за ним следили, а за мной.

Джек нахмурился:

— Да кто?! Матушка приставила человечка?

Оля подавленно молчала.

— Ну? — Джеку совсем не нравилось вот так стоять на лестнице, ни там и ни тут, на полпути. Это его сильно раздражало. Да и мыслями был он уже всецело погружён в предстоящий концерт.

Остро прочувствовав настроение друга, Оля решительно махнула рукой:

— Забей. Как-нибудь в другой раз расскажу.

— Окей, — тут же согласился Джек и продолжил спуск. Вероятно, сказанное Олей он не воспринял всерьёз и позабыл в ту же секунду, едва схватился за ручку двери «Реактора». Что-то, а забывать Джек умел!

Как и большинство подобных заведений города, «Реактор» располагался в подвальном помещении и был мал, тесен и душен. Из-за плохой вентиляции белесый сигаретный туман расплзался во все стороны задолго до концерта (в те времена ещё можно было курить в клубах), постоянно уплотнялся и охотно пропитывал одежды и волосы собравшихся. Заморенные официантки, продираясь сквозь толпу, надсадно кашляли, а бармен спасался тем, что сам курил одну за другой, щедро не доливая пиво в кружки по старому, как мир, принципу: «Пена — друг бармена». В дальнем от сцены углу доживал свой век старенький бильярдный стол для

«американки» с истёртым до дыр сукном, на котором время от времени неумело гоняли шербатые шары прыщавые школьники или прыщавые вчерашние школьники. Со стен внимательно наблюдали за ними всемирно известные музыканты, издевательски усмехаясь и разве что только не подмигивая озорно: «А вот хрен вы здесь нас когда-нибудь увидите!» Жара и духота заставляли хорошенько пропотеть и безо всяких там слэмов, мэшей и пого, а люди неподготовленные вынуждены были бегать то и дело наверх, на свежий воздух, чтобы не вырубиться ещё до начала «рубилова».

Впрочем всё это не мешало посетителям «Реактора» крутиться и вертеться, подобно падающим камням, под грохот и скрежет местных рок-групп, носиться за пивом и обратно в толпу перед сценой, аки неприкаянное перекаати-поле, и даже клубиться, подражая клубам сигаретного дыма, под одиозные манипуляции диск-жокеев на вечеринках электронной музыки, которые тоже почему-то проходили в рок-баре.

Джек провёл Олю мимо толстого длинноволосого охранника, который был скорее частью интерьера, нежели реальной оберегающей силой, представив девушку как участницу группы (до окончания саундчека внутрь пускали только музыкантов). Когда они добрались до двери в небольшое закрытое помещение, выполнявшее функции гримёрки и комнаты отдыха для музыкантов, оттуда вышел невысокий парень с пронзительными синими глазами, средней длины волосами и бородой соломенного цвета. Это был соло-гитарист и по совместительству вокалист «Cannabis Seeds» Илья Пахоменко. Или просто Пахом, как все его и звали, из деликатности стараясь не упоминать в его присутствии другого Пахома — из фильма-катастрофы «Зелёный слоник».

— Джек, мой мальчик, — медленно и вязко проговорил Пахом, положив Джеку руку на плечо, — а знаешь ли ты последнюю новость?

— То, что ты только что дунул? — усмехнулся Джек.

— Нееее... Это разве новость? Да и я так... Немножко. Для настроения. А вот новость... это новость! Всем новостям новость.

— Ну?

— Мик... уходит из группы!

Джек озадаченно почесал бровь:

— Почему?

— Ну, как почему... У него же после Индии совсем кукушка съехала, ты что, не знал? В секту уходит. Сегодня, говорит, последний концерт с нами отыграет и с музыкой вообще завязывает. Продаёт ударную установку — он уже даже объявление дал — и... фюииии-ить! — Пахом вытянул свободную руку в сторону, чуть не зае-

хав Оле по уху. — В этот свой... ашан... машам... шрам... или как там... И... всё! На хрен вы, говорит, мне теперь нужны. Я, говорит, вас духовно перерос и буду двигаться дальше... У меня, говорит, просветление наступило. Только вот на что оно ему наступило... Боюсь, что прямо на мозг и наступило.

— Да уж... — меланхолично проговорил Джек. Дезертирство Мика не было откровением, но оставило неприятный осадок в душе. Как-то неправильно всё складывалось, некрасиво. Вдвойне неприятно ему было от того, что он и сам собирался покинуть «Cannabis Seeds», чтобы собрать собственный проект. Правда он-то хотел сделать всё совсем по-другому. Деликатнее. Да и к тому же Лёха, тот самый, на чьё место Джек «временно» пришёл в группу аж два года назад, уже давно вылечил сломанную ключицу и только и мечтал, что о возвращении в «Cannabis Seeds». Так что проблем с заменой Джека у группы бы не возникло. А вот найти в городе толкового ударника было гораздо сложнее.

Зайдя в комнату отдыха, Джек и Оля поздоровались с сидящими в разных углах в полном молчании Миком и Аликом (басистом). Алик, черноволосый коренастый очкарик, натянуто улыбнулся Джеку, с нескрываемым интересом глянул на Олю, но так и не вымолвил ни слова. Мик же, пожав Джеку руку и проигнорировав его вопросительно-выжидающий взгляд, плюхнулся обратно в объятия мягкого кресла и демонстративно прикрыл глаза. Густая, плотная тишина сомкнулась за спинами вошедших.

Не так-то легко её было нарушить! Поговорив вполголоса о том о сём, Джек и Оля вздохнули с облегчением, синхронно и громко, когда в комнату заглянул Пахом и буркнул:

— Айда чекаться.

Пока ребята отстраивались, Оля, скучая, побродила по клубу, выпила кружку тёмного пива, которую ей бесплатно и почти бескорыстно (в надежде на продолжение знакомства) нацедил мускулистый и коротко стриженный бармен, поболтала с подружкой по телефону, отослала несколько ерундовых сообщений и, наконец, утеснилась за пустым столиком недалеко от сцены.

Едва саундчек завершился, все музыканты «Cannabis Seeds» скрылись в гримёрке. Джек по дороге жестом показал, чтобы Оля ждала его в зале. Она кивнула.

В рок-бар начали запускать народ. Публика, понемногу заполнявшая «Реактор», была очень и очень разной: уже давно волны мелкой, невыразительной современности, породившей разве что жалких и никому толком непонятных хипстеров, размыли контуры могучих субкультур, появившихся в двадцатом веке. Среди пришедших даже не все интересовались рок-музыкой, а некото-

рым и вообще музыка как явление культуры была безразлична, и объединяла здесь всех, пожалуй, только молодость.

Оля без особого любопытства разглядывала спускающихся в душный полумрак, пока её взгляд не зацепился за двух молодых людей, которые вместе, в неуклюжем союзе, были смехотворно похожи на незабвенных героев Сервантеса: один был долговяз и худ, другой — приземист и толст. Но не это поверхностное сходство привлекло внимание девушки, а то, что...

— Мы, кажется, знакомы! — сказал высокий и расплылся в восторженной улыбке. Странная парочка остановилась рядом со столиком, за которым сидела Оля.

— О, да! — девушка улыбнулась в ответ. — Ты же Том, верно?

— В яблочко, Вильгельм! — воскликнул Том и сделал вид, что стреляет из лука.

— Ай-яй-яй! Какой ещё Вильгельм? Забыл, как меня зовут? — Оля, продолжая улыбаться, покачала головой.

— Никак нет, прекрасная Ольга!

— Вот! Уже лучше! — Оля перевела взгляд на пухлого парня. — А ты, наверно, Джерри?

Парень удивлённо распахнул глаза за стёклами очков и, хихикнув, сказал:

— Как бы не так! Кострома, мон амур! Или Никита — можно и так. А Джерри на юге. Булки таскает по ночам.

— Подожди-ка! Ты же на гитаре тогда играл? Летом, два года назад? Точно! На балу у Сатаны? Ну... то есть на дне рождения того богача, которого ещё на чёрном троне потом внесли?

— Да. Было дело.

— Что-то я тебя сразу не узнала...

— Просто меня стало больше! — Кострома похлопал себя по бокам. — Раздался вширь. Приросла губерния пахотными землями! Или, говоря проще, разжирел я, как свинья!

— Да брось, никакая ты не свинья, — утешила Оля. — Тебе даже идёт.

Никита чинно поклонился в знак благодарности, а Том, сотворив в воздухе движение указательным пальцем и поместив тем самым стол со стульями в небольшой воображаемый круг, спросил:

— Можем ли мы присесть рядом с тобой, княгиня?

Оля задумчиво нахмурилась, соображая, должна она позаботиться о местах для всех музыкантов «Cannabis Seeds» или достаточно оставить местечко для Джека (а оно, собственно, и так уже было «забронировано» слева от Оли: там лежала её сумочка), но, вспомнив надменное лицо Мика, разрешающе махнула рукой:

— Да! Падайте!

Том тут же и «упал», а Кострома, аккуратно положив на стол пачку сигарет и зажигалку, двинулся к бару, бросив на ходу:

— Я за пивом!

— Возьми на всех! — крикнул вдогонку Том.

— Ага, — донеслось в ответ.

И ещё до того, как беспечное и жизнерадостное, подобное одноимённому попугаю из кроссвордов, междометие стихло, Оля успела хорошенько рассмотреть Тома. Со дня их первой встречи он сильно похудел и уже не казался сошедшим с библейских страниц нефилимом. Появилась в его облике некая одухотворённая глубина, даже загадочность, та самая — романтическая, томная, коей способствовали и хитрость в сочетании с высоким ростом, и густо разросшиеся кудри, что оплели голову живой изгородью, и задумчивые карие глаза, не утратившие, однако, прежней доброты. Одет Том был в чёрную рубашку с короткими рукавами и чёрные джинсы. И только пряжка на ремне разбавляла невыносимый концентрат «таинственности», ибо была непомерных габаритов и огромными красными буквами вопила на всю Вселенную: «БЛЯХА».

— Ты так и не пришла на набережную тогда, на следующий день, — Том пылливо посмотрел на девушку.

Оля вздохнула:

— На следующий день... Ах, если бы, если бы... Если бы только всё сложилось иначе! Но на следующий день мы всей... — Олин голос дрогнул. — ... всей семьёй уехали домой. А потом... Потом... Нет, я не могу говорить об этом, — девушка нахмурилась.

Том понимающе кивнул. Некоторое время посидели молча, глядя, как пол постепенно обрастает белой бородой сигаретного дыма. И было это молчание того рода, что не давит неловкостью и не трещит от напряжения, а, напротив, обволакивает всепроникающим покоем. Ни с кем Оля не чувствовала себя настолько легко, даже с Джеком. Джек иногда был холоден, как ноябрьский ветер, а от Тома веяло теплом. И сердце девушки согревалось приятным чувством, будто они давно знакомы, хотя виделись во второй раз.

— И всё-таки мы встретились! — сказал Том, когда запасы молчания истощились.

— Наши судьбы снова стянуты в узелок? — с иронией спросила Оля.

— Надеюсь, — ответил Том вполне серьёзно. — Хорошо, когда хорошие люди находят друг друга! Плохо, когда теряются среди плохих. Мы — хорошие!

Последняя фраза была сказана с таким воодушевлением и нажимом, что Оля рассмеялась:

— Ну... как скажешь! Я-то думала, что я плохая. Теперь буду знать, что хорошая. Как, кстати, ваша группа? Играете?

Теперь уже Том нахмурился:

— Нет никакой группы. Вдвоём иногда собираемся с Костромой поиграть. А Джерри ещё в июне, как закрыл сессию, уехал на юг, к отцу. И, похоже, решил забить и на университет, и на музыку, и остаться там насовсем. Влюбился в местную девчонку. Потерял голову. Даже на работу устроился, чего с ним отродясь не случалось. На хз.

— Прости, что?

— На хз! — Том хохотнул. — На хлебозавод. Грузчиком.

— А. Понятно.

В это самое время к ним одновременно с двух сторон подошли: со стороны бара — Кострома с пивом, со стороны комнаты отдыха музыкантов — Джек с рассеяннорасслабленной улыбкой и таким же взглядом — рассеяннорасслабленным.

— Всем привет, — дружелюбно, но немного вязко, словно слова сочлились во рту медовыми сотами, произнёс Джек.

Оля поднялась из-за стола:

— Давайте я вас познакомлю! Это мой друг Женя, гитарист «Cannabis Seeds».

— Джек, — тягуче излилось из немеркнувшей улыбки. — Лучше уж зовите Джеком: так привычнее.

— Это Том, а это Кострома, — продолжила Оля. — Они, к слову, тоже музыканты. Том играет на барабанах, а Кострома — на гитаре.

— Интересно! — уже поживее проговорил Джек. Предощущение будущей мысли, нечто, ещё не сформировавшееся в уме вербально, но уже соединившееся из разных частей с громким щелчком воедино, озарило его лицо. — Интересно, — задумчиво повторил он сквозь улыбку, как достопамятный мультяшный доктор Ливси («Очень хороший и весёлый человек. Характер общительный. Не женат.»).

Потом были рукопожатия и летучие, словно диэтиловый эфир, фразы наподобие «очень приятно», «рад знакомству» и в том же духе. Легко и плавно потекло общение по пенным пивным волнам, пока его не прибило к берегам последнего концерта «Cannabis Seeds».

И «семена конопли», уже понимая, что в последний раз, отождели со страшной шаманской силой, наэлектризовав публику яростной энергией обречённых на распад атомов. Из каждого «семечка», даже из «осветлённого», проросло столько экспрессии, что многие из присутствующих в «Реакторе» впоследствии вспоминали этот концерт как один из лучших, виденных в жизни. Когда стихли звуки «Lucille», завершающей славную историю «Cannabis Seeds», растерянные, обалдевшие, взмокшие и выложившиеся чуть ли не наравне с покинувшими сцену музыкантами зрители ещё долго не могли прийти в себя.

А «Cannabis Seeds», исключая, разумеется, сразу испарившегося Мика, но включая зато Олю, Тома, Кострому и ещё нескольких знакомых мальчишек и девчонок, отправились в парк, чтобы покрыть стремительно хмелеющий вечер лаком и выставить в музее памяти как ценнейший экспонат.

Пьянка назревала нешуточная! Эпохальная! Разудалая, как четыре огромных пакета, набитых под завязку водкой, пивом, вином и едой. Отчаянная, как взрывы надрывного хохота, отпугивающие с парковых аллей идущих навстречу прохожих. Грустная той особенной осенней грустью-грустинкой, когда, плаваясь от непонятной, нездешней тоски, душа каплет в тревожное, нахмуренное небо.

И как ни хотелось Оле и Джеку побыть подольше с честной компанией — вечер сквозь загустевшие сумерки уже светил фонарями, и Оле пора, пора было домой, о чём она и предупредила Джека. Он покорно кивнул, но попросил дать ещё несколько минут. Отведя в сторонку Тома и Кострому, он предложил собраться на днях вместе и поджемовать. Просто так. Без напрягов и помпы. В своё удовольствие. Ребята согласились. В записной книге судебных появилась точка — отправная для будущей «Жестокой Академии».

Распрощавшись со всеми, Оля и Джек покинули обросший темнотой парк.

— Хорошо бы нам ускориться! — с тревогой поглядывая на часы, взвилась Оля.

— «Я лично бухаю, но могу ускориться...» — пропел Джек, но девушка взглянула на него с раздражением:

— Не в этом смысле «ускориться»! А в том, что мне от матери влетит, что поздно сегодня возвращаемся.

— Угу, — хмыкнул Джек и неожиданно, несмотря на своё «умение забывать», медленно произнёс: — Перед концертом ты обещала рассказать, кто организовал за тобой слежку. Давай колись!

Словно от судороги, скривилась Оля, но, подумав, тяжело вздохнула и сказала:

— Есть один человек. Нехороший человек, но очень богатый. Он добивается... моего расположения.

— Расположения? Это что ещё значит? Педофил?

— Хуже. Ему нужно не только моё тело. Он хочет владеть мной. Как вещью.

— Да где же ты, Тесак?! — тихо и растерянно, скорее, самому себе, пробормотал Джек. Сказанное Олей огорошило его.

— Да не помог бы твой Тесак! — рассердилась девушка. — И менты не помогут. Этот богач... он весь город держит. Его все боятся. Если бы только отец был жив...

— А как же мать? Ты говорила ей?

— Нет! Конечно, нет! Если она узнает — запрёт меня дома навсегда! И ключи проглотит. Даже в школу перестанет отпускать. И бабушке нельзя рассказать: мать сразу поймёт, что от неё что-то скрывают. Бабушка расколется на раз, к гадалке не ходи. Я вообще никому, кроме тебя, не говорила.

— Но я-то чем помогу?! Надо идти в полицию...

— Тыфу, дурак! — совсем озлобилась Оля. — Ты не слушал меня, что ли?! Да и не нужна мне твоя помощь. Просто надо было с кем-нибудь поделиться. На всякий случай, — девушка мрачно усмехнулась: — Если вдруг пропаду без вести, к примеру. Или трупик мой выловят из речки.

Джек выругался.

— Ладно, забудь, — Оля махнула рукой. — Ничего страшного пока не случилось. Ну, следят за мной иногда — я уже привыкла. А больше ничего и не происходит: никто не пытается меня украсть или изнасиловать. Ну, пишет мне этот мужик смски время от времени. И подарки пытается всучить через помощников. Но я не беру. И не отвечаю. Думаю, рано или поздно ему всё это надоест, и он сам отлипнет. Как кусок засохшей грязи от ботинка.

— Плохо дело! Плохо... — с тревогой проговорил Джек.

И был прав! Но и сам не знал тогда ещё — насколько.

Мул и Манул: Part 7

Как и Мул не знал — зачем оказался в пустыне в то утро. Что потянуло его туда, помимо воли? Лукавая судьба? Неотвязное, словно наваждение, прошлое? Зарытый глубоко сундук с магическими инструментами? Жгучее, будто солнце, раскание?

Без единой мысли, позабывшись, брёл и брёл он под палящими лучами, ведомый коварным мороком, как слепой — поводырём, пока не увидел двоих мужчин прямо перед собой. И тотчас понял, что пришли они сюда, в пустыню, по его душу.

— Здравствуй, до-ро-гой! — вскричал один из чужаков — обильно обливающийся потом и оттого весь мокрый, с осаленной, неприятно блестящей физией толстяк — и полез было обниматься, но Мул грубо оттолкнул его.

Толстяк полетел вверх тормашками и не рухнул камнем вниз только благодаря тому, что другой незнакомец — рослый, стройный — успел вовремя подхватить его. Ни один мускул не дрогнул на невозмутимом, напроць лишённом эмоций лице второго чужака, а вот толстяк, похоже, обиделся:

— Дерзишь! Зря... — толстый причмокнул красными мясистыми губами и осуждающе покачал головой. — Я к нему со всей

душой, с распростёртыми объятьями, а он... Нет, не так принято встречать гостей, не так...

Не дождавшись никакой ответной реакции, кроме недоброго взгляда исподлобья, толстяк нервно усмехнулся и спросил:

— Ты же Мул, верно говорю?

Молчание. Теперь столь красноречивое, что энергичным, нетерпеливым жестом толстяк отмахнулся от него, как от осы, и закричал противно:

— Я знаю, что это так! Молчи не молчи! Луна указала мне место встречи, а Луна-госпожа не ошибается. А ещё я знаю, что ты прекрасно понимаешь меня! Огнеглазый научил тебя многим премудростям, в том числе и языку, на котором говорю я с тобой. Так говори и ты. Хватит играть в молчанку, будто ты дитя и всё это понарошку. Я, мужчина, пришёл к тебе. Будь женщиной и ты! Мы мужчины, а мужчины не прячутся друг от друга за молчанием! Вот и ты — не прячься. Говори со мной как мужчина с женщиной. А о чём говорят мужчины друг с другом? Правильно! О деле, — толстяк сделал паузу и снова выжидающе посмотрел на Мула, но тот не шелохнулся. — Есть для тебя работа, Мул! Непыльная! А вознаграждение — весомое. Разбогатеешь вмиг. Самым богатым человеком будешь в родном крае. А всего-то и надо — тряхнуть стариной, вспомнить то, что когда-то делал уже. Для Судии. Легче лёгкого! — толстяк вдруг одним юрким движением извлёк на свет золотую монету и, придерживая за гурт двумя пальцами, вытянул перед собой. Мул вздрогнул. Страшный, выпученный глаз, взирающий с монеты, вонзился в него. Мул со стоном закрыл лицо руками. — Вот! — закричал с триумфом толстяк. — Теперь я вижу, что ты меня понимаешь! Теперь вижу!

Мул, не открывая лица, качался из стороны в сторону, словно раненый, пока руки его сами не соскользнули вниз по чёрной густой бороде. Посмотрев на чужаков диким, обезумевшим взглядом, он повернулся к ним спиной и быстро-быстро зашагал прочь.

— Давай, беги, трус! — раздражённо крикнул вдогонку толстяк. — От судьбы, всё одно, не убежишь! Я буду ждать тебя в разрушенной крепости, что на той стороне реки. И ты придёшь. Сегодня же и придёшь. О, я знаю. Поверь! Одна у нас дорожка на двоих — лунная.

Но последних слов Мул не расслышал. Он, и правда, уже почти бежал, чувствуя, что беда всё равно на полшага впереди.

Так и вышло. Дома ждала беда его. Дочь пропала.

Дом Side one: Нефер на хз

— Слышь, братан, парикмахерская — там, — ощерившись хамоватой ухмылкой, золотозубо сверкнувшей на солнышке, тыкнул пальцем в сторону гор копчёный, остриженный ультракоротко быдлан. Кореш его, тоже короткошёрстый и быдлоголовый, но настроенный не столь добродушно, громко, демонстративно харкнул на брусчатку и вперился злобными красными глазками, приплюснутыми прищуром.

Джерри смолчал. Просто прошёл мимо, не глядя на ушлёпков, словно их не существовало. Дробь вялых ругательств, пущенная вслед, не задела — прошла по касательной. А вот с силой воткнувшийся в спину мерзопакостный, гнусавый хохот ожёг острой, нестерпимой болью. Обида вползла в открывшуюся рану и вгрызлась в сердце. Там она, змеясь и шипя, копилась уже долгие годы. «И почему они всегда плюются? — раздражённо думал Джерри. — Хотят походить на верблюдов? Но по уровню развития верблюды стоят на ступень выше и выглядят... благороднее».

Зол, Джерри был зол, ах как же он был зол! Но никак не хотел признать, что больше — на самого себя за малодушие, нежели на случайных нелепых быдланов. И что с них взять — со слабых умом, ограниченных, прочитавших за жизнь в лучшем случае букварь и несколько сотен алкогольных этикеток? Как сердиться на примитивных недочеловеков, полудебилов класса «эпсилон-минус»? Разве в них дело? О, нет!

«Трусливый Лев, Трусливый Лев, Трусливый Лев. Это я, — закрипела в голове Джерри старая шарманка. — Как ни качайся — смелость, как мышцы, не накачаешь. Почему, ну, почему я стерпел?! Почему не двинул остряку-быдлородку в наглое грызло? — и услужливое воображение тотчас нарисовало, как, брызнув в небо золотом выбитых зубов, недоумок со стоном приземляется за скамейкой. — Почему не раскроил хавальник харкуну? Не заставил слизать с мостовой наплёванное?!» — Джерри отрешённо, но злобно скривился и зашептал чуть слышно:

— Языком! Языком счищай! Чтобы красиво всё было, как до тебя, ублюдок! Всё вокруг обхаркали, упыри. Сами жить не умеете и другим не даёте!

Отрадная получилась картинка, бодрая, окрыляющая даже, но, тяжело вздохнув, Джерри погнал её прочь. И только шарманка продолжала настырно скрипеть: «Трррррусливый Лев, Трррррусливый Лев, Тррррр...»

За последний год Джерри, походив в спортзал, заметно нарастил мышцы, выпрямил спину, прибавил в весе и самооценке, но

всё же не сумел изменить своей сути — остановить бесконечную рефлексиирующего самопожирателя внутри. «Так и буду всю жизнь по капле выдавливать из себя интеллигента, — мрачно усмехнулся он и потрогал мышцы на руке. — Трусливый Лев!»

Был полдень, и аллея, по которой Джерри шёл, буквально кишела людьми, изнывая от нескончаемых полчищ отдыхающих, а также более редких, но метких, представителей местной диаспоры бездельников. Чувствуя кожей презрительные взгляды стариков, насмешливые — женщин и удивлённые — детей («Мамочка, а это дядя или тётя?» — «Тише, тише, нехорошо показывать пальцем!»), Джерри торопился на рынок, рассчитывая найти там такую важную и уникальную деталь гардероба, как резинка для волос.

Ситуация складывалась юморная. Свою резинку, которая оказалась, к несчастью, последней, Джерри после вчерашней беспощадной пьянки с отцом найти не смог, сколь ни старался. Всю квартиру вверх дном перевернул — нет нигде, да и всё тут. Тягостно было идти на улицу с длинными распущенными волосами, ох как тягостно! Словно без штанов. А на юге, в простодыром, хабалистом посёлке, особенно не жаловали длинноволосых пареньков. Вот все и пялились, и морщились, и воротили носы, и, естественно, плевались, будто он и впрямь был без штанов. И без трусов в придачу. С эрегированным членом.

Отыскать «правильную» по всем «длинноволосопацанским» понятиям резинку на южном рынке не так-то просто. Маленькую такую, чёрную, тугую и цельную резиночку — без всяких там женских ажурных элементиков и скрепляющих деталек. Резинку для настоящих мужчин! Джерри рассмеялся. Бродя между рядов с кинзой, укропом, реганом (так на юге называли базилик), сельдереем и прочей петрушкой, а также всевозможными специями и приправами, щекотавшими ноздри густыми пряными ароматами, Джерри, будто трудолюбивая пчёлка Майя, собрал с цветов встречных взглядов такой концентрированный нектар ненависти, что уже задыхался. А мимо проплывали, сменяя друг друга: аджика, ткемали, кабачки, баклажаны, беляши, грязь, жирные собаки. Попадались и искомые лотки с резинками для волос, но нужной в них, как назло, не находилось. И тучные продавщицы глядели на Джерри сначала с недоумением, потом с раздосадованным непониманием и, наконец, с тем милостивым пренебрежением, с коим смотрят на юродивых, убогих и христарадников. Запасшись свеженьким унижением на несколько дней вперёд, Джерри уже покидал рынок, но на выходе случайно наткнулся на малоприметный скромный магазинчик, где, чуть не всплакнув от радости, обнаружил вполне сносные резинки для волос. Он купил сразу сто, из-

умив продавщицу — очередную необъятную, как ночной шторм, южанку.

Миссия пройдена! И только когда Джерри, вздохнув с облегчением, собрал чёрные волосы в косу, стянув их резинкой, на него накатило шестнадцатитонным грузовиком с углём такое чадное и остервенелое похмелье, что он вынужден был присесть на корточки, или «на корты» — согласно немыслимой народной гиперболе. И ведь это состояние придётся как-то пережить-перестрадать, ибо с вечера и до самого утра — грузить булки и похмелиться сейчас — провалить к чертям предстоящую работу. «Да ещё и перед Мариной опозориться, потому что именно сегодня, в эту волшебную ночь, наши смены на хз совпали», — с ужасом понял Джерри и окончательно смирился с набирающим силу чудовищным бодуном.

Телефон в шортах задрожал и выдал добротную порцию «Stooges». Джерри извлёк сотовый и прочитал: «Как там мой котик?))))))»

Марина. Недолго думая, Джерри наковырял в ответ: «Страдает((. Через несколько секунд телефон вновь ожил: «От чего?!»

И он уже начал набирать: «С похме...» — но остановился и обругал себя дураком, а вместо ненужной правды-матки аккуратно вывел красивый вензелёк: «От разлуки с котёночком». И в то же мгновение осознал, что и это — правда. Но уже нужная. «Мииииииииу!!!!!» — вот и вознаграждение!

Так он и брёл домой, останавливаясь через каждые несколько метров (Марина набирала сообщения мастерски быстро), чтобы с глупой счастливой улыбкой прочитать про котят и мышат, и других ласковых зверят, и немеющими пальчиками соорудить из расплывающихся буковок нежнейший ответ, а заодно и обуздать очередную волну рвотного шторма, что не на шутку разошёлся внутри. «Когда б вы знали, из какого сора... — всколыхнулось в памяти хрестоматийное поэтическое откровение. — Тоже Марина! Или... погоди... Анна же?! Забыл». Зато Джерри не забыл перед самым домом вернуть в лабаз и приобрести душеспасительный виноградный сок.

В семь вечера, восстав из липких от едкого пота простыней, Джерри заставил себя собраться: причесаться, помыться холодной водой, натянуть чистые трусы, шорты, майку-безрукавку и рассовать по карманам шорт несколько запасных резинок для волос. По квартире, беззастенчиво заглядывая во все комнаты, гулял приятный сквознячок. Но этот легкомысленный шалопай не нарушал целомудренного покоя, дремавшего во всех углах: уж и не вспомнить, какая по счёту отцова жена год как была уволена в запас (ещё не развелись официально, но уже и не жили вместе), а сам батя с работы ещё не вернулся. Значит, уже опохмеляется.

«Счастливец, мать его!» — подумал Джерри и испуганно оглянулся, но за спиной, кроме необъяснимого страха, никого не было.

До хз Джерри всегда ходил пешком, что занимало чуть меньше часа. На автобусе получилось бы дольше, ибо, как и всё на юге, транспорт ходил исключительно через задницу. То есть, извините великодушно, через рынок, где долго и непонятно отстаивался на жаре вместе со всеми истекающими терпением пассажирами. Идти налегке по тихим и узеньким, усыпанным давленной сливой улочкам, постепенно забирая в гору, было куда приятней. К тому же набережная с непролазными дебрями отдыхающих и отупляющим грохотом эрзац-музыки оставалась далеко внизу, а покой горного пути нарушали только мантры цикад и редкие машины.

Метров за сто до ворот хлебозавода располагался небольшой магазинчик, в коем Джерри и два Санька, Джеррины коллеги-грузчики по смене, иногда затаривались пивом. Чтобы хмельные «торпеды» (бутыли от 2 л объёмом) попадали точно в цель — в скромную раздевалку грузчиков, дружелюбные и понимающие водители-экспедиторы аккуратно доставляли их на территорию хз в машинах, минуя временами придирчивых охранников КПП. А за это благодарные грузчики-наборщики быстро и старательно собирали и загружали рейсы волшебных помощников. Простые люди умеют по-своему сплотиться против любой системы.

Так вот. Возле магазина стояла Марина собственной персоной, да не одна, а с каким-то неприятным низкорослым хлыщом за тридцать со злым обезьяньим личиком продавца (к примеру, запчастей... или, скажем, бытовой техники). Джерри почему-то сразу решил, что это бывший муж Марины — а таковой в комплекте Вселенной, к сожалению, имелся — и напрягся. А подумав, что, может быть, и не муж, и не бывший, а любовник и вполне себе нынешний, напрягся ещё сильнее. Ситуацию усугубила и реакция Марины: увидев приближающегося Джерри, она заметно растерялась, затравленно покрутила глазами по сторонам, затем взглянула прямо на Джерри как-то особенно выразительно, будто стрельнула в него невнятным, но сильным импульсом, и, только поняв, что Джерри посыл получил, но всё равно сейчас подойдёт, обмякла и изобразила на лице вымученную смиренную улыбку.

Простодушная, наивная хитрость осторожно выглядывала из-за ширмы этой декоративной улыбочки. Смешливые зелёные глаза по-кошачьи следили за каждым шагом Джерри из-под взъерошенных ветром рыжих волос. Небольшого роста, стройная, с миловидным личиком, Марина притягивала мужские взгляды не сумасшедшей красотой, но пленительной женственностью. Ей было двадцать лет, и за её хрупкими плечами, в недалёком — что

в прямом, то и в переносном смысле — прошлом, плелись, постепенно отставая и мельчая на расстоянии, неудачный брак, пролившийся восемь месяцев, и пара-тройка трагично-романтических историй, от одной из которых осталась на лопатке татуировка в виде приготовившейся к прыжку пантеры. По ходу того как развивались их отношения, Джерри, словно послушная лошадка — сахарок, получил в дар все четыре телефонных номера Марины, но он подозревал, что несколько сим-карт затаились, не желая сдаваться на его милость. На милость победителя. Дозвониться Марине иногда бывало тяжело.

— Привет! — подойдя вплотную, нарочито бодро воскликнул Джерри, обращаясь сразу и к Марине, и к примату-«продавцу». Руки последнему он не подал, да и «продавец» не произвёл никаких рукодвижений навстречу.

— Добрый вечер, — мягко, но подчёркнуто официально проговорила Марина, а глазами маякнула: «Конспирация!» И Джерри понял, что придётся подыграть, ибо на хлебозаводе и в его окрестностях правила игры, установленные в самом начале отношений Мариной, подразумевали эту самую грёбаную «конспирацию». Ни поцелуев, ни обнимашек. Только лёгкие, будто бы случайные, прикосновения, от которых Джерри тут же бросало в жар.

«Продавец» лениво кивнул.

Возникшая пауза могла бы продержаться и дольше половины секунды, если бы Джерри не достал быстренько сотовый, не посмотрел демонстративно на время и не сказал, обращаясь в этот раз только к Марине:

— Что, пойдём? А то на смену опоздаем.

— Да, пора, — сразу согласилась Марина и, повернувшись к «продавцу», произнесла с вежливой улыбкой: — Ладно, удачи, не случай. Светику и Бориске передавай приветы.

— Начальство? — небрежно мотнув обезьяньей головой в сторону Джерри, спросил «продавец». На Джерри он при этом даже не взглянул, но голосок его, как и всё обличье, был злобным, не по-обезьяньи злобным, а злобным, словно у мультяшного шакала Табаки.

Кулак, выросший на месте правой ладони Джерри, зачесался со страшной силой. Зудело неистово.

— Ага, — беззаботно соврала Марина, взметнула прощально руку: — Ну, всё, пока! — и, схватив Джерри, возмущённого до глубины души, буквально поволокла в сторону хз.

— Когда это я успел стать твоим начальником? — только и смог выдохнуть он, задыхаясь от благородной ярости, бурлившей внутри, как кипяток в железном чайнике, позабытом старенькой бабушкой на плите.

— Ты больше, чем начальник. Ты мой господин. Мой хозяин. Мой повелитель! — хитрющие глаза Марины смеялись. — Мой котик!

— Угу. Твой кротик. Слепой, как крот. Потому что ничего не вижу из того, что происходит вокруг. Что за мужик-то? — всё ещё обиженно буркнул Джерри, хотя ласковые, согретые невероятной женской силой слова уже зачаровали его, одурманили, лишили воли.

— Да... — Марина небрежно отмахнулась. — Так, старый знакомый. Смотри не вздумай ревновать! Я же твой котёночек, — она нежно ткнулась носом Джерри в плечо. — Миу?

Джерри нахмурился из последних сил, но предатели-губы уже сами собой разъезжались уголками вверх.

— Миу?! — ещё требовательней боднула Марина.

И Джерри сдался:

— Миу! — и разулыбался по-детски радостно, словно сельский дурачок, и притянул Марину к себе, и...

— Ну, всё-всё-всё! — одёрнула она его. — Уже к КПП подошли.

В эту ночь охранниками на хз дежурили Колёк и дядя Витя. Колёк, невзрачный паренёк, с лицом, напоминающим заброшенный деревенский дом, недавно вернулся из армии и устроился на хз, как он сам себя утешал, временно — пока не найдёт шикарную, непыльную работёнку, где и работать-то уже совсем, ну, совсем-совсем не придётся. Об этом мечтают все южные мужчины, а особенно — работающие охранниками.

Дядя Витя чертами лица, напротив, был благороден и даже сходилстовал с замечательным голливудским актёром Кристофером Уокеном. Но так как на хз мало кто об этом сходстве догадывался, звали дядю Витю исключительно дядей Витей, да и то — не без иронии, ибо слыл дядя Витя знатным алкашом. За ночную двенадцатичасовую смену, не щадя себя, выпивал он поллитровку водки и поллитровку дурного разливного коньяка. К утру ходил вдоль стен, отталкиваясь от них руками, и важно курил сигарету, вставленную в рот не тем концом. Или подрёмывал всё с той же дымящейся сигаретой в будке КПП на табурете.

Однажды Колёк застал его в этом интересном положении — спящего, с непотушенной сигаретой, да ещё и с длинной-предлинной соплём, свисающей из носа. Дядя Витя безмятежно посапывал, то втягивая эту ужасную соплю обратно в ноздрю, то снова вытягивая почти до пола. Зрелище то ещё. Не для слабонервных. Но Джерри и Санькам понравилось — хохотали до упаду, глядя снятый коварным Кольком на сотовый телефон семиминутный видеоролик. Колёк, посмеявшись вместе с грузчиками, а потом — с девчонками из булочно-кондитерского цеха, а после — с водителями-экспедиторами, а затем — с друзьями... о, миль пардон,

вот друзей-то у него как раз и не было, бабахнул ролик в интернет, где глумливое видео быстро набрало несколько сотен просмотров. Хорошо, что дядя Витя ничего об этом не знал, ибо жил с интернетом в разных реальностях.

Джерри и Марина поздоровались с охранниками и показали свои пропуска с вклеенными фотокарточками: так было заведено, хотя все прекрасно помнили друг друга в лицо. За КПП начиналась заповедная территория хлеба. По гулкой металлической дорожке, которую на хз почему-то именовали «трактом», Джерри с Мариной добрались до входа в цеха, где и расстались: Марина пошла на своё рабочее место — в булочно-кондитерский цех, а Джерри завернул в раздевалку грузчиков, где его уже ждали два весёлых Санька и только что открытая пенная «торпеда».

— Евгений! — радостно воскликнул Санёк Гордеев, тридцативосьмилетний двухметровый десантник, большой любитель пива, Валерия Меладзе и группы «ВИА Гра». Да и просто хороший человек, хороший — даже несмотря на столь странные, тем более для двухметрового десантника, музыкальные пристрастия.

— Женька пришёл! Держи пиво, — светло улыбнулся Санёк Брагин, загорелый житель горного посёлка, сорока двух лет, с очаровательным, истинно народным (немудрёным, но с хитрецей) чувством юмора, также немалый охотник до хмельных напитков, но уже покрепче, да и просто хороший человек, хороший — даже несмотря на то, что временами уходил в запой и терял очередную работу (с хз его в конце концов тоже «попросили»).

— Здорово, Санёк! — откликнулся Джерри и пожал протянутую руку. — Здорово, Санёк! — и пожал ещё одну руку, а потом, бережно взяв протянутую бутылку, сделал добрый глоток пива. — С началом рабочей ночи вас, товарищи грузчики!

— Не-е-е, Евгений, — протянул Санёк Гордеев, — что-то ты сегодня торопишься. Сначала покурить надо, а уж потом хлеба грузить. Правильно я говорю, Саня?

— Конечно! — твёрдо согласился Санёк Брагин. — Не хлебом единым жив человек. Айда, Женька, на тракт.

— Айн момент: только переоденусь.

Через несколько минут все трое уже сидели на улице, на небольшой лавчонке. Саньки одухотворённо и вдумчиво смолили, а Джерри с удовольствием вдыхал долетавший до него сигаретный дым. Он бросил курить с год назад, но тяга не прекращала партизанить в подсознании, докучливо нашёптывая: «Да что такого, ё-моё. Ну, всего одну затяжечку! Ну, пожалуйста! Будь же ты человеком! Ничего ж плохого не случится. Одну! И вернёшься к своему великому посту». Вздыхая, Джерри изо всех сил воздерживался

«от одной затяжечки», ибо знал, что вскоре после этого очнётся возле табачки с новоприобретённой пачкой сигарет в руках, и довольствовался постным пассивным курением.

Долго ли, коротко ли дымно медитировали они на лавочке, но за этим занятием их и застал кладовщик Борис, преодолевший отрезок тракта от КПП до входа в цеха энергичным, по-пионерски бодрым шагом, как и полагается маленькому начальнику. Был Борис невысок и плотен, уже с намечающимся брюшком, хоть и о двадцати восьми годах, с большой, похожей на постаревшего кролика головой, плотно вбитой в плечи. К подчинённым — возможно, потому что и сам вышел в кладовщики из грузчиков — он относился с пониманием и терпением, без руководящей блажи, никогда не кричал, не топал ногами и не грозил, но и распускаться им, как недовязанному свитеру в цепких лапках котёнка, не позволял. Вот и сейчас, перебросившись с несвятой троицей несколькими фразами, Борис решительно мотнул кудлатой головой и сказал:

— Так, мужики, гасите хабарики и — за работу.

И так хорошо, так спокойно и просто была сказана эта страшная фраза, что никто не обиделся и не расстроился. Через несколько минут Джерри и Санёк Гордеев, хлебнув в раздевалке пива, уже набирали вовсю по накладным первые рейсы, а Санёк Брагин грузил хлебами огромную вагонетку, чтобы спустить её по тракту к «Тонару», магазинчику-прицепу, откуда осуществлялась прямая розничная продажа хлеба с хз.

Лотковые вагонетки для хлеба никакого отношения, кроме разве что наличия колёс, к железной дороге не имели и катались по территории хз крепкими руками грузчиков-наборщиков. Были эти вагонетки двух типов: лёгкие, компактные и высокие, но неудобные в управлении и маловместительные, а также массивные и громоздкие, но более приспособленные к перевозке грузов; а хлеб, знаете, какой тяжёлый бывает?! Санёк Брагин, к примеру, сначала не знал и, когда первый раз вёз продукцию в «Тонар», на спуске с тракта не справился с управлением вагонеткой (второго типа), не удержал её и с ветерком и воплем понёсся вниз, зачем-то запрыгнув на хлебинное чудище с ногами. Врезавшись вместе с вагонеткой в «Тонар», отделался Саня шишкой на лбу, небольшим испугом и икотой, мучившей его, пока он торопливо собирал разлетевшиеся от удара с лотков на асфальт булки. Прежде чем складывать хлеб обратно на лотки, он бережно дул на него и очищал от грязи, если таковая вдруг налипла. И нормуль! К земле ниже — к хлебу ближе!

Смена Саньков и Джерри считалась одной из лучших за всю историю хз: работали дружно, рейсы собирали быстро и внимательно, много не пили, трудились почти без прогулов. Лишь од-

нажды забухали всерьёз втроём в посёлке Санька Брагина, на его даче, с шашлычком, водочкой и пивом. Да так разошлись, что на следующий вечер благополучно, всей грузчицкой дружиной, продаминали хлебозавод (из-за чего пришлось другой бригаде попотеть вне очереди). А потом и на следующую смену не хотели выходить, но под страхом лишения премии, составляющей две трети от зарплаты, всё же выползли и отпахали две ночи подряд. В итоге руководство хз ограничилось устным внушением, что кому-то, наверно, покажется странным и недостаточно суровым наказанием.

Но видел бы этот кто-то других грузчиков-наборщиков с хз! Несмотря на вполне приличную зарплату, шли на должность «менеджеров по переносу тяжестей» в основном совсем опустившиеся, безнадёжные пропойцы, чуть ли не бомжи (был ещё, правда, как-то раз наркоша с Краснодара, в первую же ночь уснувший в шкафу столь крепко, что никто не смог его разбудить — погрузили в приехавшую скорую спящим). Вонючие, вечно вдрызг пьяные, редко вспоминающие вовремя прийти на смену, а то и вовсе забывающие об этом, от тяжёлого физического труда «синие воротнички» быстро выдыхались, чахли, вконец изнашивались и теряли последние силы. Мало у кого из них получалось продержаться до первой зарплаты. А уж если кто и дотягивал до этого светлого, торжественного дня, то, едва ощутив в дрожащих руках пятнадцать радующих глаз и сердце тысячных купюр, тотчас и пропадал пропадом.

Вероятно, поэтому, стоя в очереди в кассу, Санёк Гордеев обыкновенно мурлыкал себе под нос:

Этот день зарплаты порохом пропах,

Это праздник со слезами на глазах...

Любил он невинно проверять слова в песнях, ой любил — хлебом не корми! Да так, чтоб неожиданный поворот застал случайного слушателя врасплох. Бывало, к примеру, запоёт негромко с детства всем знакомое:

Тра-та-та, тра-та-та,

Мы ведём с собой...

Да вдруг как завоет, даже не глянув на огромную, повисшую прямо над головой полную луну:

...собаку-у-у-у!

И проходящий мимо Джерри, словно деревце от сильного ветра, загибается от хохота, роняя на тракт накладную, а Санёк изумлённо пожимает плечами:

— Да ладно, Женёк! Что, действительно, смешно, что ли? — и сам легонько посмеивается. А потом затягивает, как ни в чём не бывало, следующую песню, и кажется Джерри, что не такая уж это тяжёлая участь — грузить булки по ночам.

Помимо устного и воистину народного творчества коллеги, помогала Джерри коротать неповоротливые рабочие часы и мысль, что Марина рядом (когда их смены совпадали), волнуяще близко — вот за этой стеной! Иногда он даже заходил к ней в булочно-кондитерский цех, якобы для того, чтобы взять на себя и Саньков дармовых отбракованных пирожков с капустой или стужённой. Сохраняя на лице невозмутимую, как будто в сердце не грохотали фейерверки обжигающей нежности, героическую улыбку партизана, не выдавшего секрета под страшными пытками, Джерри перебрасывался с работницами цеха ничего не значащими фразами, а украдкой — ловил короткие, но такие ласковые, такие выразительные послания ненаглядных зелёных глаз, послания, адресованные ему одному, ему, счастливчику, ему, избраннику.

После полуночи булочно-кондитерский цех хз в полном составе выбирался на тракт перекурить, где к ним присоединялись, бросая вагонетки и рассовывая накладные по карманам, грузчики-наборщики, и Марина неизменно оказывалась рядом с Джерри, прижимаясь к нему, но так, чтоб остальные ничего не замечали — вроде как от тесноты маленькой скамеечки. Джерри, соревнуясь с луной, светился от удовольствия.

— Давай пострижём? — дразнила Марина, проводя рукой по его длинным чёрным волосам.

— Зачем это? — удивлялся Джерри.

— Будешь красивым мальчиком.

— А сейчас, значит, некрасивый?

— Короткая стрижка тебе больше пойдёт! Давай пострижём!

— Да ты это всерьёз? — уже мрачнел он. «И она туда же... Как так?!»

— Конечно, всерьёз, — смеясь одними глазами, говорила она. — Хочешь я сама тебя постригу? Я умею.

— Угу, ага, давай, — он оскорблённо хмурился, — давай пострижём, вынем серьгу из уха, сведём татухи и сделаем лоботомию. Получится красивый мальчик. Как раз в твоём вкусе.

— Что такое лоботомия? — Марина невинно похлопала ресницами.

«Однако...» — ехидно хохотнуло в голове у Джерри. Он потёр лоб.

— Э... Ну, как... Ты что, взаправду не знаешь? «Полёт над гнездом кукушки», Кен Кизи, Джек Николсон, все дела... Нет? Пфф... Так... А как же: «Ветер в поле закружил, ветер в поле закружил... Поздний дождик напугал...» А? А? — и он с надеждой заглянул девушке в глаза, но та в ответ посмотрела на него как на полоумного. — А, забей! — Джерри великодушно махнул рукой. — Хлеб всему голова! — зачем-то глупо добавил он и усмехнулся.

С утра, держась, вопреки надоевшей конспирации, за руки, Джерри и Марина устало брели по набережной в направлении «бетонного капкана».

В некоторых кафе до сих пор сидели-досиживали истаявшую ночь вконец ослотившие «бздыхи» (это презрительное словечко для отдыхающих придумала местная молодёжь, но аборигены постарше по-прежнему величали белых господ — заезжих кормильцев ласково, с любовью и нежностью — «отдыхайками»). Непривычно пустые аллеи дышали утренней свежестью и спокойствием. Слышно было даже, как морские волны аритмично накатывают на берег. По вечерам здесь в каждом шантане, стараясь перекрыть коллег из соседних заведений, надрывался свой горлодёр-заунывец, коверкая «Песню о друге» или рыдая «Сиреневый туман», или нананакая «Молодую», но ранним утром, даже в летний сезон, можно было застать набережную врасплох — тихой, покорной и обнажённой.

— Ты в курсе, что её каждое утро с мылом моют? — с наивной гордостью спросила Марина.

— Да ладно? — усмехнулся Джерри, глядя на как раз подвернувшееся по дороге внушительное пятно засохшей блевотины (отвергнутая детским организмом сахарная вата — как «есть дать»!).

— Уберут! — убеждённо сказала девушка, тоже заметившая фрагмент современного искусства под ногами. — Ещё просто слишком рано. Обязательно уберут. Знаешь почему? — теперь уже торжественно спросила она.

— Почему же?

— Потому что каждое утро мэр идёт на работу пешком — по набережной. Вместе со своими помощниками. Каждое утро!

— Какой молодец... — пробормотал Джерри, уже слышавший эту историю от отца. Вот только помощников мэра Владимир Иванович называл «прихлебаями», а самого мэра не иначе как «мэрином».

Марина, увлечённо жестикулируя, всё лопотала и лопотала, вдохновенно повествуя о том, как два года назад посёлок стал городом и как давно этого ждали жители посёлка, сразу превратившиеся в горожан, и как это всё важно и замечательно, когда Джерри, подхваченный внезапным порывом, разлаписто сграбастал её, притянул к себе и поцеловал прямо в льющиеся без остановки слова.

— Медведь! — возмущённо вырвалась она и обиженно надулась. — Ты совсем меня не слушаешь, да? Только об одном и думаешь!

И хотя он, разумеется, именно о том об одном и думал, тем более что Владимир Иванович уже ушёл на работу и вернуться должен был не раньше шести вечера, пришлось Джерри явить изумлённому миру чудеса изощрённой дипломатии. Марина, преисполненная негодованием, грозно молчала, и Джерри никак не

мог понять: то ли она действительно обиделась, то ли играла с ним. Грань эта была столь же тонка, сколь миг перехода короткого южного вечера в непроницаемую темноту южной ночи. Джерри чувствовал себя настоящим кретином и всё говорил, говорил, говорил. Но когда они наконец-то забрались на семнадцатый этаж, и он закрыл дверь, а она зашторила окна в комнате и, смеясь, скинула с кровати на пол зелёное покрывало с вышитыми на нём белыми цветочками, слова уже были ни к чему.

Ближе к вечеру, сладко выпавшись в объятиях друг друга, они попили невкусный растворимый кофе, сдоблив его беззаботной болтовнёй и приготовленными Джерри в микроволновке бутербродами с сыром и копчёной колбасой. Умиротворение, подогретое удовольствием, приятно обдувало их лица, и даже солнечные лучи, укутавшись в бежевые кухонные занавески, не жгли беспощадно, как днём, а нежно пригревали. Было так хорошо, что хотелось ухватить происходящее и остановить хотя бы на мгновенье, но не так, как это сделал Генрих Фауст, а исключительно из эгоистических побуждений — чтобы насладиться легкокрылым счастьем в полной мере. Да только как счастье не хватай — всё равно вырвется и убежит.

Вот и Марина убежала, привычно отклонив предложение проводить её. Джерри, выйдя на балкон и подождав немного, увидел подругу внизу: она шла быстро, с гордо поднятой головой, словно только что одержала победу в сражении. Проводив её взглядом, он вернулся на кухню, достал из холодильника бутылку пива, включил в плеере первый альбом Саймона и Гарфанкела и устроился с недавно начатой книжкой на стуле.

Однако диалог Иоганнеса Крейсера с маэстро Абрагамом вскоре был бесцеремонно прерван настойчивым трезвоном телефона.

— Сынок! Привет! Что делаешь? — услышал Джерри неестественно бодрый голос отца и понял, что доселе тихо урчавший разомлевшим котом Мурром вечер только начинает разгоняться по-настоящему, набирая уже механические — не кошачьих масштабов — обороты. «Отчаянное веселье...» — кольнула память, и карусель, в которую, по сути, и было всегда жестоко закольцовано происходящее, закружилась.

— Пиво пью, — бесхитростно ответил Джерри.

— Как?! Без меня?! — вполне искренне возмутился Владимир Иванович.

— Только начал. Ты пока ничего не пропустил. Присоединяйся.

— А может, ну его — это пиво? Ни уму, ни сердцу, — закинул наживку многоопытный Владимир Иванович.

— Можно и чего покрепче, — тут же проглотил наживку доверчивый Джерри.

Спустя полчаса, устроившись возле телевизора, отец с сыном смаковали излюбленный коктейль Владимира Ивановича — водку, вполовину разбавленную кофейным «Бейлисом». Сие лукавое сочетание грубой сорокоградусной силы с кроткой сливочной сладостью пило вдохновенно — на одном дыхании и было гораздо приятнее того противоестественного напитка с привкусом тухлой воды и спирта, что пах к тому же мокрой половой тряпкой и почему-то именовался в России «пивом». Незаметно, под треск новостей и документальных передач разных каналов и в такт непринуждённой беседе, чинно удалились в вечность два часа, литр водки и литр ирландского ликёра. Владимир Иванович, ещё по дороге домой успевший перехватить несколько стопок местного разливного «бренди», заметно отяжелел. Речь его замедлилась и потеряла связность, сбитый прицел взгляда плутал между экраном телевизора, где шла передача о космонавтах, и потолком, на коленях испуганно замерла тарелка с остывшими пельменями.

Джерри поглядывал на родителя с улыбкой, странной такой улыбочкой, в которой волшебным образом умещались, нисколько друг дружку не стесняя, любовь, почтение, снисходительная жалость и толика страха.

— ...а почему бы и нам не сделать этого?! Почему бы... не отправиться... в космос?! — бредово бормотал между тем Владимир Иванович. — Ты только представь: отец с сыном летят в космос! Женька, это сильно, Женька!

— Да в чём вопрос! Полетели, — подыграл Джерри, пока ещё не настолько пьяный, чтобы дискутировать на поднятую аж до небес тему.

Владимир Иванович довольно кивнул, едва не уронив тарелку с продрогшими пельмяшами на пол, и потряс своим большим кулаком в воздухе:

— Женька! Отец и сын... в космосе!

Никогда прежде они не были столь близки — отец и сын, собирающиеся в космос. В этот свой приезд Джерри неожиданно понял, что это возможно — заслужить уважение Свергуна-старшего. Не вынужденную (из родственных соображений) и несколько брезгливую любовь, а именно уважение. Пожаловав в логово свирепого таксиста заметно окрепшим и возмужавшим, способным в любой момент подтянуться больше двадцати раз на перекладине, Джерри заметил мелькнувшее на обыкновенно каменно-бесстрастном отцовом лице удивление. Уже немало! Но когда Джерри, не убоившись тяжёлой физической работы, отпахал первый месяц на хз и проставился с полочки, Владимир Иванович, не скрывая изумления, хмыкнул: «Я думал, сынок, ты сломаешься

после первой же смены. Однако». Сердце Джерри после слов отца радостно подпрыгнуло в груди и запело от незнакомого доселе чувства — гордости за самого себя. Как много значила для него эта незатейливая похвала, как преобразила она всё вокруг и внутри! Но и на этом Джерри не остановился, а решил сразить Владимира Ивановича наповал — и нашёл себе женщину. На юге. Сам. Реально существующую. И даже представил её отцу. После этого растроганный Владимир Иванович готов был простить вставшему на правильный путь отпрыску даже его отвратительно длинные волосы и глупую серьгу в ухе. А вот это уже казалось чем-то невероятным и походило скорее на научную фантастику, нежели на настоящую жизнь. Забравшись на недостижимую прежде вершину взаимопонимания, гораздо более далёкую, чем космос, оба — отец и сын — были удивлены. Разве такое возможно?

«Разве такое возможно?» — рассеянно раздумывал Джерри, тепло глядя на так и заснувшего с тарелкой на коленях отца и пытаясь собрать из разлетающихся мыслей ответ.

Бедный глупый Джерри! Мышонок из мультика куда умней тебя! Неужели ты не замечаешь, как идеально, как неправдоподобно идеально всё складывается?! Неужели ты не чувствуешь подвоха в этом показном милосердии судьбы?! Как, как, позволь спросить тебя, можно принять треск хрупкого льда под ногами за звуки строящегося Дома, Дома, в котором все будут счастливы?!

Но Джерри не слышит! Джерри допивает чашку чёрного кофе, Джерри включает в плеере первый альбом Саймона и Гарфанкела, Джерри, оставив храпящего отца под присмотром неугомонного телевизора, отправляется на набережную. Джерри счастлив! У Джерри всё хорошо.

Side two: «Go home, outsider!»

Безобразная мясистая голова медленно скользила в тоскливом ноябрьском небе, огромной мокрицей переползая с облака на облако, но не покидая при этом непропорционально хлипких плечей. Джерри, глядя вверх, на это монументальное уродство, долго подыскивал подходящую ассоциацию, пока не прошептал: «Гаргуля. Гаргуля Соборной площади». И пусть по точности ассоциация была так себе, но нечто фантазмагорически демоническое из эпохи, когда памятник горбом перекосил город, ухватывала.

— С чего вдруг тебе такая честь? — уже вслух спросил у головы Джерри.

Нечитаемое, а оттого вдвойне лукавое выражение лица, парящего в небе, нисколько не изменилось. Да и во всей позе памятника — в этом недошагнувшем правой ногой обрюзгшем теле, в

левой руке, лениво теребящей ремень на застёгнутом пальто, и в правой, прищепкой вцепившейся в непомерных размеров кепку, — застыло столь нарочитое и кондовое кокетство коммунистического руководителя, что ждать от этого проходимца, пролезшего в историю по партийному блату, правдивого ответа, даже если он его и мог бы дать, было попросту глупо.

И Джерри ждать не стал — побрёл дальше, тем более что злобный ледяной ветер, лихачивший по самой большой площади Европы, никак не давал нормально прикурить. А красно-белую пачку «Мальборо» и чёрную, как неожиданно затянувшаяся на шее жизненная полоса, зажигалку «Крикет» Джерри купил уже с полчаса назад — сразу по окончании телефонного разговора с Саньком Брагиным. Невозможность не закурить после услышанного никаким сомнениям не подлежала, была неоспорима, как наступившая в родном Джеррином городе поздняя осень, как нудно покрапывающий за воротник пальто дождик, как выложенная почерневшими прелыми листьями лужа, в которую Джерри основательно залез «казаком», но даже и не заметил — шёл, опустив голову, куда глаза не глядят, с зажатой в пальцах сигаретой. Именно так — с сигаретой. Да и вы бы закурили, узнай вдруг такое. В конце концов, лучше закурить, чем рехнуться. Лучше закурить, чем кричать от боли на этих стылых улицах. Лучше закурить...

А ведь тогда, ещё на юге, не закурил — удержался! — тем памятным вечером, когда, криво усмехаясь, с большой сумкой на плече, выбрался раз и навсегда из «бетонного капкана». Ссора Джерри с Владимиром Ивановичем началась из-за сущего пустяка (на следующий день Джерри так и не смог вспомнить — из-за чего точно), но неожиданно привела к тому, что отец с сыном встали, тяжело дыша, напротив друг друга со сжатыми кулаками. Владимир Иванович тихим сердитым голосом пригрозил «дать в зубы». Джерри, не успев удивиться своей бестолковой щенячьей храбрости, громко пообещал «в долгу не остаться». Это уже потом он со смехом и ужасом представил этот короткий бой и разбитое в кровавую котлету лицо — своё, разумеется. Но в действительности никакого боя не случилось: Владимир Иванович изумлённо, словно на незнакомца, взглянул на сына и уже без эмоций, вяло и скучающе произнёс: «Собирай вещи и...» — ну, а дальше следовало сочное забористое словечко, превосходно заменившее собой «уходи».

Спокойно, деловито Джерри собрал сумку. Оставил ключи от квартиры на комоде в коридоре. Весело насвистывая, бодрым шагом покинул «бетонный капкан» и даже не оглянулся ни разу. Дунал-подумывал по дороге к хз: купить сигарет или нет? Покурить, конечно, тянуло, да ещё как! Но мягкое, умиротворяющее тепло,

непонятно откуда берущее истоки, разливалось внутри, будто после большого глотка водки, а вместе с ним, с этим странным теплом, росло-нарастало чувство... безграничной свободы! И не хотелось, ну, вот совсем не хотелось портить эту неожиданную свободу, коверкать, ограничивать её старой дурацкой привычкой.

Спокойствие, с которым Джерри принял случившееся, казалось ему самому куда более естественным, чем тот необычный взлёт в отношениях с отцом, что предшествовал разрыву. Всё вернулось на круги своя (как когда-то — в случае с короткой, скоропостижно скончавшейся признательностью Андрея Ермолина), и фатализму, направлявшему это бесконечное возвращение, вполне соответствовал Путь, который выбрал Джерри, — быть нелюбимым, неугодным, не таким, как надо. Жалкая попытка обрести что-то дорогое и важное, утерянное в детстве, с треском провалилась, словно ушёл под воду, проломив хрупкий лёд, так и не достроенный Дом, в котором все были бы счастливы. А и нечего строить Дом — на льду!

Добравшись в тот вечер до хз, Джерри забросил сумку с вещами в шкаф и пояснил Санькам, что отец его выгнал из дома. «Может, тебе, Женёк, сигарету?» — участливо спросил Саня Гордеев и даже достал одну из мятой пачки. «Нет, спасибо, — нахмурился Джерри. — Лучше подскажи, где бы хату снять на оставшиеся до зарплаты две недели?» — «Почему на две недели? — удивился Санёк. — А потом — что?» — «Потом поеду восвосяси, в родные пенаты», — ответил Джерри и с тоской понял, что так и будет. «Женька, зачем снимать? — вступил в беседу Саня Брагин. — Живи у меня на даче! За так, само собой, никаких денег не надо». Джерри непонимающе уставился на коллегу: на юге, да ещё и «в сезон», не принято было жить «за так». Многие из местных, наоборот, сами старались на лето съехать куда-нибудь с семьёй — в полуразвалившийся дачный домик или к сварливой пенсионерке-тёще в однокомнатную квартиру, — лишь бы сдать жильё отдыхающим и слупить халявных денег. «Да зачем так далеко ездить? Это ж в горы забираться каждый раз, — неторопливо произнёс Санёк Гордеев. — Живи уж лучше у меня: здесь два шага от хлебозавода будет». Джерри, подумав, кивнул и спросил: «Сколько, Саня, за две недели получится?» — «Сколько чего?» — не понял тот. «Денег с меня — сколько?» — «Да нисколько, Жендос! С ума, что ль, сошёл», — отмахнулся Санёк. «Я так не могу...» — начал было протестовать Джерри, но Санёк Гордеев резко оборвал его: «Всё, решено! Поживёшь у меня. Про деньги закрыли тему: больше не хочу об этом слышать». — «Ладно», — тихо сказал Джерри и отвернулся, потому что непрошенные слёзы наворачивались ему на глаза.

— Эй, что с тобой, баран? — услышал Джерри участливый (но не по-человечески, а по-гоповски участливый, если понимаете) голос и одновременно почувствовал несильный тычок в плечо.

— А? — беспомощно переспросил он, очнувшись под скорбно морсящим дождиком, с уже размокшей сигаретой в руке.

Двоясь в размытой перспективе ноября, прямо перед глазами маячило чьё-то круглое, щекастое лицо. На какое-то дикое мгновение Джерри показалось, что это партийный функционер слез с постамента и нагнал своего хулителя на самом краю Соборной площади. Устало потерев глаза, Джерри понял, что плачет, а уже после — разглядел перед собой обыкновеннейшего, из серийного выпуска, быдлана.

— Что с тобой? — милосердно сокращённо, но зато с ещё более пренебрежительной и злой заботой повторил быдлан свой вопрос.

— Да ничего, — пробормотал Джерри. — Прикурить вот не могу, — он посмотрел на сигарету и отшвырнул её в лужу.

Быдлан хмыкнул с презрением, пожал плечами и гордо удалился, оказав ближнему посильную помощь. А Джерри, даже не посмотрев благодарно вслед, достал другую сигарету и, изловчившись, прикурил, прикрыв огонёк зажигалки от неистового ветра за воротом пальто. От первой же затяжки голова пошла кругом. Красное, сюрреальное в этой дождливой серости, сияние светофора поехало вправо, оставляя за собой размазанную малиновую колею. Джерри чуть покачнулся, кашлянул и закрыл глаза. А открыв, увидел на светофоре зелёный. Перешёл дорогу, выщёлкивая «казаками» брызги из асфальта. Понуро побрёл дальше, даже не задумываясь о том — куда. Да и разве это было важно? Пусть ноги сами ведут. В них правды больше, чем в голове и сердце.

Горсть минут спустя он пересёк ещё одну дорогу. От выкуренной сигареты немного подташнивало. Внезапно телефон в кармане пальто разразился возмутительно яркими и живыми, столь неподходящими к погоде «Stooges», и Джерри выхватил его, чуть не уронив из обезумевших пальцев в очередную лужу под ногами, но, увидев, что сообщение — не от неё, нет, не от неё! — от Костромы, разочарованно выдохнул.

«Загляни хоть сегодня, о великий южный хлебогрузчик, к нам на музыкальный огонёк, а то я уже can't see your face in my mind. Верим. Надеемся. Любим. Ждём!» — и адрес репетиционной точки, где которую неделю Том с Костромой играли с юным гитаристом из развалившихся «Cannabis Seeds». Джеком. Или Джоном. Или Джеймсом. «Да и какая к херам разница?!» — раздражённо оборвал призадумавшуюся память Джерри.

После приезда с юга на музыку всё равно не оставалось ни сил, ни времени (Джерри даже так и не удосужился ни разу встретиться-

ся ни с Томом, ни с Костромой) — лишь на нескончаемые, издательски безнадежные, кишкомотные поиски работы. Ведь когда Джерри только-только вернулся в родной город, в такой большой, прогрессивный и высокоразвитый, по сравнению с покинутым южным захолустьем, он ещё наивно полагал, что найти сносную работу — на первое время и хорошую, уже работая на сносной, не составит никакого труда. Без труда — вытасишь и рыбку из пруда, как любил шутить Кострома. Но по миру брёл пьяной разбитной походочкой, громя надежды и сметая, словно крошки со стола, человеческие судьбы, очередной пресловутый экономический кризис, и рыбка в пруде вакансий осталась исключительно несъедобная. Вонючая, гнилая такая рыбка. За работу грузчиком платили в два-три раза меньше, чем на южном хз! И работодатели, усмехаясь и пожимая плечами, поясняли с плохо скрываемым удовольствием: «А что вы хотите? Кризис же». Но на такие деньги и одному было не прожить, не говоря уж о том, чтобы...

«...взять меня с собой?» — Марина смотрела на него сияющими глазами через столик с двумя кружками светлого пива. С террасы, на которой расположилось кафе, был хорошо виден городской пляж и море, и всё вокруг было залито солнечными лучами, утопало в полуденном зное.

«Нет, если честно, не думал», — растерявшись, промямлил Джерри. Он только что рассказал Марине о своём грядущем отъезде. Но он и правда не успел ещё осознать по-настоящему, как скоро это произойдёт. Оставшиеся две недели казались огромным сроком.

«А ты подумай! — с нежнейшей улыбкой подстегнула Марина. — Потому что я влюбилась в тебя, как кошка!» — и она, сложив руки крест-накрест на столе, опустила на них голову. И из этого положения хитро взглянула на Джерри.

«Влюбилась... в меня?» — Джерри открыл рот от изумления. Он и предположить не мог, что всё зайдёт так далеко.

«Да! И хочу поехать с тобой! — она плавно высвободила одну руку из-под головы и сжала ладонь Джерри маленькими тонкими пальчиками. Осторожно сжала, легонько, словно боялась поранить. — Не оставляй меня здесь одну, котик!»

«Мне действительно надо подумать», — прошептал Джерри в смятении. Он вдруг почувствовал, как глубоко внутри лопнула надёжная до сих пор броня и в образовавшуюся брешь стала затекать какая-то совершенно невыносимая, мучительная истома.

Целую неделю страдал бедный интеллигент-грузчик, «думая» над вставшей перед ним дилеммой, прокручивая ситуацию в уме и так, и эдак. Даже созвонился с матерью и робко спросил, как она

отнесётся к тому, что он приедет с юга не один. На что тотчас получил гневную и возмущённую отповедь, разогнавшуюся до крика и слёз, разозлился не на шутку сам и сбросил неудавшийся разговор, а на незамедлительно последовавшие вызовы отвечать не стал. В квартире матери, таким образом, пожить с Мариной не удастся. Где же тогда? Денег, отложенных Джерри за время работы на хз, хватит на два-три месяца совместного полуголодного существования в плохом съёмном жилье на окраине города. «Но я же сразу устроюсь на работу! — парировал юный звенящий голосок в голове отчаянно распереживавшегося грузчика. — Да и Марина что-нибудь подыщет. Вдвоём — справимся! Удача любит храбрых! Все молодые пары проходят через трудности и лишения, но это только закаляет их чувства друг к другу!» — «Совсем обезумел? — испуганно прошептал слабый, усталый голос-оппонент в ответ. — И сам на дно канешь, и девчонку погубишь! Ты же нищebroд и неудачник по жизни. Неужели ты думаешь, что теперь что-то изменится? Брось, брось, брось. Нельзя! Анти!» — «Да как же это я «брошу»?! Марину бросить?! Одну-единёшеньку в этом пропащем городке-посёлке? Несчастную и так настрадавшуюся за свои двадцать лет девочку? Она же надеется на меня... любит меня! Нет! Я буду сражаться за свою любовь!»

Героические баталии Джерри с самим собой часто разыгрывались под аккомпанемент Валерия Меладзе, клипы которого Санёк Гордеев гонял по кругу, прихлёбывая разливное пиво и похрустывая сухариками со вкусом холодца и хрена. Жили коллеги-грузчики в одной комнате малогабаритной трёшки. В соседней комнатке расположились Санины родители, люди преклонного возраста, а в той, что ближе к кухне, — Санина сестра с мужем и двумя детьми. Поначалу Джерри боялся и представить, как же он стеснит семью коллеги и свидетелем (а скорее всего, и причиной) скольких громких скандалов и распрей невольно станет. Но за две недели, что он провёл у добрых, отзывчивых самаритян, не прозвучало ни одного грубого слова, ни один сердитый взгляд не перекосил пространства квартиры: эти люди умели жить дружно и оставаться гостеприимными хозяевами, несмотря на тесноту и бедность. «Настоящая семья! — тихо радовался Джерри, потому что никогда ничего подобного не видел. — Значит, это возможно — в принципе. Не у всех родители расходятся, ломая судьбы детям. Не все любящие пары обречены на расставание».

Он принял решение. И вмиг опьянел от накатившего облегчения, которое громоздким катком юношеского идеализма утрамбовало остатки сомнений в надёжный асфальт уверенности: всё будет хорошо! Надо верить в себя, и всё получится! Разве может быть как-то иначе?!

«Я беру тебя с собой!» — гордо сообщил он Марине следующим же вечером у ворот хз. И аж зажмурился. Но ни объятий, ни жарких поцелуев, ни даже возгласов счастья не последовало.

«Я рада... — тихо, с монашески кроткой улыбкой сказала Марина, а затем несколько замялась: — Но... только давай ты поедешь чуть раньше и... всё подготовишь к моему приезду? Устроишься на работу, снимешь квартиру», — говоря так, Марина продолжала мило улыбаться, но смотрела куда-то в сторону гор.

«Это разумно», — потерянно пробормотал Джерри. «И расчётливо!» — рассмеялся некто внутри, с интересом наблюдавший, как юный идеалист провалился одной ногой под лёд как раз в том самом месте, где утонул недостроенный Дом. Что-то в этой расчётливой «разумности» подруги было не так. Какая-то фальшь... Но ещё хуже — вспыхнувшая в душе Джерри острой, нестерпимой болью обречённость. Именно тогда, в тот краткий миг, он с обжигающей ясностью понял, что, уехав, больше никогда не увидит Марину. Хотя тут же и отмахнулся гневно от этого непрошеного понимания. Надо бороться! Бороться за общее будущее!

— Идиот! — с горькой усмешкой крикнул Джерри и, вздрогнув, очнулся возле ещё одного памятника, к которому привели его по-ноябрьски озябшие ноги.

«Борцам за установление советской власти...» — начал было читать он надпись на гранитном боку, но тут взгляд его нечаянно скользнул по самой скульптурной композиции и, споткнувшись, замер в благоговейном ужасе.

Вряд ли у кого-нибудь повернулся бы язык обозвать этот памятник «уродливым». Чтобы описать нечто, злобно раскорячившееся пред Джерриными глазами, необходим был гораздо более сильный эпитет, пока ещё, вероятно, не придуманный человечеством.

«Это чем же, интересно, надо так убиться, чтобы сотворить подобное?» — оторопело подумал Джерри, разглядывая высокий гранитный постамент неправильной формы — рваную болезненную загогулину, отдалённо напоминающую бородку ключа. Три жутких головы, выросшие на закорюке, были перекошены ненавистью. Посередине — красноармеец в будёновке со свирепо разверстым в вопле ртом, широко открытыми, аффектированными, полными ярости глазами, несомненно, видящими перед собой классового врага, коего необходимо любой ценой уничтожить, растерзать, растоптать сей же момент без суда и следствия; с той стороны от красноармейца, что ближе к реке, — усатый комиссар с дебиловато приоткрытым ртом, утомлённо прищуренными глазами, в фуражке с красной пентаграммой, невменяемое выражение лица его передаёт крайнюю степень опьянения то ли алкоголем, то ли наркоти-

ками, то ли властью, то ли кровью человеческой; с другой стороны от красноармейца — угрюмый (но хотя бы с закрытым ртом!) мужик в папаше, видимо, символизирующий собой крестьянство. Вся композиция памятника дышала такой концентрированной и неприкрытой злобой, что хулиганская надпись, выведенная на боку постамента красной краской: «Горыныч» — смотрелась как родная.

Джерри внезапно охватила сильнейшая усталость, словно его придавил гранитный монумент творящегося дня, состоящий из новости, которую сообщил Санёк Брагин по телефону (Марина вышла замуж), и всех этих inferнальных высеров соцреализма, и голодным вампиром вернувшейся дряной привычки, и пронизывающего насквозь ветра, и холодного дождя, уже приправленного мокрым снегом, и... Джерри закурил ещё одну сигарету, учась забывать, учась забывать, но память, безжалостная, глупая, кровотокающая, безумно хохоча и рыдая, снова закинула его на юг, теперь на железнодорожный вокзал города-героя Новороссийска.

«Так-так-так, молодой человек, почему нарушаем?»

Джерри оторвался от почти выпитой пол-литровой бутылки гадкого южного пива и, жалко шмыгнув носом, с недоумением уставился красными от слёз и простуды глазами на подкраившегося к скамейке очень тихо, несмотря на внушительных размеров пузо, мордатого прислужника закона.

«Сержант Борисенко, — не дождавшись ответа, представился мордач. — Употребление спиртных напитков на территории железнодорожного вокзала запрещено. Пройдёмте!» — и короткие, но пухлявые конечности с грязными ногтями лениво поманили нарушителя.

Прилипнув бессмысленным, словно загипнотизированным, взглядом к ухарски сдвинутой на затылок фуражке (а возможно, дальше она на ожирелую сержантскую голову и не налезала), Джерри медленно поднялся и осторожно пристроил недопитую пивную бутылку на мусорную вершину переполненной урны. Происходящее — а именно эта неожиданная, нелепая и малоприятная встреча с брюхастым сержантом Борисенко — в прощально-возвышенный и, разумеется, трагический день одинокого отъезда домой вписывалось плохо... неуклюже как-то... да вообще ни черта не вписывалось!

«Пройдём, пройдем!» — уже недовольно хмурясь, поторопил Борисенко. И даже потыкал сложенными в копытце пальцами Джерри в спину, подталкивая к зданию железнодорожного вокзала.

Но едва они оказались за первой стеклянной дверью, в небольшом тамбуре, как сержант придержал Джерри, уже открывавшего вторую дверь, ведущую в здание вокзала, за плечо.

«Тормозни. Здесь потолкуем. Паспорт давай. Сумку сюда, — Борисенко махнул рукой вниз. — И показывай, что в ней. По одной вещице доставай и в уголок ложи», — тонкие губы сержанта неожиданно появились из подвижных жировых складок и извернулись в миниатюрную, но довольно пакостную ухмылочку. Было заметно, что предстоящая процедура ему привычна, но всё равно доставляет удовольствие.

Джерри отдал паспорт, скинул сумку на пол, расстегнул молнию и, постелив в указанном месте пластиковый пакет, принялся складывать на него майки, рубашки, джинсы, носки и прочее барахло, устало и заторможенно отвечая на вопросы сержанта о том, кто он, откуда, где жил и чем занимался на юге, куда едет и на каком поезде. Время от времени мимо, минув две двери, проходили люди, но на достающего вещи Джерри поглядывали без особого интереса, а на заскучавшего и уже позёвывающего сержанта и вовсе старались не смотреть.

При появлении из сумки зелёного цвета мыльницы Борисенко несколько оживился: «Что внутри? Открывай! — но, увидев тощий кусок мыла, разочарованно выдохнул, скривился и буркнул: — Да положи ты её уже! Так. Руки подыми!»

Ощупав Джерри быстрыми, профессиональными движениями, Борисенко наткнулся на потайной карман, вшитый в джинсы с внутренней стороны, прямо под ремнём, и довольно воскликнул: «Ну-ка, ну-ка! Что у тебя там? Закежь-ка!»

Джерри послушно расстегнул ремень и ширинку, а затем и молнию на кармашке, и вытащил из него завёрнутую в прозрачный целлофановый пакетик толстую пачку тысячерублёвых купюр — всё, что накопил за время работы на южном хлебозаводе.

Свиные глазки сержанта Борисенко при виде денег недобро загорелись, куцые брови потекли вверх, подтакиваемые волной, пущенной вздувшимися щеками, дыхание от волнения сбилось... но опытный страж порядка взял себя в руки и даже залез одной из них в обнаруженный кармашек, чтобы удостовериться в наступившей внутренней пустоте.

«Ну, что, гражданин Свергун... — Борисенко скосился в Джеррин паспорт, — Евгений Владимирович! Что делать-то будем?»

Джерри непонимающе вытаращился на сержанта.

«В отделение поедем? — подсказал Борисенко, многозначительно приподняв и так забравшиеся слишком высоко бровки. Узкая полоска сержантского лба при этом тревожно сплющилась, словно голова дала трещину. — Или на месте решим... как-нибудь?»

Но Джерри молчал, плохо соображая, что от него требуется, из-за уже упомянутой простуды и растущей температуры, а также

из-за утреннего абсента, выпитого на автовокзале перед отъездом в Новороссийск вместе с двумя Саньками (Марина не смогла приехать проводить и попрощалась по телефону), ну, и, конечно, из-за злополучной бутылки мерзкого тёплого пива. Он продолжал паяться на сержантскую фуражку, не в силах избавиться от навязчивой мысли: «Как она вообще держится? Почему не падает?!»

Борисенко тяжело вздохнул и, переведя взгляд за стеклянную дверь, на дорогу, по которой только что проехал троллейбус, терпеливо пояснил:

«Если поедem в отделение, а оно о-о-очень... — секундная пауза, циничная улыбка, быстрый, но внимательный взгляд. — Очень далеко отсюда, да и пока оформим правонарушение... короче, на свой поезд ты не успеешь. Деньги за билет не вернут. Тебе это надо?»

«Послушайте... — Джерри запнулся, нахмурился, покачал головой и вдруг выпалил: — Я только что расстался со своей девушкой! Наверно, навсегда... Я поссорился с отцом... Я...»

«Угу, угу, — оборвал его Борисенко и понимающе кивнул с комично-серьёзным выражением на лице: — Щаз разрыдаюсь прям тутa. Короче, желание договориться есть или двигаем в отделение?»

Наконец-то контуры действительности, как всегда — плюгавой и подленькой, проступили в сбоящем Джеррином сознании. Ему стало невыносимо стыдно — и за неуместное и глупое откровение, и за своё извечное малодушие, и за продажного сержанта Борисенко.

«Сколько?» — спросил Джерри.

«Два рубля, и расходимся», — обрадованно, с громким вздохом облегчения ответил Борисенко.

«Два рубля?.. — переспросил Джерри, простодушно улыбнувшись. — И всего-то?.. Так, сейчас... Вот», — он достал из кармана монету достоинством в два рубля и протянул сержанту.

Даже если бы он попытался всучить Борисенко разъярённо извивающуюся кобру, произведённый эффект, вероятно, был бы не столь силен. Сержант отпрянул, отступив на шаг, побагровел и прошипел оскорблённо:

«Два рубля — это две тысячи рублей! Две тысячи! А не два рубля! Ты что, поприкалываться надо мной решил?»

«Две тысячи... — растерянно пробормотал Джерри. — Почему так много? Может, остановимся на пятихатке?»

Невероятно, но сержантская фуражка прямо на Джерриных глазах сдвинулась ещё на несколько сантиметров назад, приняв чуть ли не вертикальное положение. Надув паруса щёк праведным возмущением, Борисенко выдавил из крохотного рта:

«Ты ещё торговаться будешь?! Как на базаре?»

Джерри, в который раз пытаюсь оторвать взгляд от фуражки, теперь уже по форме напоминающей нимб, промышал нечто невразумительное.

«Всё! Поехали в отделение!» — всплеснул руками сержант Борисенко и решительно... не сдвинулся с места, а лишь с ещё большим ожиданием уставился на Джерри, как давно не кормленная собака на нерадивого хозяина.

Всем своим истерзанным существом чувствуя, что поступает неправильно (жертвуя тяжёлым трудом заработанные деньги в копилку вечного поражения), но поступить иначе — совершенно нет сил, Джерри извлек из пакета две бумажки и сунул в мгновенно вытянувшуюся за ними руку. Через полсекунды купюры бесследно исчезли, словно их заграбастала и припрятала старая цыганка, а не толстый сержант Борисенко.

А через секунду исчез и сам Борисенко вместе со своей вертикальной фуражкой, и железнодорожный вокзал города-героя Новороссийска, и...

...Джерри отёр лицо от мокрого снега, даже не замечая, что тихо, с неизъяснимым внутренним надрывом подпевает играющей в голове песне Саймона и Гарфанкела «He was my brother»:

Freedom rider,

They cursed my brother to his face:

«Go home, outsider,

This town's gonna be your buryin' place...»

Но думал Джерри не о брате, погибшем в песне во имя идеалов свободы и справедливости, а о своём счастье, тоже погибшем, к тому же недолгом, как ушедшее прекрасное лето. «Разве это возможно — так больно упасть с величайшей в жизни вершины светлой и чистой надежды, откуда уже виделся путь, ведущий ещё выше, простой, пусть и полный трудов. Путь любви и радости, путь, который мы прошли бы вместе, я и Марина, держась за руки...» Джерри схватился за голову, и тоска-кручина пробрала его до косточек, до тошноты, до озноба. «Зачем теперь жить? Во имя чего?! Разве можно всё начать сначала, зная, что никому нельзя верить, никому! В человеческом мире нет никого, ни одной живой души, кто бы ни обманул, ни предал! — безумная ухмылка скривила Джеррины губы. Он зло рассмеялся, убрав ладони от лица и достав из пачки ещё одну сигарету. — Да что это я в самом деле?! Велика трагедия: девушка вышла замуж за другого! Люди — десятки, сотни, тысячи людей — каждый день погибают в бессмысленных, жестоких войнах, теряют навсегда близких, нищенствуют, страдают от неизлечимых болезней, мучаются от голода, холода... — Джерри вздохнул и прикурил. — Но... разве мне легче от того, что кому-то

ещё хуже?! Разве это умаляет моё горе, даже если оно и кажется на фоне всеобщего — незначительным? Разве оно становится от этого менее горьким?! Моё маленькое мышинное горе...»

С трепетом осознав, что сейчас разревётся прямо здесь, в центре города, рядом с уродливым совковым «Горынычем» («Щаз разрыдаюся прям тута», — ехидным эхом выстрелило подсознание, симитировав голос сержанта Борисенко), Джерри выкинул только начатую сигарету, достал из кармана телефон и нашёл сообщение Костромы с адресом репетиционной точки. До неё, оказывается, было не так уж далеко — всего пара кварталов.

Вместе с подоспевшим вечером Джерри вскоре очутился перед облезлыми воротами старой школы, набрал на сотовом Кострому и, дождавшись звонкого «алло-алло», буркнул:

— Грузчика заказывали?

После секундного ошарашенного молчания трубка взорвалась радостным воплем:

— Да! Да, да, да! Сейчас! Сейчас спущусь! Уже бегу!

Перед тем как связь оборвалась, из телефона донёсся невообразимый грохот и топот: Кострома и вправду бежал.

Джерри сглотнул выросший в горле ком, несколько раз судорожно вздохнул и, приоткрыв скрипучие школьные ворота, побрёл к парадному крыльцу. Все окна, за исключением маленького окошка на втором этаже в правом крыле здания, были темны. С неба, уже без тяжёлых дождевых капель, планировали пушистые снежинки. Злюка-ветер утих.

Едва Джеррина нога цокнула казаком по первой ступеньке крыльца, двери школы распахнулись, и из них выскочило нечто кричащее, слюнявое, да к тому же в очках, и хищно набросилось на Джерри, и давай мять, и давай душить его в объятьях. А потом, не дав проговорить ни слова, затащило, как крокодил несчастную жертву — под воду, внутрь здания, в обжигающее тепло уютного полумрака, и потянуло за собой, чуть не сорвав с петель вторые двери и бросив на ходу выползшему из раздевалки удивлённому старику-сторожу: «Дядь Вить, это наш басист Джерри! С югов наконец-то вернулся!»

Дядя Витя хмыкнул, пожал плечами, проворчал что-то типа: «Ну-ну, конечно, Джерри, твою мать! Прямиком с югов, точно, с Техаса, вестимо. Как будто русских имён нет...» — и вернулся в раздевалку, на небольшой диванчик, где его терпеливо ждали початый сканворд и два закадычных друга — пол-литра водки и пол-литра дурного разливного коньяка.

А Джерри всё мчался вслед за Костромой по тёмным коридорам, в огромных окнах которых, словно в стеклянном новогоднем

шаре со снегом, кружила метель, а затем, в конце самого длинного коридора, была пахнувшая краской лестница вверх и, наконец-то, чуть приоткрытая дверца, из проёма которой струился свет... и свет... этот мягкий свет... о, он согревал сильнее доброго глотка крепчаги и был лучше наркотического «прихода»...

Кострома пнул дверь ногой и толкнул Джерри в небольших размеров каморку, когда-то, видимо, служившую кладовой, с маленьким окошком и расположившейся прямо под ним барабанной установкой, из-за которой уже вставал во весь свой исполинский рост счастливо улыбающийся здоровяк.

— Женёк! Здорово! — Том одним рывком преодолел расстояние между ними, крепко обнял Джерри, не обращая ни малейшего внимания на его вымокшее до нитки пальто. — С возвращением! С возвращением, брат!

— Привет-привет, старина, — со смущением прохрипел Джерри. Только теперь он уразумел, насколько одичал в последние месяцы вынужденного общения с худшими и примитивнейшими из человеческих суррогатов поточного производства — менеджерами по персоналу. Отвык, совсем отвык от искреннего радушия, настолько, что не знал, куда деть безвольно повисшие руки, пока не догадался обнять друга и похлопать робко по спине.

Когда Том отступил, к Джерри, сняв с плеча электрогитару, подошёл, тоже улыбаясь, незнакомый белокурый парень в синих драных джинсах и майке, на которой радостно приветствовали друг друга антропоморфные кустик конопли и пивная бутылка, а подпись на французском языке гласила: «Salut!» Парень протянул руку и сказал:

— Салют! Меня зовут Джек.

Джерри рассеянно улыбнулся и пожал протянутую руку:

— Очень приятно. Джерри.

Торжественность и важность момента ни один из присутствующих по достоинству оценить так и не успел, ибо Кострома, бесцеремонно оттерев Джека в сторону, выстрелил в новоприбывшего пулемётной очередью вопросов, из которых бедный, даже ещё не снявший пальто Джерри уловил и разобрал толком только последний:

— ...и привёз что-нибудь с юга?

Джерри грустно покачал головой:

— Только разбитое сердце и ворох бестолковых стишат.

Том, Кострома и Джек удивлённо переглянулись. Повисшее в комнатухе на несколько тревожных мгновений молчание в конце концов нарушил Том, наклонившийся и доставший из-под барабанной установки небольшой рюкзак, а оттуда — термос:

— Горячего чаю?
— Пожалуй, — кротко кивнул Джерри.
— А может быть, чего покрепче? — лукаво спросил Кострома и, бросившись к вешалке, выудил из кармана своей куртки выдавшую виды фляжку.

— Можно и чего покрепче, — тут же согласился Джерри.
— А у меня с собой есть немного травы, — застенчиво улыбнулся Джек. — Желаешь?

— Желаю! — воскликнул Джерри. — Я хочу и буду всё!

Дружный рёв единодушного одобрения сотряс забывшееся в метельной дрёме здание старой школы. Вопреки расплёсканной из ковша ноября бесприютности улиц здесь, в этой светлой крохотной каморке, Джерри чувствовал тепло и уют того самого Дома, о котором всю жизнь тосковал, как Адам — о потерянном рае. А ещё Джерри знал, что теперь он — среди своих. На своём месте. На Пути.

Мул и Манул: Part 8

Исхудавшая смертельно и замотанная с головы до ног в пропылённую рванину, Кальдера походила на мумию, сбежавшую из гробницы. Да и чувствовала колдунья себя так же — усопшей, иссохшей, без капли жизни внутри. Ложись и помирай. Чтоб соответствовать. И если бы не вкрадчивый голос Учителя, она давно бы так и сделала. Тем более что сил на поединок с Манулом у неё всё равно не осталось. Эх, да какой уж тут поединок! Не осталось даже на то, чтобы просто догнать мерзавца... К чему тогда эти мучения?!. К чему?!. К чему?!.

Но Учитель был настойчив. Он волочил её по пустыне, не позволяя остановиться и перевести дух. Она сновидела на ходу, и сны, взметая клубы пыли, кружили вокруг неё — к любому можно было прикоснуться рукой. И шагнуть навсегда за грань... Вот только шёпот Учителя, что жёг сильнее беспощадного солнца, причинял нестерпимо осязаемую боль, и боль, связывая воедино крепкой нитью, удерживая поистёршиеся ткани миров, мешала Кальдере помешаться, убежать из опостылевшей пустыни в пустыню внутреннюю.

— Луна-морок — судия... — шелестела потрескавшимися губами колдунья, повторяя за Учителем слова заклинания, которое должна была передать человеку из пустыни.

Прежде чем услышать и увидеть, измученная жарой и жаждой, Кальдера её предугадала, предощутила... И — невероятно! — бросилась к ней со всех ног! Бежала, смеясь и плача, падая и поднимаясь, бежала, позабыв обо всём на свете и обо всём, что во тьме, бежала к уже различной вдалеке, ненаглядной, сладкоголо-

сой речке, пока не отказали ноги. Но, и упав в пыль, она продолжала движение — ползла, хрипя, как загнанная лошадь... и совсем обессилела всего за несколько метров до воды.

Лёжа на боку и тяжело дыша, Кальдера вытянула руки в сторону безмятежно журчащих волн, словно моля их выйти из берегов, и протяжно застонала. Но река осталась безучастной. Лишь перекинутый через неё в двух шагах от ослабшей женщины шаткий мостик чуть покачнулся.

Тогда колдунья перевернулась на спину и, уткнувшись меркнущим взглядом в раскалённые небеса, прошептала:

— Учитель! Я умираю... Большие не смогу сделать ни шагу... Прости меня!..

— Он уже близко, Кальдера, близко. Идёт к мосту через реку, — тихо сказал Учитель. — А зовут его Мул. Передай ему заклинание и... умирай.

— Мне страшно!.. — скрежетнула зубами колдунья.

— Почему? — искренне удивился Судия. — Почему тебе страшно? Разве ты забыла: смерть — всего лишь дверь между мирами. Большое путешествие! Куда страшнее надолго застрять где-нибудь, как это случилось со мной! Но твоя смерть будет лёгкой. Я помогу тебе...

Кальдера зажмурилась от боли, всхлинула, и тело её пронзила долгая мучительная судорога.

— Я помогу тебе! — ласково повторил Учитель. — Я подарю тебе облако. Чтобы ты могла странничать. Смотри!

Кальдера открыла глаза и сразу увидела маленькое белое облачко, неспешно плывущее издалека по бесконечной синеве. Да и как не увидеть?! Одно-единственное на весь небосклон. Предназначенное ей, Кальдере. Красивое.

А потом облако заслонило чьё-то лицо. Мужчина с чёрной бородой и недобро горящими глазами. Наклонился, разглядывает. Хмурится. Да, это он. Человек из пустыни, о котором говорил Учитель.

— Мул! — хрипло выкрикнула Кальдера, и мужчина отпрянул, словно от удара уворачиваясь.

— Откуда знаешь меня?! — озадаченно воскликнул он и затем-то переложил небольшой сундучок из правой руки в левую. А спустя секунду, опять нахмурившись, спросил вполголоса: — Где моя дочь?

— Учитель... — Кальдера запнулась, внимательно взглянула на мужчину и желчно усмехнулась: — Огнеглазый Судия велел передать тебе заклинание. Запомни его, Мул, слово в слово.

— Зачем заклинание? Какое ещё заклинание? Где моя дочь? Не надо заклиная...

— Луна-морок — судия, я иду скоро, Манул! — закрыв глаза, чеканно проговорила Кальдера. И повторила: — Луна-морок — судия, я иду скоро, Манул!

— Где моя девочка? — горестно прошептал Мул, но распластанная в пыли женщина лишь продолжила чеканно твердить:

— Луна-морок — судия, я иду скоро, Манул! Луна-морок — судия, я иду скоро, Манул!

И тогда, обречённо вздохнув, Мул начал повторять за ней, то и дело сбываясь:

— Луна-морок — судия, я иду скоро, Манул. Луна-морок — судия, я иду скоро, Манул.

Через несколько минут колдунья замолчала, но Мул, забывшись, всё бубнил и бубнил заклинание, пока она не прервала его:

— Довольно! Ты запомнил. И захочешь — не забудешь, — Кальдера злоево рассмеялась. — А теперь иди.

Мул растерянно посмотрел на колдунью:

— И бросить тебя здесь умирать? Тебе нужна помощь...

— Нет! Не нужна, — спокойно возразила Кальдера, глядя, как из зависшего прямо над её головой облачка прорастают вниз белые пушистые ступеньки, и чувствуя необычайный прилив сил. Настолько мощный, что мгновение спустя она уже смогла принять сидячее положение, а ещё через секунду — дерзнула подняться на ноги и даже устоять на них, пусть и сильно раскачиваясь, словно в религиозном экстазе. — Мой экипаж прибыл.

Мул непонимающе покрутил головой по сторонам. А потом с грустью и той особенной жалостью, с которой смотрят разве что на умалишённых, воззрился на женщину.

— Иди же! — притопнула ногой колдунья, отчего чуть не свалилась обратно в пыль. Уж очень ей хотелось скорей забраться на облако, обещающее блаженную прохладу.

Мул молча поклонился, развернулся и зашагал к реке. Но перед тем как ступить на мост, обернулся и спросил:

— Заклинание! Когда я должен произнести его? И что должно произойти?

— Не знаю, — покачала головой Кальдера. — Мы лишь звенья в цепи, Мул. Лишь звенья в цепи...

Дом, который разрушил Джек **Side three: Безумно весело**

Они целовались. Целовались и прижимались друг к другу, сколько по коридору, целовались страстно, целовались горячо, не замечая идущих навстречу и расступающихся перед ними людей, целовались на ходу, не разжимая объятий, задыхаясь и дрожа от возбуждения.

Он мягко втолкнул её в первую попавшуюся комнату, захлопнул дверь, быстро скинул с себя ботинки и опустился перед ней на колени, чтобы разуть и её.

Она водила руками по его мокрому от дождя и оттого потемневшим волосам и шептала:

— Это нехорошо, это неправильно, это нехорошо...

Но он её не слушал. Он расстёгивал пуговицы её пальто. А справившись с пальто, принялся за блузку.

— Ну, что ты делаешь... Это безумие...

Его руки нащупали застёжку за её спиной, и лифчик плавно соскользнул с её груди.

— О Боже. Боже...

Он целовал её груди, сжимал их и мял, терзал и гладил, лизал её соски, осторожно покусывая.

— Мы не можем, так нельзя... это неправильно... надо остановиться... — всё шептала и шептала она, но её руки, переставшие вдруг ей подчиняться, строптивые, глупые руки уже срывали с него майку, лаская его плечи, грудь, живот, расстёгивая ремень его джинсов...

Уже обнажённый, он повалил её на расстеленную на полу медвежью шкуру и стянул с неё красные кружевные трусики.

— Подожди, — она остановила его, уперев ладони в его грудь, — без резинки не буду.

Усмехнувшись, он поднялся на ноги, подцепил рукой валяющуюся в стороне джинсы и вытащил из кармана презерватив. А потом протянул его ей.

— Какой ты... — несколько смущённо, даже чуть покраснев, пробормотала она, встала на колени и надорвала упаковку презерватива.

И вот в этот-то самый миг дверь в комнату и распахнулась, всхлипнув с надрывом и едва не слетев с петель...

Side one: Captive fan

Где-то в середине марта

И рррраз, и два, и раз-два-три-четыре! «Музыка, жарь!» — как говаривал Бонарт. А я, Лёха Санин, во дворе более известный как Лёха-Саня, или Лёха-сани, или Леший, а в универе кликомый «Пикачу» по неизвестным, кстати, мне до сих пор причинам (но с народом лучше не спорить: только хуже будет; вон, Витька Сыркова, к примеру, окрестили «Бобром» из-за выпирающих по-бобриному зубов, так он как взвился-обозлился, как заерепенился... и стал в итоге «Сыром», что, по мне, так гораздо обиднее «Бобра»; и до сих пор его «Сыром» все зовут, и от смеха давятся каждый раз, видя его гневные щипы, и теперь так и поведётся, хоть он сам

уж «Бобра» просил вернуть) приступаю. К чему приступаю? (Да, и ещё про прозвища, коль к слову пришлось: я ни на кого не обижаюсь и не расстраиваюсь, что меня по-всякому склоняют-величают, ведь есть поверье, что чем больше у человека имён, тем сложнее смерти найти его и зацапать!) А приступаю я к... эээ... ну... собственно говоря, даже и не знаю... типа ведению дневника, что ли, хотя «дневник» звучит как-то по-девчачьи... Нет, я, конечно, не буду здесь расписывать свои любовные переживания или... ну... переживания другого толка (если честно, ни разу не читал девичьих дневников и понятия не имею, что там), нет. Предназначение сего документа — чисто прикладное. Соберу по крупицам на этих страничках историю великой (пусть в будущем, но это точно — великой) «Жестокой Академии». А потом всё красиво оформлю, исправлю ошибки и опечатки, почищу-начищу до блеска каждую букву, чтоб глаз радовался и за душу брало, и выпущу в виде книги. Ребята как раз к тому времени прославятся и станут известными (ха, а у меня уже и книжечка про них готова!), причём не только в нашем городе, но и за его пределами, и вообще — беспрельдно известными будут, и не сомневайся (хотя кому это я: «...и не сомневайся»?! Себе, что ли? Эдак и до шизофрении недалеко!).

Ну, вот... Хотел ведь обойтись без предисловий, помпезностей, различных экивоков (неплохо, да? Экивоки — ха-ха! Я и не такие премудрости ещё знаю!) и словесных излишеств, а не получилось... Короче, пойду водички попью, а то сушит после вчерашнего не по-детски. Повезло ещё, что пьяным проснулся: похмелье пока не настигло...

Чуть позже в тот же день

(не помню, какое число, смотреть — нет сил)

Настигло! Ой-ёй-ёй...

27 марта

Отлично я веду «дневник», просто образцово! Если бы сегодня в поисках пропавшей пачки «Бонда» я не перерыл мусорные завалы на столе, а потом и кучи под ним («бондиана» прям), и не наткнулся на тетрадку (всю в засохшей блевотине, кстати) с этими записями, то вряд ли бы вспомнил о своём благом намерении, кое, безусловно, является нехилым булыжничком в адовой дороге.

Постараюсь теперь быть не столь велеречивым, памятуя о лаконичной сестре моей, и перейду сразу к делу.

Первый раз «Жестокую Академию» я увидел (и, само собой, услышал (жопа, нет, ну это просто жопа какая-то, жопа! опять словесный понос начинается!)) на пивном фестивале в клубе «Крафти-Тафти». Меня и Аньку (девушку мою) затащил туда наш низенький, пуза-

тенький, похожий на супротив воли повзрослевшего ребёнка друг Фунтик (прозвище он получил не потому, что напоминает молочного поросёнка, хотя и напоминает, конечно, а из-за привычки к месту и не к месту вставлять фразочки из любимого мультя, наподобии: «Дядюшка Мокус, можно я кину в него грязью?»), искренний любитель крафтового пива, панк-рока и, как следствие из второго (а отчасти — и из первого), «Жестокой Академии».

Так вот. Пока выступали первые две группы, Фунтик сохранял поразительное равнодушие к корчившимся на сцене музыкантам, бабочкой-свиньёй порхал между столиками местных пивоваров, поглощая в немыслимых количествах всевозможные самодеятельные сорта пива (с малиной, с манго, с тыквой, кофейное пивко, молочное и т.д.) и мокрыми, с усами из пены, губами лопотал, как хорошо бы скататься в Чехию и попить пива там, ибо там всё равно вкуснее.

Но едва объявили «Жестокую Академию», наш няшный поросяночек неожиданно преобразился, ошпарив отпрянувшую Аню свирепым оскалом и взыв по-волчьи, и вот тут-то мы и узнали, почём фунт лиха. Выкручивая нам руки, Фунтик потащил, нет, буквально поволок нас к сцене, из-за чего я так и не вырубил тёмного можжевельникового пива, в очереди за которым дремал вот уже добрых двадцать минут! О, Фунт был воистину страшен: он верещал, улюлюкал, вопил и рычал, умудряясь издавать все эти звуки практически одновременно. И если бы я был лицемером, то написал бы, что испугался за его здоровье, но, скажу по-чесноку, я гораздо больше испугался за своё и Анькино.

Музыканты, появившиеся на сцене, на бесновавшегося Фунтика не обращали ни малейшего внимания. Да и вообще не смотрели в зал, а буднично перебрасываясь между собой короткими фразами и улычками, деловито отстраивались. Даже не деловито — издевательски методично. И довольно долго. Никто из местных команд не позволял себе такой роскоши, а это уже настораживало.

Когда, казалось бы, «академики» наконец-то отстроились, то сразу и заиграли, а блондин вокалогитарист запел. И это... не произвело на меня никакого впечатления.

Аня же с вежливой улыбочкой кивнула Фунтику и сказала, что, мол, хорошо играют (врали и не краснела), на что Фунтик с изумлённой обидой ответил, что выступление ещё не началось. И оказался прав. «Академики» оборвали песню и принялись невозмутимо отстраиваться дальше. А потом фальстарт ещё два раза беззастенчиво повторялся.

И вот, когда я уже подумывал о возвращении в очередь за можжевельниковым пивом, блондиновокалогитарист подошёл к микрофону и томно выдохнул в зал:

— Буэнос ночес.

Долговязый барабанщик с особой жестокостью троекратно поразил тарелку, и понеслось! Рок-н-рольный ураган (панк-роковой силы и скорости) начисто выдул из меня все мысли о пиве... да и вообще — все мысли! Попало, что называется, сразу «в кровь»! Ворвалось в меня настоящим ОТКРОВЕНИЕМ! Прибило, ошеломило и затянуло в водоворот мэша, неожиданно затеянного перед сценой добрейшим и безобиднейшим (как я раньше думал, но люди — ох уж и сложные твари! — многогранны!) Фунтиком. Уже через пару минут я орал и колбасился в сумасшедшем вихре тел не хуже озверевшего друга (Анька своевременно порскнула в сторону, за пределы набирающего обороты людовращения). Слов я не разбирал, да и несколько первых песен были на аглицком, но блондинчик вокалистом оказался что надо! Хриплый не по годам и (наверняка) прокуренный голос, отдалённо напоминающий Кобейновский, был силен и хорошо поставлен. К тому же в нужных местах украшен взвизгиваниями в духе рок-н-ролла 50-х годов. Гитары (помимо блондиногитариста, был ещё один шестиструнный — небольшого росточка, упитанный и четырёхглазый, в пончо и сомбреро) то отрывались по рок-н-рольному, то сыпали хард-кором, то выдавали на гора жесточайшую, но и вкуснейшую атональщину. Здоровец-ударник лупил по барабанам и тарелкам так, что я даже ощущал, ощущал кожей, чесслово, эти штормовые звуковые волны, исходящие от его барабанной установки. Басист внешне был как-то по-особому мрачен и насуплен, но играл тоже бесподобно, да ещё и удачно подпевал то и дело вторым голосом! Короче, я такого дикого восторга за всю жизнь не испытывал!

Потом было несколько песен на русском, из коих запомнил в тот раз я одну (и то не целиком, конечно, а только первый куплет и припев). Перед этой самой песней блондин долго крутил колки гитары, отстраивая звук, и мимоходом рассказывал взмокнушему и тяжело дышащему залу:

— Прошлым летом Джерри, наш бас-гитарист, — блондин мотнул головой в сторону черноволосого паренька, вяло помахававшего рукой почтенной (и не очень) публике и, кажется, ещё больше помрачневшего, — получил бесценный экзистенциальный опыт работы грузчиком на хлебозаводе. О чём он и написал следующую песню... — блондин оставил в покое колки и прошептал: — Она называется... — и заорал: — «Грузчик на хз»!!!

Грохнули неистово барабаны, заклокотал бас, заскрежетали гитары, закачался с новой силой захмелевший от пива и музыки люд, а вокалогитарист зарычал в микрофон:

*Если с утра после смены ночной
Адски уставший ползёшь ты домой,
Если от хлеба тошнит и воротит —
Значит, ты грузчик на хлебзаводе!*

*Если с тебя птицы крошки клуют,
Если и шлюхи тебе не дают,
Если ты пьян и одет не по моде —
Значит, ты грузчик на хлебзаводе!*

Темп песни замедлился, став вязким и тягучим, и на зал обрушился припев, бессердечно вбиваемый, вколачиваемый с огромной мощностью ударными и ещё более хриплым и низким, чуть ли уже не дэтовым вокалом:

*По ночам пинаешь хлеб под полную Луну
Или точишь круассаны вместе с сатаной,
Или куришь в час вторую пачку сигарет,
Или с накладной бежишь прямо в туалет...
Ненавидя хлеб!*

Барабанщик снова взвинтил скорость, замолотив с прямо-таки грайнд-коровым воодушевлением, а блондин отпрыгнул от микрофона и, яростно тряся гривой, запилил длинное замысловатое соло.

Досмотреть тот достопамятный концерт мне не дала Анька, выпившая моё самоходно танцующее тело из толпы и потребовавшая немедленно транспортировать её домой...

Так. Антракт. Отвык писать шариковой ручкой (последние годы — только в Ворде клавиой) — ручка человеческая с непривычки болит. Завтра продолжу!

28 марта

Продолжаю!

...Несколько дней после вечера в «Крафти-Тафти» я ходил наэлектризованный, пружиня от расправившей меня энергии, в прекраснейшем расположении духа, и всё никак не мог успокоиться. Хотелось ещё «Жестокой Академии»! Но Фунтик даты и места следующего их появления не ведал, инет о «Жестокой Академии» ничего не рассказал, а больше спросить было не у кого.

И надо же такому случиться! Зашли как-то с Анькой в новый, только что открывшийся клубец, на разведку, так сказать, и по пути к барной стойке натолкнулись на блондина из «Академии»!

Произошедшее спустя секунду надолго озадачило меня и стало впоследствии причиной многих неприятных размышлений.

— Анюта! Пррррривет, Анюта! — широко улыбаясь, воскликнул блондин и потянулся, чтобы... хмммм... обнять (и поцеловать, по всей вероятности) мою девушку.

Аня уклонилась от него в растерянном ужасе и, не глядя на оторопевшего меня, но поведя в нужный момент в мою сторону рукой, торопливо проговорила:

— Привет, Женя! А вот, познакомься, это мой парень — Лёша.

Всё так же сияя улыбкой, словно и не случилось только что не-красивой заминки, блондин повернулся ко мне и протянул руку:

— Здаааарова! Я Джек.

Я пожал его руку и чуть было (хотите верьте, хотите — нет) не выдал рехнувшимся ртом: «Пика...» — но вовремя спохватился:

— Лёха.

— Ребята! Лёха, Аня, — Джек доверительно заглянул каждому из нас по очереди в глаза, — вы же останетесь на концерт? Мы сегодня хедлайнерами! Будет жарко!

— Ну, вообще-то мы собирались уже... — начала извиняющимся тоном Аня, но я её перебил:

— Останемся! — и с глупым, щенячьим энтузиазмом добавил: — Я на вашем выступлении в «Крафти-Тафти» просто выпал в осадок! Это было что-то! До сих пор в себя не могу прийти! Круть!

— Отлично, чувак! Дай пять! — Джек, словно на присяге, поднял вверх руку, и через мгновение наши ладони встретились в воздухе, чтобы высечь искру звонкого аплодисмента.

Аня недовольно поджала губы, видимо, расстроенная тем, что придётся задержаться в клубе. Но в глазах её, в самой глубине, мерцала (или мерещилась мне) странная затравленная зыбь, будто неосторожный зверёк угодил в болото и теперь молча, без криков о помощи, обречённо тонул. Поэтому, едва Джек удалился, бурча на ходу что-то типа: «Ладушки-ладушки, где были? У баушки...» (это не описка: именно «у баушки», причём с особенно зловредным смаком) — я повернулся к Ане и спросил:

— Ты в порядке?

— Угу, — кивнула она, опять не глядя на меня.

— Так вы знакомы? Что ж ты не сказала тогда — в «Крафти-Тафти»? — я постарался придать голосу лёгкую, ненавязчивую интонацию, как если бы речь шла о чистом любопытстве по отношению к происшествию мимолётному и маловажному, но, наверно, получилось это у меня фальшиво, потому что Анька заметно напряглась:

— А должна была? — её глаза злобно сверкнули, но потом вдруг потухли (болотная жижа сомкнулась над головой зверька), и уже спокойно она пояснила: — Я его и не узнала в тот раз. Мы учились в одной школе. И всё. Ничего такого.

— Да я ничего такого и не подразумевал, — миролюбиво (и облегчённо) солгал я и поцеловал прижавшуюся ко мне Аню в душистую макушку.

А потом был концерт, и «Жестокая Академия», когда пришла её очередь выступать, отожгла напалмом! Ещё жёстче (совсем не «академично»), безбашенней и веселее, чем в «Крафти-Тафти». Перед сценой творился расколбас космических масштабов. Люди толкались-танцевали-кричали-хохотали-обнимались и были счастливы! И многие, кстати, пришли в тот вечер именно на «академиков», а народная любовь, чтобы там ни думали засахаренные сухофрукты эстрады, дорого стоит! Более того, когда в одной из песен (даже слабоанглоязычный я запомнил словеса ввиду их простоты) Джек трагично хрипел:

*The darkness comes,
I think, that I'm insane.
I don't know, how to pray,
I don't know, how to stay —*

в припеве клуб чуть ли не хором подпевал:

*Into this game,
Into this mad game,
Into this great puppet play!*

А после второго куплета, выплеснутого надрывным криком Джека прямо в бешено колотящееся сердце зала:

*The wind blows in my eyes,
I cannot see,
Hand, that controls me,
No one can be free —*

уже и я подхватил во всю глотку вместе со всеми:

*Into this game,
Into this mad game,
Into this great puppet play!*

Третий куплет и припев я, к сожалению, пропустил, потому что вечно недовольная всем Аня снова вознамерилась утащить меня с концерта, и мы разругались в пух и прах. Плача, она ушла домой одна. Потому что я (не плача) остался. Ничего-ничего: милые бранятся — только тешатся! Да и нельзя, в конце-то концов, позволять девчонке манипулировать собой! Сядет ещё на шею и будет погонять хворостиной, как ослика. Не бывать тому. Я мужик! А значит, я главный!

Последней песней «Жестокой Академии» в тот вечер стала «Lucille» («В память о безвременно почивших «Cannabis Seeds», — предварительно пояснил залу Джек.). Думаю, если бы за наследие Литл Ричарда взялись «Stooges» (образца 1967-1974 гг.), то эта

песня звучала бы так же хлётко и по-хорошему грязно. Превосходный финальный аккорд!

Охрипший, вымокший, довольный, я собрался увенчать собой хвост длинной, по-сорочьему галдящей очереди в гардероб, когда во второй раз за вечер на меня набрёл Джек. Видок у него был такой устало-расслабленный, словно он только что выиграл олимпийский марафон, и блаженная, довольная ухмылка не покидала его губ. Приобняв меня за плечи (по-дружески, разумеется), Джек спросил:

— Ну, как?

— Офигенно, мужик! — заорал я. — Просто супер! Выше всех похвал! Когда следующий концерт?! И где?

— А прямо сейчас! В комнате для музыкантов. Концерт для водки с томатным оркестром. Присоединяйся, дружище. И Аньку с собой прихвати.

Я замялся и пожал плечами, понимая, что приглашение в большей степени адресовано моей подруге, нежели мне:

— Аня уехала домой: мы тут поцапались немного.

Джек приподнял бровь, что, вероятно, было признаком (или признаком) лёгкого удивления, а потом, неожиданно рассмеявшись, махнул рукой:

— Да ну и фиг с ней! Айда бухать! — и, поманив меня за собой, двинулся через медленно пустеющий клуб, мурлыча на ходу (привычка у него такая: постоянно напевать себе под нос): «All you need is hate! Па-па-парабам. All you need is hate! Па-па-парабам. All you need is hate, hate. Hate is all you need!»

И я послушно (ав-ав!) посеменил за ним. А как же! Есть предложения, от которых нельзя отказаться!

В комнате для музыкантов, куда меня привёл Джек, сквозь неправдоподобно плотный туман я разглядел шестерых: очкарика-гитариста со стаканом томатного сока (так уж мне, каюсь, показалось попервоначалу) в одной руке и сигаретой — в другой; он стоял около стола, за которым две юные особы смаковали длинные дамские сигареты и пиво из (тоже длинных) бокалов; на диване, вытянув на полкомнаты (тоже длинные) ноги, развалился барабанщик, рядом с ним — небесной красоты девушка (эти двое обходились пассивным курением), а в дальнем уголке, несколько отстранённый от всего происходящего, привалился к стене смурной черноволосый басист. И, конечно, смолил.

Джек подошёл к столу, взял лежащую там пачку «Мальборо» (красного цвета), достал сигарету, вопросительно посмотрел на меня и после моего радостно-согласного кивка достал ещё одну.

— Народ, знакомьтесь, это Лёха. Наш преданный фанат! — Джек, протягивая мне сигарету, улыбался. А скорее — ухмылялся.

ся. Если откровенно, не припомню, что бы он когда-нибудь улыбался.

Все по очереди представились. Очкарика звали Никитой, имена девиц за столом я практически сразу забыл, барабанных дел мастер отрекомендовался как Том (впоследствии я выяснил и его русское имя — Антон), девушка рядом с ним оказалась Ольгой, а басист — Жене́й (впоследствии я выяснил и его нерусское имя — Джерри).

— Кровавой Мэри? — подождав, пока я заполню метафизический обходной лист рукопожатий, обратился ко мне Никита.

Осознав (не без облегчения) свою промашку насчёт томатного сока (во всяком случае, в чистом его виде), я благодарно кивнул:

— Если можно.

— Можно. Тру фану — можно! — засмеялся Никита, налив в пустой стакан из большой бутылки с этикеткой «Tabasco» густой красной жижи примерно на два пальца, а потом весьма щедро сдобрив её водкой (коктейльные пропорции были злобно нарушены, но я, естественно, не протестовал). Стакан был протянут мне со словами: — Держи, тру фан!

— Captive fan! — неожиданно донеслось из того угла, где обособился басист.

Повисла изумлённая пауза. Никита замер с бутылкой кровавой смеси над следующим стаканом, девицы за столом с недоумением переглянулись, Том насмешливо нахмурился, ветерок замешательства чуть приподнял брови красавицы Ольги, и только Джек беззаботно переспросил:

— Ась?

— Ну, блин, вы чего? — искренне возмущился басист. — «Jesus Christ Superstar»! Ария царя Ирода, — но, видя, что этих слов явно недостаточно, он ещё и пропел выразительно (хотя и несколько смущённо):

I am waiting, yes I'm a captive fan.

I'm dying to be shown that you are not just any man.

— Ха-ха-ха, а ведь точно — Captive fan! Неплохо! — расхохотался Джек. — Кострома, mon amour, начисляй! Давайте все выпьем за Кэптив фана!

Вот так я обзавёлся ещё одним прозвищем, прилипшим, словно его подмазали популярным у школьников клеем «Момент», моментально и накрепко. Теперь я, наверно, буду жить вечно...

5 апреля

Sorry, дневничок! Уходил на др однокурсницы, а оттуда — в запой на несколько дней, уже находясь в котором, умудрился, не смотря на Анькины угрозы, мольбы и проклятья, скататься к дру-

зьям в позабытую Богом пердь. Надо было и тебя, мой бумажный друг, прихватить — скоротал бы время в «собаке». И поржал бы потом над написанным в «подшкафе» (выражение-мутант, придуманное многомудрым и разносторонне развитым Фунтиком). Отныне, даю слово, буду таскать тебя с собой везде. Как талисман!

На чём, бишь, я остановился? Так-с. Ага. На том, как перезнакомился со свежесотворёнными кумирами.

В тот вечер я, конечно, тоже накидался, причём стремительно и бескомпромиссно. Вельми способствовали сему и карнавальная атмосфера, разлитая по комнатке для музыкантов (и по стаканам), и случившаяся во время концерта ссора с Аней, и... короче, пришибло меня конкретно: я восторженно суетился и мельтешил, аки маленькая собачонка, сыпал шуточками и бородатыми анекдотами, лопотал и лепетал, словно персонаж романа Достоевского, поднимал тосты за великое светлое будущее и за ПЗД (присутствующих здесь дам), лез ко всем (к прискорбью, не только к присутствующим там дамам) обниматься, признавался в вечной любви к «Жестокой Академии» и даже застолбил за собой право стать первым официальным биографом группы, чем немного смутил (и изрядно повеселил) скромняг-«академиков».

На следующий день мне было стыдно. Но и радостно до чёртиков! На волне похмельной эйфории я без труда помирился с Аней, и до вечера из кровати (без лишней надобности) мы не вылезали. Всё-таки самое лучшее в примирении — это секс! А секс с похмелья — это вообще что-то!

С моим новым статусом — биографа панк-рок группы! — Аня смирилась и посулила посильную помощь, выражающуюся, прежде всего, в истинно толстовском непротивлении злу насилием, то есть, проще говоря, пообещала не мешать воплощению моего грандиозного замысла и даже согласилась ходить на концерты вместе.

Чем мы и занялись!

Скучно ли из раза в раз посещать выступления одной и той же группы? Если группа скучная — да! Но с «Жестокой Академией» весело было всегда. Харизма! Бешеная энергетика! Отчаянное сумасбродство! И полная самоотдача, даже если в зале не более десятка человек. «Они настоящие! Настоящие!» — вот что чувствовали присутствующие на концерте. Да и сами музыканты играли всё слаженней и чётче, жёстче и яростней. Электрический драйв, великий и могучий, качал зал, словно штормовые волны — колыбельку утлого судёнышка, и никаких тебе «баллад» и «медляков»! Регги — да, чуть позже появилось в репертуаре «академиков», но по музыке напоминало заводные песенки с первого альбома «The

Clash», а текст был выдержан в анархически-бунтарском духе с обращением в припеве к сильным мира сего:

*Я не играю в ваши игры,
Я ни на чьей стороне!
Моя душа и мой разум
Принадлежат только мне.*

И проницательный, тонко и правильно всё осознавший с первых услышанных звуков я, и наконец-то врубившаяся Аня, о да, мы оба чувствовали сокровенную сопричастность происходящему — творящейся на наших глазах Истории. Мы стали завсегдатаями не только феерических выступлений «Жестокой Академии», но и всех отвязных афтерпати, благодаря которым я получше узнал ребят. Если в нескольких словах, дела в группе обстояли так.

В центре внимания всегда (как, наверно, и должно фронтмену) находился Джек. Повторю: всегда. На концертах и после них. И даже если он молчал, укутившись до космического помешательства (это я пытливо всматривался в его обвалившееся внутрь лицо, и в голове у меня крутилось: «Space dementia in your eyes...»), или... отсутствовал! Подобно тёплой меховой шубе, всеобщая любовь грела Джека, но сам он оставался холоден и вряд ли был способен любить кого-нибудь. Хотя иногда я замечал его быстрые хмурые взгляды в сторону Ольги и Тома.

У этих двоих всё тоже складывалось непросто. Из-за того, что Оля никак не могла высвободиться из-под гнёта домашней тирании и собственного священного ужаса перед матерью (перемешанного с любовью и жалостью), она постоянно была ограничена во времени. И провожать домой её приходилось Джеку, ибо Том знакомство с сумасшедшей мамочкой, как мне однажды пояснил Джек, провалил с треском. Всё это сильно осложняло жизнь всем. И запутывало всё. Оля часто беспричинно нервничала и оглядывалась по сторонам, как будто где-то рядом могла притаиться её мамаша или кто ещё. Джека, несмотря на то, что Оля была его близким (но вроде не в постельном смысле) другом, явно тяготила необходимость быть привязанным к её жёсткому графику. Том старался относиться ко всему происходящему стоически и с огромным терпением. Да и вообще, как и всякий большой человек, был добродушен и улыбчив, спокоен и невозмутим. Только на концертах он преображался в дикого безумца, чтобы терзать барабаны и тарелки с такой яростью, словно ненавидел их всем сердцем. А может, так оно и было?! Может, он вымещал всё раздражение и злобу во время выступлений?

Если Джек являл собой некий пассионарный центр управления, дух «Жестокой Академии», то душой группы был весельчак

Никита, добряк Кострома, животворный и неиссякаемый источник оптимизма и юмора. И, поверьте, далеко не все его шутки были умопомрачительно смешными, но он умел поднимать настроение, наколадывать улыбки на злых, напряжённых лицах, умел ненавязчиво (не залезая в душу) приободрить, а также успокаивать и незаметно ослаблять туго натянутые нервы. Рядом с ним было ЛЕГКО.

Чего точно не скажешь про Джерри. Вот уж его тяжёлый, недружелюбный взгляд не раз заставлял меня врасплох и приводил в замешательство. Будто я чем провинился перед ним. Наверно, он так смотрел на меня из-за того, что всё-таки я чужой, некто извне, друг семьи, но не член (тьфу, коряво получилось. Потом переделаю, а то ведь обязательно найдутся люди, из тех, что начинают заговоришки улыбаться, слыша слова «маленький теннис», «органный концерт» и т.д.). Его глаза шептали мне: «Уходи! Ты не должен быть здесь! Ты не с нами!» Но вслух, естественно, он никогда ничего такого не говорил. И ещё. Джерри, всегда находясь в тени, на периферии, был тем не менее необычайно важен для группы. Эдакий серый кардинал. К нему прислушивался даже Джек. А это дорого стоит.

Ну, короче, вот... Опосля подрежу в получившуюся окрошку вкусные подробности, ежели припомню что. И, конечно, хорошенько перемешаю (перепишу по-хорошему) и залью квасом интересных фотографий. А пока...

Уф, Марта! Йа! Йа! (Цитата из старого немецкого кино). Наконец-то я, пересказав в общих чертах события марта, догнал настоящее время и теперь смогу вести записи в протокольном режиме. Белиссимо!

8 апреля

Играли в «Реакторе». Жуткая дыра! Адово пекло, прокопчённые стены, удушливые облака никуда не улетающего сигаретного дыма, никакой вентиляции и никакой (в смысле — безрукий и безмозглый) звукарь.

Но концерт удался на славу. Чтобы не хлопнуться в обморок прямо на сцене, после первой же песни все «академики» поскидывали майки и играли голыми по торс. Многие зрители с превеликим удовольствием последовали их примеру. И концерт неожиданно превратился во что-то первобытно-обрядовое. Не хватало только огромного костра... Хотя почему — не хватало? «Жестокая Академия» «горела»! Ярko и жарко!

Последней — уже по традиции — исполняли «Lucille». После концерта, хитро подмигнув, Джек пообещал, что скоро я услышу новый вариант этой песни — с русскими словами! А так как на репетиции меня ни разу не звали (думаю... нет, даже уверен, что Джерри против моего присутствия в святая святых), я заинтригован.

9 апреля

Пили пиво в мрачном парке с голыми деревьями и до сих пор не переваренными худосочной весной кусками грязного снега. Присутствовали: я, Аня, Джек, Джерри, Кострома и вертлявый паренёк Сеня. Отсутствовали: Том и Оля (их официальная версия: решили сходить в кино. Естественно, ближе к вечеру Джеку тоже пришлось срулить, чтобы подхватить Олю из рук Тома и препроводить её домой, к сумасшедшей мамане).

На повестке дня: повышение цен на проезд в общественном транспорте, расширение НАТО на восток, сближение России с Китаем, духовное преображение Саши Грей и запись первого альбома «Жестокой Академии».

Последний вопрос обсуждался особенно долго и вдохновенно, что не удивительно: как рождение ребёнка — чаемое и радостное событие, ради которого и создаётся (нормальная) семья, так и появление альбома — заслуженная награда за совместные труды, со-творчество всех членов (опять это неудобное словечко) группы. Так что альбом назрел! Благо, музыкального материала предостаточно. Равно как и трудностей. Нужны деньги или спонсор. Пока — ни того, ни другого. Зато планов — полным-полно (даже и не ждите от меня в будущей книге настоигравшего ещё в школе выражения: «Планов — громадьё»)! Сеня, к примеру, оказался художником (из самородков, то есть без художественного образования), взявшим-ся оформить обложку грядущего альбома. Меня попросили сочинить краткую биографию группы и продумать содержание буклета диска (надо ли говорить, в КАКОМ я восторге?!). Будет несколько приглашённых музыкантов: Пахом и Алик из почивших «Cannabis Seeds», Григ Печорин из «Молитвы нечестивцев», ещё дебиловатый мужичок варганист (ему за сорок, но прикид — как у подростка-неферка) и другие. В общем, планов — громадьё... ай, мазафака! Вот ведь вдолбили! Намертво — не отвязаться!

Аккурат перед тем как Джек покинул нас, его настиг неожиданный, как судорога во сне, телефонный звонок. Таким ошарашенным и... даже испуганным лидера «Жестокой Академии» я никогда не видел. Он что-то тихонько мямлил в трубку, запинаясь и часто-часто моргал при этом.

— Кто звонил-то? Случилось чего, что ль? — осторожно спросил Кострома. — На тебе лица нет.

Джек повернул побелевшее лицо (будто желая опровергнуть его отсутствие) к Никите и сказал:

— Отец звонил. Назначил встречу на послезавтра.

В манной каше варящегося на медленном огне дня появился комочек паузы. Все знали, что отец Джека не широко, но кому-то

(так бывает, поверьте) известный в городе художник-авангардист (то бишь не умеющий рисовать). А ещё все знали, что семью калякин-малякин бросил, когда Джекушка ещё не научился ходить и говорить, и с тех пор судьбой сынишки совершенно не интересовался. Деликатная пауза, в общем, образовалась. (В смысле — в парке, после телефонного звонка, а не в отношениях отца с сыном). Не один блюститель закона успел народиться.

Решив, что силовые структуры уже достаточно укомплектованы и отмахнувшись от наших робких попыток заговорить, Джек попрощался и ушёл.

А мы ещё долго стояли в не по-весеннему осеннем парке, радуясь количеству взятого пива, и живо обсуждали послезавтрашнюю встречу Джека с блудным отцом. Было, конечно, много шуток и ржача, чего уж греха таить! Хотя, я более чем уверен, каждый по-своему переживал за Джека. И беспокоился.

13 апреля

Играл с Костромой в бильярд. Или на бильярде? Как правильно-то? Да ну на фиг, напишу попроще: гоняли с Костромой шары... эээ... жость. Ещё хуже получилось! Ладно, потом придумаю. Писательский труд не так уж и прост оказался. Как представляю, что для книги все эти незамысловатые дневниковые мазки придётся высоким штилем отделявать — руки опускаются. Задача та ещё. Однако вернусь к сегодняшнему бильярду.

Мастерски загнав своячка в среднюю (так можно вообще сказать — в среднюю?) лузу (или лунку?! Всё, на болт! Обойдусь в книге без бильярда!), я между делом поинтересовался, как прошла эпохальная встреча сына с отцом (Никита видел Джека вчера — на репе).

Кострома пожал плечами:

— Познакомился, говорит, с полезным человеком.

— Это он по отца?

— Ха-ха-ха. Вот и я то же самое спросил. На что он брезгливо так поморщился, ну, ты знаешь, как Джек умеет, и покачал головой: «Нет». Потом снова поморщился и ещё раз: «Нет! Чёрт возьми, нет! Этот старый кусок холста никому не может быть полезен». Но тут Джек слукавил. Потому что именно Кусок Холста и представил Джека полезному человеку — Денежному Мешку. Нашему потенциальному спонсору. Как я понимаю, Денежный Мешок и был инициатором встречи Джека с отцом. Только ради того, чтобы подобраться к Джеку.

— А зачем Джек Денежному Мешку?

— Ну... — Кострома задумчиво улыбнулся. — Скорей не сам Джек, а «Жестокая Академия».

— Тем более! Денежные мешки не очень-то жалуют панк-рок.

— Этот Денежный Мешок — особенный. Он и отцу Джека помог в своё время... хм... прославиться. Любит, представь себе, чтоб искусство было с перчинкой!

Всё-таки жизнь умеет преподносить сюрпризы! Оказывается, и денежные мешки могут быть полезны обществу.

16 апреля

Вот это концертище! Отыграли на одном дыхании. Больше часа без малейшей паузы: песня заканчивается — сразу начинается другая. (Народ в клубе неистовствовал!) И только в самом-самом конце Джек позволил себе лирическое отступление:

— Обычно мы завершаем наши выступления мелодрамой Литл Ричарда про Люсю, но сегодня... — несколько следующих слов потонули в одобрительном ореола зала, и Джек помолчал, выжидая. — Сегодня вы услышите драму... Настоящую драму! Никаких «мело»! Тяжёлая, жестокая драма от «Жестокой Академии»! — разгорячённая публика снова взревела, но Джек поднял вверх указательный палец, и все затаили дыхание. — Итак, музыка — импортная, слова — Джеррины, название — страшное, леденящее кровь... — Джек помедлил, нарочито громко дыша в микрофон, как будто и правда сильно напуган, а потом зарычал: — «Попрошайки-менты»!

Что тут началось! Эта версия «Lucille», в разы агрессивнее и быстрее, превратила площадку перед сценой в арену танцевальных боевых действий. До настоящей драки мэш, конечно, не докатился, но балансировал на грани. Отдавленные ноги, разбитые губы, порванная одежда... Охрипшие от восторженного крика глотки. Это было что-то, мать вашу! Что-то грандиозное по силе и крутости!

Слов песни в таком гвалте, естественно, было не разобрать, и поэтому после концерта я, набравшись наглости, попросил автора побыстренько мне их продиктовать, что Джерри (с заметным неудовольствием) и сделал:

Попрошайки-менты

Менты! Попрошайки-менты!

Хуже, чем бандиты, хуже, чем скоты.

О, да!

Я сидел с бутылкой пива, ожидая поезд свой,

На ж/д вокзале в Энске. Я был уставший и больной.

С любимой девушкой расстался и расстался навсегда...

И я б грустил, наверно, дальше,

Но...

Черти принесли мента!

*Мента! Попрошайку-мента!
Хуже, чем бандита, хуже, чем скота,
О, да!*

*Он посмотрел на моё пиво и сказал: «Пойдём со мной!»
Он вывернул мои карманы в какой-то грязной проходной,
Он долго рылся в моей сумке, в каждый заглянул пакет,
Он обыскал и мою мыльницу, и пачку сигарет.*

*Сержант, Попрошайкин сержант,
Оборотень в погонах, пузатый дегрант.*

*Закончив обыск, он надул две свои жирные щеки
И прошептал: «Дай мне денег, материально помоги!
А то поедет в отделение, и поезд свой пропустишь ты!
Я так нуждаюсь, дай мне денег, мы же нищие — менты!»*

*Менты! Попрошайки-менты!
Хуже, чем бандиты, хуже, чем скоты.
Сержант, Попрошайкин сержант,
Оборотень в погонах, пузатый дегрант.
Оборотень в погонах!
Хей!
Оборотень в погонах!
Хей!
Оборотень в погонах!
Хей!..*

Слова: «Оборотень в погонах» — от души орал Джек, а: «Хей!» — остальные участники группы, а потом — и весь зал, так как эти две строки многократно повторялись, словно святейшая панк-мантра.

В общем, концерт удался на славу! Зря Анька не пошла (что-то странная она стала, чужая какая-то, холодная. Никак не соображу, в чём причина. Может, я что делаю не так?! Ну и сказала бы тогда! Нет ведь. Затаилась. Деланно улыбается. Через силу. Раздражается по поводу и без. Но уверяет, что всё в порядке).

22 апреля

Вчера Том и Кострома буквально силой затащили меня на Джеррин др. (Прекрасно зная, КАК ко мне относится именинник, я долго сопротивлялся, но эти двое кого хошь уломают). Более того, не просто затащили, а поставили с контрабасом (совместный подарок Джерри от «Жестокой Академии» и друзей) перед дверью, как перед фактом, позвонили и, гогоча, убежали на этаж выше. Хорошо, что Джеррина матушка уж несколько месяцев как съехала к богатому любовнику (который к тому же дал ей денег на

собственный бизнес — турагентство), а квартиру оставила сыну: хоть перед ней не придётся краснеть и объясняться. Но чувствовал я себя всё равно по-дурацки, а когда дверь открылась и на меня с недоверием, да ещё и нахмурившись, уставился Джерри, — и вовсе полным кретином.

Квакнув что-то наподобие: «Это тебе!» — я чуть приподнял тяжёлый контрабас и протянул грифом вперёд имениннику.

И тут произошло нечто неожиданное. Совсем из ряда вон выходящее! Я, во всяком случае, такого никогда раньше не видел.

Джерри улыбнулся! Улыбнулся, взял контрабас и сказал:

— Буэнос диос, Кэптив Фан. Посторонним вход не воспрещён.

Наверно, выражение моего лица после «посторонних» стало ещё более жалким и глупым, потому что Джерри рассмеялся (вот уж воистину невидаль!) и, держа контрабас одной рукой, другой сотворил милосердный приглашающий жест:

— Заходи уже! Пошутил я насчёт «посторонних». Да и какой ты посторонний: ты один из нас.

Вы когда-нибудь слышали, как трещит лёд? Тот, что между людьми, в толще несложившихся отношений? Клянусь мамбой, в тот миг я УСЛЫШАЛ! И даже почувствовал, как лёд тает, а душе моей, вынырнувшей из снегуры и выбравшейся на берег, к искристому костру, становится всё теплей и уютней.

Вот и весь Джеррин др прошёл так — тепло и уютно. Том с мечтательной полуулыбкой на ходу придумывал волшебные сказки, и девчонки зачарованно слушали, Кострома травил анекдоты, и девчонки хихикали, именинник неумело щипал свой подарок, и девчонки хихикали. Гости постепенно подтягивались, принося вкусную дорожную выпивку.

Одним из последних пришёл весёлый-развесёлый Джек и принёс... кокаин. Это было настолько неожиданно для нашего захламленного нищесбродского общества, что крутые панк-рокеры заметно растерялись...

25 апреля

Утро добрым не бывает. Особенно если начинается оно с обнаружения записки, накарябанной накануне рукой мертвеца, посиневшего от чрезмерного употребления алкоголя. Записки, адресованной самому себе (а накосорезился я в ядрёной совокупности — до, во время и после вчерашнего выступления «академиков» — вусмерть). Так вот. Мало того, что в неприподъёмной голове — звенящие кедры России, в дымящем, словно только что потушенный пожар, теле — ознобная ломота и злобная тошнота, а выдыхаемый перегар клубится в комнате ядерным грибом, так

ещё и это: «Задрствуй, доргой Алёшенька! Прсоти меня, пожлста, я потратил все твои деньги, но мне было ВЕСЕЛО!!! Не обижайся. С уважухой, вечно твой, ПИКАЧУ! Ха-ха-ха!»

Комкаю и мну бумажный клочок непотребства с бессильной яростью под нарастающий из подсознания аккомпанемент «Абраксаса» «Оргии Праведников»:

Я крушу зеркала, чтоб не видеть, как смотрит двойник!

Зеркала, разбиваясь, сочатся багровым и алым...

Да уж, вечер «двойник победил». А ведь ещё предстоит вспомнить, что он успел навывторять, паскуда мультяшная! И воспоминания не заставляют себя долго ждать, хотя я и кричу сначала мысленно, а потом и во всё горло: «Не надо! Ну, не сейчас! Не нааааааадо!»

Прямо перед сценой, на которой, как всегда, кропотливо и долго отстраиваются «академики», отчаянно ругаюсь с Анькой. Я уже изрядно накидался вискарём, но то ли ещё будет! Безобразная сцена ревности к Джеку. Долго вызревавшей и хорошенько перебродившей потаённой ревности. Не стесняюсь в словесах и не стесняюсь Джека, то и дело хмуро поглядывающего на нас. Анька в накладе не остаётся и припоминает чёрные мои грехи, называя меня не иначе как «вонючим алкашом», хотя с чем-чем, а с гигиеной у меня всегда всё было в полном порядке. Народ вокруг потешается от души. В конце концов со сцены спрыгивает Кострома и каким-то невероятным, вестимо, чудесным образом добивается шаткого перемирия. Аня со слезами обиды на глазах говорит, что на свете нет женщины вернее, чем она. Я лепечу извинения и тоже чуть ли не плачу. Бр-р.

Небольшая передышка: на подгибающихся, как у немощного старика, ногах я добираюсь до кухни и там, стуча зубами, хлещу ледяную воду из-под крана, пока на меня не наползает следующее воспоминание.

Концерт. «Жестокая Академия» играет с особым ожесточением. Не задором, не силой, а именно «ожесточением». Играют великолепно, но чувствуется, что внутри группы что-то разладилось. И это опасное настроение передаётся публике. Мэш лют и, как никогда, близок к драке. А вот, собственно, и она. В тотчас образовавшемся из расступившихся людей круге двое сцепились и катаются по полу, мутузя друг друга кулаками. Откуда ни возьмись — здоровенный детина-охранник, а с ним двое помельче. Растаскивают дерущихся в стороны, и один из забияк вскидывает вверх руки, показывая, что он успокоился, а второму его руки ещё долго выкручивают, прижимая яростно сопротивляющееся тело к полу и пытаясь уговорить увещеваниями (спасибо, хоть не бьют). Второй — это я.

Мама мия, какая позоруха! Вселенский стыд сдавливает виски. Стыд-стыд-стыдно! Стыд-стыд-ссссстыдоба! Мечусь по кухне

туда-сюда. Этот гнетущий грёбанный стыд хуже самого похмелья, гораздо хуже!

А память, как ни в чём не бывало, крутит и крутит шарманку. Сидим в каком-то пропащем барушнике: «Жестокая Академия» в полном составе плюс Оля, Сеня и я с Анькой. Атмосфера накалена, и сие понятно даже мне, вонючему алкашу. Причина неожиданного раздрая в том, что Джек предложил выступить 30 числа текущего талыми ручьями месяца (то есть — этого, то есть — апреля) на вечеринке своего нового покровителя, Денежного Мешка (думаю, кстати, этот дяденька и снабжает Джекушку дорогостоящим вставом). Дурно пахнущее предложение, надо отметить, воодушевления в рядах «академиков» не вызвало, а Джерри и вовсе наотрез отказался по идейным соображениям: панк-рок не продаётся! Джек расхохотался, заявив, что только дерьмовый панк-рок не продаётся, и что в безысходной (так ведь и сказано: «безысходной») провинциальной дыре можно до отупения играть для горстки унылых лузеров, старясь и становясь всё комичнее, как все эти легендарные полысевшие и одряхлевшие рок-н-рольные доходяги местного разлива, и что Джерри инфантилен в своём нелепом идеализме, а он, Джек, ведёт группу к настоящему прорыву. Интересно, что выбесило Джерри не обвинение в инфантильности и нелепом идеализме, а словечко «лузеры». Дело чуть было не дошло до драки, но Том с Костромой растащили оппонентов по разным углам бара.

Чем там всё закончилось, память решила не показывать, а телепортировала меня в полуночное раздолбанное такси, между прочим, жигулёнок, за рулём которого оказался плохо говорящий по-русски иранец. Или афганец. Или таджик. Или... В общем, смуглый, чернобородый иностранец, почему-то согласившийся довезти меня до дома бесплатно. Аньки со мной не было: видимо, бросила меня на произвол судьбы ещё в баре. Взяв у иранца номер сотового телефона, чтобы расплатиться при случае, я шатко двинул к подъезду, около которого встретил друзей детства с водкой и пивом. Дальше вспоминать было нечего.

28 апреля

Гора с плеч! Как в конце хорошей комедии, герои перемирились между собой. Аня извинилась передо мной за «вонючего алкаша», я признался, что таковым по сути и являлся последний месяц, но торжественно пообещал исправиться. Джек и Джерри пришли к компромиссу: все идём на вечеринку к Денежному Мешку (ну, или почти все: меня, Аню и Олю тоже позвали, а Сеню — нет!), но выступать «Жестокая Академия» не будет — только бухать и

отрываться по полной. Благо, Денежный Мешок великодушно согласился и на такой вариант.

Возьму с собой на всякий случай две ручки и буду всё происходящее документировать, тщательно и в красках! Это поможет не накрияться в хламину дармовой и — предчувствую — шикарной пойловкой. Пора перевоплощаться из Тру Фана в тру гонзо-журналиста!

30 апреля

(Поставлена только дата, и на ней записи в тетради обрываются).

Side two: Джек приходит к отцу: Take 2

11 апреля город, вновь засыпанный ночью уже осточертевшим до невозможности снегом, сильно лихорадило и мутило от непреодоляющего межсезонья-несваренья. Как и попавшего в силки психологического параллелизма бедолагу Джека, трижды навещавшего кусты по дороге к мастерской Валентина Борисовича.

— Маюсь, маюсь, маюсь животом, — на мотив эстрадной безделушки из 90-х тоскливо напевал Зворыкин-младший, в очередной раз натягивая джинсы. Чувствовал он себя предательски плохо и унижительно глупо. К тому же второй день подряд находился в состоянии сильнейшего безалкогольного и ненаркотического отрезвления, что уж ни в какие ворота не лезло.

А ещё ему было страшно, и за это он себя ненавидел.

Мастерская основателя и единственного в мире представителя «Изнутризма» располагалась в исторической части города, на втором этаже старого деревянного дома. В крохотном дворике на кусках грязного снега распластался чудовищно неуместный здесь, словно живой крокодил в детской песочнице, гигантский чёрный джип с тонированными стёклами. Но Джек едва ли обратил на него внимание: он уже поднимался, и на каждый его шаг лестница отзывалась таким визгливым противным скрипом, как будто ей было больно от того, что на неё наступают.

Оказавшись перед простецкой, обитой дерматином дверью, Джек робко постучал, втайне надеясь, что никто не отзовется. Но дверь медленно приоткрылась, и в полутьме проступил силуэт человека в строгом костюме.

— Евгений Валентинович Зворыкин? — спросил силуэт, и вынырнувшее из сумрака лицо оглядело Джека внимательными холодными глазами.

— Он самый, — выдавил из себя Евгений Валентинович и страдальчески поморщился: карусель в животе снова набирала обороты.

Человек отступил в сторону и неожиданно оскалил зубы в ослепительной голливудской улыбке:

— Проходите. Вас ждут.

Неловко протиснувшись мимо высоченного, широкоплечего незнакомца, Джек ввалился в прихожую, чуть подсвеченную лучами из комнат, стянул с себя ботинки и задвинул их под деревянную лавку, на которой в несколько рядов теснились картины. Разобрать, что на них нарисовано, впотьмах не представлялось возможным. Равно, как и на тех, коими были увешены стены.

Человек в костюме прикрыл за Джеком дверь и, всё так же широко улыбаясь, указал открытой ладонью в сторону щедрых лучиков света:

— Из коридора налево.

— Спасибо, — тихо произнёс Джек и двинулся в указанном направлении, скорее машинально, нежели осознанно бурча себе под нос: — От улыбки станет всем светлей, даже маленькой уродливой улитке...

Перед самым выходом в свет Джек оборвал песенку, пригладил рукой волосы, проверил, хорошо ли заправлена рубашка в джинсы, пощупал пальцем ширинку — застёгнута! — набрал в грудь побольше воздуха, нервно кашлянул. И шагнул в комнату.

Больше всего он боялся, что опять, как и много лет назад, увидит отца сидящим за мольбертом, с завязанными глазами. Что тот опять, как и много лет назад, нехотя сдвинет повязку на лоб и недовольно нахмурится. А дальше — просыпанное на камень зерно скомканных фраз и перепачканный масляной краской «Сникерс»... Судьба ведь любит водить человека кругами, не так ли?

Так-то, в общем, да. Но только не в этот раз.

Валентин Борисович сидел в мягком кресле за маленьким столиком, на котором горделиво возвышалась початая бутылка абсента и один стакан. Художник был облачён в замысловато измазанную краской тогу и лапти. А на голове у него была расписанная красным и жёлтым... кастрюля. Нет, правда — кастрюля!

От изумления Джек открыл рот и понял, что если сейчас расхочется, то остановиться уже не сможет. Никогда.

— Здравствуй, сын! — торжественным басом ухнул Валентин Борисович и остановил на Джеке мутный, хмельной взгляд.

— Добрый день, — осторожно, так, чтобы ненароком не прыснуть со смеху, отвечивал сын. Комичность и вздорность ситуации, как оказалось, усугублялась тем, что Джек не подумал заранее, как ему обращаться к отцу, которого он видел один раз в жизни. На ты? На вы? «Папа», «отец» и «батьа» отпадали сразу. «Валентин Борисович» звучало бы неловко. А что же тогда оставалось? А ничего. Только избегать прямого обращения. Как избежал Джек приблизиться к отцу для рукопожатия, тем более что и Валентин Борисович не собирался подниматься ради этого из кресла.

— Хочу представить тебе моего доброго друга и покровителя, гуру современного искусства, — продолжал между тем Валентин Борисович заплетающимся языком. — Сергей Ефимович Беленький. Великий. Великий человек! Я... требую! Требую к нему уважения, сын! А иначе ты мне не сын! — голос Валентина Борисовича патетически дрогнул фальцетом, после чего художник резко уронил голову на грудь и тут же захрапел, не обратив должного внимания на скатившуюся и грохнувшуюся об пол кастрюлю.

Не замеченный Джеком ранее, из второго кресла возле столика вскочил низенький лысоватый толстяк в чёрной рубашке и в мгновение ока очутился рядом.

— Ну, наконец-то, ах, чтоб меня! — тоненько закричал он, обхватил руку Джека двумя маленькими мокрыми ладошками и принялся трясти. — Давно желал познакомиться! И вот она, долгожданная встреча! Как же, как же. Евгений Зворыкин — звезда андеграунда, гениальный отпрыск гениального отца, яблоко от яблони...

Джек, непроизвольно взглянув на храпящую «яблоню» и скривившись от отвращения, осторожно высвободил свою уже вымокшую ладонь и отступил на шаг, чтобы хоть немного перевести дух и дистанцироваться от тошнотворной близости отца друга и покровителя, окатившего его лицо восторженной слюной и трясшего его руку с таким усердием, что теперь трясло самого Джека. Невозможность, невозможность, невозможность. Происходящее зашкаливало за пики самых худших опасений. Всё это было невыносимо. Невозможно невыносимо. Как будто его выбросили за борт привычного понимания жизни, в пучину первобытного хаоса, и теперь он беспомощно барахтался в грозных волнах, мечтая зацепиться разбегающимися в ужасе мыслями, как за спасательный круг, за любой светлый образ, что пришёл бы на ум. «Помогите! Тону! Погибаю! Тону!» — верещало, захлёбываясь тягучим, как сгущёнка, абсурдом, сознание. Захлёбываясь невозможностью.

Но образ пришёл. И воссиял с неожиданной мощью, до того ярко, что у Джека перехватило дыхание и мурашки закипели на коже.

«Милая, добрая девочка Оля. Умная, весёлая. Славная! Красивая. Родная... Защити меня от этого кошмара наяву, спаси меня... Оля! Оленька...»

Никогда прежде не испытывал Джек такого смятения. В считанные секунды уродливый, похожий на ширпотребную российскую кинокомедию 2000-х, фарс нелепой действительности был отброшен в тень, а всё вокруг наполнилось светом, обжигающим, причиняющим боль, но прекрасным.

«Что это... что со мной? Как будто кулаком в лицо... Как это возможно?! Оля же мой друг. Не подруга — друг. И все эти годы

она была рядом, близко-близко, столь близко, что я всегда мог обнять её, ближе, чем кто-либо из тех, с кем я... Но почему, почему не замечал, не понимал, не чувствовал?!. Невозможно! Невозможно! Просто блажь. Нет, не просто блажь — преступная блажь! Ведь не только Оля — мой друг, но и Том... тоже. Они... встречаются. Том — её парень, а не я. И даже мечтать о ней — это предательство. Я не предатель. Не хочу быть предателем! Но отчего же тогда так жжёт, так нестерпимо жжёт внутри?»

— О, я знаю, о чём ты думаешь! — бесцеремонно плюхнулся в водоворот закруживших Джека чувств Сергей Ефимович Беленький.

— Да? — испуганно спросил Джек.

— Конечно! — толстяк кивнул на почивающего в кресле художника: — Не спеши осуждать его. Если б ты только знал, Женька! По три-четыре картины в день... И все — на загляденье. Подлинные шедевры, точно тебе говорю. Прорывы в неизведанное! Сталкерство в радиоактивной зоне человеческого подсознания. Но за это приходится платить высокую цену. Угу. Искусство требует жертв, чтоб его, ненасытную кровожадину! — Сергей Ефимович мелко рассмеялся. — Ты сам-то готов к этому? А, Женёк? Заплатить высокую цену, чтобы высоко забраться? Коварный фатум, рок, если хочешь, — Беленький заговорщицки подмигнул и прихихикнул, — постоянно ставит талантливого человека перед выбором: жить как все, вкалывая до кровавого пота и обрастая долгами, обязанностями, спиногрызами и мёртвыми мечтами или поставить и настоящее, и будущее на кон ради одной возможности творить, заниматься любимым делом. Твой отец в своё время пожертвовал узенькой дорожкой простого смертного ради стези гения. И вот, прочувствуй, — толстяк прихватил Джека за плечо и подвёл к висящей на стене картине, — какая первозданная краса вдруг проступает в нашем сером убогом миреке!

Мельком посмотрев на изобразжённое беспорядочными мазками полотно, Джек промышчал нечто неопределённое и отвёл глаза в сторону. Всё равно перед собой он видел только счастливое Олино лицо и никак не мог сосредоточиться на навязчивой реальности мастерской.

— Эта называется «Вагина Венеры», — доверительно поделился Сергей Ефимович. — Не всякий ухватит суть, распробует, поймёт. Только избранный.

Джек словно очнулся от наркотического ступора. Брови его изумлённо взлетели.

— Вагина?

— Углядел, да? Ну молодца! Я ж говорю: яблоня от яблони! — радостно закричал Беленький и потащил Джека к следующей картине. — Этой Валя дал имя попроще — «Вязанный дрозд».

Искренне удивляясь вернувшемуся самообладанию, но не пестрящему на холсте буйству, Джек скептически усмехнулся:

— Но... мне кажется, здесь тоже вагина.

— Дрозд! Это дрозд, — недовольно поморщился Сергей Ефимович. — Вот крылышки, вот клювик, — толстяк водил пальцем в воздухе рядом с картиной, — дерево, ветка, на которой птаха примостилась. Если очень постараться, можно разглядеть и насекомое, ползущее по стволу дерева.

— Таким макаром можно в чём угодно разглядеть что угодно. Если очень постараться.

— Не в этом ли и заключается сущность искусства? Кто сказал, что оно должно быть доступным для всех? Единицы узрят, при том каждый — своё, а быдло пусть так и остаётся в непонятках, и сердито хрюкает, и скалит зубы, — паясничая, Беленький карикатурно нахмурился, затем издал утробный хрюк и, зашипев, как вампир из пародии на готические фильмы, обнажил ровные белые зубы. — На то оно и быдло.

— Хм, — Джек присмотрелся к «Вязаному дрозду» и, глубоко-мысленно почесав затылок, пожал плечами: — Что-то я не въезжаю. Бездушная мазня, и только. Наверно, я быдло.

— Исключено. Генетически. Даже не мечтай, — толстяк зло прищурился. — Да и стал бы я тогда на тебя тратить время. Ты сын своего отца!

От этих слов Джека аж передёрнуло. Заметив под ногами головной убор Валентина Борисовича — красно-жёлтую кастрюлю, он от души пнул её ногой:

— А это-то — что? Задница Марса?

— Ох, зря ты так, — Сергей Ефимович суетливо подбежал к кастрюле, поднял её с пола, аккуратно отряхнул и водрузил обратно на голову спящего художника. — Несколько лет назад Валя отравился денатуратом... не представляю, какая гадина — убил бы! — подсунула ему эту бомжовскую дрянь. Я всегда снабжал его только дорогим, качественным алкоголем. Ну, вот захотелось ему попробовать — что ж тут поделаешь! Творческий человек! Вернувшись в мастерскую из отделения токсикологии, Валя неожиданно понял, что может наделять при помощи «изнурения» предметы быта силой, силой в смысле — как у талисманов, оберегов, амулетов, но самые обычные, ничем вроде бы не примечательные вещицы: сковородки, тазы, вёдра, стулья, настольные лампы, одежду, обувь, да даже, к примеру, ёршик для унитаза. Эта кастрюля была первой, пробным камнем, можно сказать, да так и осталась его любимым произведением. Не знаю, какая сила в ней заключена, но что-то есть, что-то есть. Во всяком случае — с точки зрения современного искусства.

Джек подошёл к столику, бесцеремонно налил полстакана абсента и опрокинул в себя, даже не поморщившись.

— Нравится? — усмехнувшись, спросил Беленький.

— Ничего так.

— У меня есть для тебя кое-что покруче, — толстяк извлёк из кармана брюк небольшую закупоренную колбочку с порошком, а к ней в придачу — крохотную ложечку, и протянул всё это Джеку.

— Что это?

— Кокс. Хороший. Бери, бери: это подарок. Как говорится: sex, drugs and rock-n-roll, — подождав, пока подарок перекоцует в руки Джека, а затем — в его карман, Сергей Ефимович заговорил снова: — Мне приносили видеозаписи твоих... ваших — «Жёсткая Академия» вроде группа называется? — выступлений...

— «Жестокая», — поправил Джек. — «Жестокая Академия».

— А. Ну, да, точно, извини. «Жестокая Академия». Так вот: я впечатлён! То, что ты вытворяешь на сцене, завораживает, хоть я, сам понимаешь, не знаток подобной музыки. Но энергетика, самоотдача, артистизм... Женёк, как на духу: тебе надо выбираться из этой безысходной провинциальной дыры, срочно! Пока молод и полон сил. Пока есть сталь в яйцах. В Москву. В крайнем случае — в Питер. Я помогу — и финансово, и с нужными людьми познакомлю. Только не тяни.

— Вы так говорите: «Ты, тебе, не тяни...» — как будто «Жестокая Академия» — это я один. Но нас четверо...

— Балласт! — гневно закричал Беленький и даже притопнул. — Остальные трое — балласт! Уж в столицах-то получше музыкантов наберёшь, настоящих профи. Поверь, проще и дешевле их купить там — денег выделю! — чем тащить отсюда. Потом, когда встанешь на ноги, перевезёшь постепенно и своих дружков. Если, конечно, к тому моменту жизни это бесполезное действие всё ещё будет казаться тебе необходимым, в чём лично я очень сомневаюсь.

Опустив глаза, но не избавившись от ощущения тяжёлого и требовательного, напористого взгляда Сергея Ефимовича, Джек задумался. А несколько секунд спустя, сжав губы, покачал головой:

— Нет. Только не так. Один за всех и все за одного. Или берите всех, или...

— Ой, ну хорошо, — раздражённо рубанул рукой по воздуху и не законченной Джеком фразе Беленький. — Давай организуем вам смотрины. 30 апреля я устраиваю грандиозный праздник в своей здешней резиденции — с фейерверками, звёздами шоу-бизнеса, дрессированными обезьянками, хлопушками и так далее. Найдём и для вас окошко.

— Не уверен, что ребята на это подпишутся...

— Вот! Вот. Что и требовалось доказать. Балласт! Паршивый балласт! Разве это не дилетантство? Да они же так и будут тащить тебя обратно, в родной Зажопинск, на аркане своего прыщавого подросткового нонконформизма! Тебе оно надо?

Джек пожал плечами:

— Ну... Я попробую убедить их.

— Попробуй. Да и фиг с ними, если откажутся выступать! — Сергей Ефимович неожиданно мягко, застенчиво улыбнулся и спокойно уже, словно исчерпал все запасы повышенного тона, проворковал: — Всё равно приходите, просто приходите на вечеринку. Берите подруг, друзей, и — милости прошу. Будет безумно весело!

Side three: Безумно весело

— Безумно весело будет, говоришь?.. — изогнув бровь, спросил Кострома у Джека, когда дюжие охранники с КПП наконец-то перестали ощупывать их чуткими руками и, отобрав цельнометаллический штопор у возмущённого Кэптив фана, пропустили на территорию поместья Сергея Ефимовича Беленького.

— Будет. Как только ты ныть перестанешь, — огрызнулся Джек.

— Это не я. Это сердце моё ноет... от плохих предчувствий, — сказал Кострома, и было непонятно: шутит он или серьёзно.

Впрочем странное это заявление так и осталось без ответа. Все с интересом осматривались по сторонам и недоверчиво похмыкивали.

Несмотря на частые, как «прощальные» концерты постаревших рок-звёзд, апрельские снегопады и дожди, представший взору парк был чистеньким и милым, радовал сердце вымощенными камнем аллеями, аккуратными прямоугольниками пока ещё голых кустов, заботливо расставленными тут и там уютными скамеечками и отчаянно белеющими в предвечерней хмури скульптурами. Откуда-то издалека доносились разорванные ветром в психоделические клочья звуки пианино.

Женщина, облачённая с ног до головы в чёрное, с огненно-рыжими кудрями, рассыпанными по плечам, появилась внезапно, словно спрыгнула с ударившей в землю молнии.

— Добро пожаловать! Рада приветствовать вас, друзья, на празднике весны! — произнесла она и, окинув взглядом оробевшую компанию, улыбнулась: — Как настроение, ребятня?

Нестройный хор смущённых голосов заверил, что хорошее. Лишь Кострома не вымолвил ни слова, потому что замер с открытым ртом...

— Вот и славно! Пройдя по этой аллее, мимо вон того забавного памятника дикому коту, поймавшему Луну, и дальше — всё время прямо, — плавное движение руки прочертило невидимую

линию, — вы попадёте к дому, а рядом с ним увидите беседку с закусками и шампанским.

— А вы нас не проводите? — разволновался Никита.

— Ах, я бы с превеликим удовольствием! — женщина громко (и весьма фальшиво, кстати, что заметили все, кроме Костромы) рассмеялась, после чего трагично развела руками: — Но должна встречать гостей. Прямо по аллее, никуда не сворачивая. Здесь невозможно заблудиться!

И много лет спустя эта неприметная, как проходной двор, фраза: «Здесь невозможно заблудиться!» — будет возвращаться к Джерри кадром из чёрно-белого фильма, в котором на мгновение вдруг вспыхивает нестерпимо сочный оранжевый — рыжие кудри одетой в чёрное женщины на фоне серого весеннего вечера... Если бы они тогда повернули назад... Просто повернули назад...

Но они, благополучно миновав скульптуру толстого хищного кота, что стоял на задних лапах, а в передних цепко зажал Луну, шли по аллее к видневшемуся вдали особняку, весело галдя, и даже Никита, позабыв о дурных предчувствиях, светился ярче тех фонарей, что уже зацвели вокруг. В авангарде, держась за руки, шагали Том и Оля, следом Кэптив фан в обнимку с Аней, за ними — Джерри и Кострома, а замыкал шествие непривычно молчаливый Джек.

За нагими кустами с одной стороны дорожки тянулся пруд с разноцветными фонтанчиками, с другой, чуть поодаль, — располагалась лужайка, где мужчины в чёрных одеждах выкладывали конус из колотых чурбаков — огромное кострище. Том, глядя на их расторопные движения, покачал головой:

— Скоро здесь будет жарко.

— И хмельные от весны гости будут прыгать через костёр, — добавил Джерри, с сомнением провожая взглядом прошедшую мимо пару — мужчину в смокинге и женщину в вечернем платье.

Налетевший ледяной ветер оглушил резким свистом, растрепал всем волосы, сбил дыхания, и, словно не в силах преодолеть его сопротивление, Никита сначала замедлил ход, а потом и вовсе остановился.

— Проклятье. Теперь у меня дежавю... — задумчиво проронил он.

— Час от часу не легче, — буркнул Джек, тоже вынужденный притормозить, чтобы не врезаться в препятствие из друга, но Кострома, не обратив на его реплику внимания, продолжил:

— Юг, частный пляж, куча расфуфыренных мажоров, толстяк-именинник на троне? Вы помните? Тебя, Джек, правда, ещё не было с нами... — Никита потёр лоб и напряжённо посмотрел на обернувшуюся и замершую посреди аллеи Олю. — Зато ты, Княгинюшка, тогда как раз оказалась среди гостей. Мы играли «Rev It

Up And Go», и Том чуть не убил тебя, метко метнув барабанную палочку...

— Да, я помню! — воскликнул Том, притянув Олю к себе. — Наша первая встреча, любимая!

Все, кроме отвернувшегося и плотно сжавшего губы Джека, а также Оли, уставившейся с невыразимым ужасом на Кострому, улыбнулись.

— Никита, — Олин голос дрогнул, — тот толстяк на троне... Скажи мне, скажи, пожалуйста, что это не он пригласил нас сюда!

— Откуда ж мне знать, — Кострома пожал плечами. — Денежный Мешок — знакомец Джека.

— Не он! Неон, мать вашу! Как на вывеске казино в Лас-Вегасе! — выпалил Джек и, грубо растолкав в разные стороны стоящих на пути Никиту и Кэптив фана, пошёл дальше.

И то ли ещё один по-весеннему пронзительный, мощный и вполне искренний порыв ветра был тому виной, то ли сердитое и уверенное движение Джека вперёд, но все потянулись следом, так и не расслышав испуганный Олин шёпот, похожий на мольбу:

— Я хочу домой...

Разгоняя залипшее здесь и сейчас до ускоренной перемотки и увлекая за собой растерянную, никак не успевающую сообразить, как нажать на «Stop», Олю, рванули чуть ли не вприпрыжку к звучащим всё чётче и громче пианинным переборам. В считанные секунды аллея выбросила их, тщательно перетряхнув, словно игральные кости, на огромную площадку перед домом, слева ограниченную сценой с белоснежным пианино и склонившимся над клавишами музыкантом, а справа упирающуюся в обещанную беседку, ближе всех к которой оказался Кострома.

Он-то первым и заметил направившуюся к ним оттуда рыжеволосую женщину в чёрном одеянии, абсурдно точную копию той, что встретила их на входе. В руках у двойницы был поднос с шампанским.

— Она что — телепортировалась?! Или я грежу наяву?! — прошептал Никита.

— Не волнуйся. Я тоже её вижу, — успокоил Том.

Женщина подошла. Обворожительно улыбнулась, но ничего не сказала. Всё было ясно и без слов: каждый взял по фужеру. И снова — кроме Оли и Джека. Оля, затравленно озираясь по сторонам, отказалась, мотнув головой, а Джек схватил сразу два фужера, один из коих тут же осушил и вернул на поднос.

Рассмеявшись, женщина подмигнула Джеку и удалилась, соблазнительно покручивая бёдрами.

— Ммммм... Недурственно... — тягуче, словно трамбуя удовольствие катком интонации в асфальт слов, произнёс Кэптив фан.

— Да... — многозначительно причмокнув, согласился Кострома.

— Я, если что, о шампанском.

— Так и я — о нём.

Усмехнувшись, Кэптив фан повернулся к Ане:

— А тебе как?

— Вкусненько! — кивнула та.

— Не дербентское, это точно... — подвёл итог Джерри и устремился с опустевшим фужером к беседке, где вокруг длинного стола с разнообразными закусками столпились нарядные и, несомненно, дорогие гости.

За Джерри потянулись Кострома и Кэптив фан с Аней. Том взял Олю за руку, но голос Джека, атонально тусклый, устало безжизненный, хотя и непостижимым образом одновременно преисполненный некой угрожающей силы, ворвался в унисон их грядущего шага непрошеной и диссонирующей нотой:

— Подождите. Том, — Джек вяло улыбнулся, — можно я похищу Олю ненадолго? Мне надо с ней поговорить.

Прекрасно развитым музыкальным слухом уловив в интонации Джека ту самую — лишнюю — ноту, Том растерялся, а осознав, что растерялся, — растерялся ещё больше. Он обратил на Джека долгий непонимающий взгляд, продолжая держать Олю за руку. Неуклюжая пауза тянулась, как перегородивший дорогу товарняк, вагонам которого теряешь счёт, а хвоста ещё даже не видно в дымчатой дали. Улыбка Джека, и так вымученная, блекла на глазах.

Первой не выдержала Оля. Она чуть сжала огромную ладонь Тома и мягко высвободила руку. Привстав на цыпочки, шепнула ему:

— Иди, я догоню.

— Хорошо, — Том быстро и как-то воровато поцеловал Олю в губы и, не оборачиваясь, зашагал к беседке.

Словно персонажи вестерна перед смертельным поединком, Джек и Оля теперь стояли друг напротив друга.

Небо, бывшее дотоле льдисто-серого оттенка, неожиданно потемнело. В ветре, совершенно ошалевшем, появились колкие дождевые капли.

— Неужели опять пойдёт снег? — Оля поёжилась.

— Дурацкая весна, да? — усмехнулся Джек, услышав до боли отчётливо в своей голове псевдоувлечённый голос диктора новостей: «Сегодня, 30 апреля, в нашем городе состоится Парад риторических вопросов! Вывернув с Проспекта разговоров о погоде, торжественное шествие пройдёт через Площадь непонимания и завершится на Аллее любовных признаний...»

— Да. Невыносимая.

— А ведь здесь она всегда такая. Дурацкая. И невыносимая. Как и всё в этом городе.

Оля промолчала. Она смотрела на Джека с тревожным ожиданием.

— Оля, я... — Джек запнулся, и диктор в его голове, а диктора Джек видел уже чуть ли не воочию: этакий прилизанный, гладенький хер в деловом костюме с отстроеным, словно музыкальный инструмент, голосом... так вот, диктор этот, адов диктатор из подсознания, тут же воспользовался подвернувшейся возможностью — склонился к самому экрану, с той стороны призрачного телевизора, и прошептал пародийно горячо: «Лублу тибя!» После чего, само собой, расхохотался, взвизгивая, как пьяная старуха. Джек дёрнулся и смигнул, отгоняя морок. А потом мучительно выдохнул: — ...уезжаю. Мне предложили перебраться в столицу. Дадут денег на проект, сведут с нужными людьми... да и музыкантов подберут... раскрутят...

«Как юлу!» — бесновался в телевизоре диктор, разрывая под пиджаком рубаху — пуговицы отскакивали прямо в экран, оставляя на нём трещины. Рукой, вскинутой над взлохмаченной головой, диктор то и дело яростно демонстрировал, как заводят юлу.

Джек окончательно сбился и замолчал, не в силах справиться с наваждением.

— Ребята знают? — тихо спросила Оля.

— Нет. Никто пока не знает. Да это и неважно уже. Я решил ехать...

Обезумевший диктор, приложив к пробитой в экране дыре гротескно огромный глаз, страстно захрипел: «О да, детка! Да-да-да! Да, детка! Да! Да! Да! Поехали со мной...»

— Поехали со мной! — почти закричал Джек, всплеснув, как в припадке, руками, а заодно и отправив позабытый фужер с недопитым шампанским в полёт.

От трагичного звяка, засвидетельствовавшего сокрушительную хрустальную катастрофу, Оля вздрогнула.

— А как же Том? — спросила она, глядя на Джека в смятении.

«А как же Боб?! — заорал уже просунувший в дыру с острыми краями окровавленную голову диктор. — Дорогой, а как же Боб?!»

— Боб не пропадёт... — нервно моргая, прошептал Джек.

— Какой ещё Боб?

— Том! Том не пропадёт...

«Том-томб-тромб, том-томб-тромб, том-томб-тромб, — поёт тромбон. — Это сон, это звон, это говорящий слон!» — теперь в руке у диктора была изящная трость, и с ней он дурашливо кривлялся, делая вид, что танцует, вовсе не замечая опоясавший туловище раскуроченный телевизор.

— Ох, Джеки, Джеки... — Оля покачала головой. — Я не поеду с тобой.

Выждав недолгую, но очень эффектную паузу — по всем канонам чёрного юмора, лиходея и проказник дождь хлынул неистово, с ошеломляющей силой. В таких случаях говорят «как из ведра», но что это должно быть за ведро! Размером с небо...

Взволнованные женские вскрики возвестили о переполохе, начавшемся в беседке, куда дождь по косой заметало ветром. Множась суета и беспорядок, гости ринулись к дому, возмущённо порывая друг на друга и толкаясь, словно все их социальные статусы смыло холодной водой. Раскаты смачных матюгов тут и там прорезали плотный многоголосый гомон.

И только Джек, сильно вымокший, с потемневшими, прилипшими к лицу прядями, был недвижим. С жалким спокойствием обречённого, уже осязая душой падение в разверзшуюся бездонную пропасть — невозможность, он спросил:

— Почему?!

Оля дрожала всем телом. Губы её тряслись и кривились, как у обиженного ребёнка, из глаз струились, смешиваясь с дождевыми каплями и стекая по щекам, слёзы, но голос был твёрд, как никогда:

— Потому что в лживом человеческом мире, мире предателей и лицемеров, должен хоть кто-то оставаться хорошим.

Ещё одно мгновение, показавшееся Джеку долгим джонтом, они смотрели друг на друга сквозь пелену воды и стремительно растущее между ними расстояние (из тех, когда ещё можешь дотянуться до человека рукой, но тепла от прикосновения уже не почувствуешь), а потом Оля развернулась и ушла. Не оглядываясь. Быстрым, но уверенным шагом. Без спешки, но и без колебаний. Скрылась в толпе спешащих в дом гостей, оставив Джека, у которого внезапно потемнело в глазах, одного. Бросила его погибать в ужасной пучине мрачайшей невозможности.

— На свете есть два типа людей, — вполголоса проговорил Джек, обращаясь то ли к вернувшемуся в заэкранье диктору (а тот снова щеголял в безупречном костюме, чистенький и гладенький, как ненадорванная упаковка, со стерильной улыбкой на устах), то ли к себе самому, — те, у кого много друзей, и те, кто одинок, как бедный Туко, — Джек мок под проливным дождём, исподлобья наблюдая, как последние гости забегают в дом. — Не хочу быть хорошим. Хочу, чтобы мне было хорошо!!

И он направился к особняку, угрюмый и решительный, как... Нет, теперь уже не «бедного Туко» в исполнении Илая Уоллака вспомнил Джек, а Джеймса Кэгни, бредущего по лужам с пистоле-

тами в карманах за верной пулей в голову в одной из финальных сцен фильма «Враг общества».

В два прыжка преодолев опустевшую каменную лестницу, Джек ворвался в тепло вестибюля. До боли яркая после сумрачной улицы иллюминация резанула по глазам, и Джек, ослепнув на миг, врезался в чью-то широкую спину.

— Извините, — злобно пробормотал он.

— Говно вопрос! Здесь, брателла, как в русской народной поговорке — в тесноте да в обиде, — рассмеялась в ответ спина, а тут уже и Джека бесцеремонно пихнули сзади, и в бок ему вонзился чей-то острый локоток.

Внутри было не развернуться. Взъерошенные гости, обалдевшие от неразберихи, торопились к свободным пространствам, подальше от неприятной близости друг к другу, топтались-толкались, хорохорились, возмущённо верещали, налетали грудь на грудь, пучили глаза, верещали ещё громче.

Больше изображая движение, чем действительно направляясь куда-либо, Джек, почуствовавший себя наконец-то в собственной тарелке — тарелке наваристой ненависти, бесцельно кружил по вестибюлю со всенепрощающей ухмылкой и азартно возвращал тычки направо и налево, пока не заметил в толчее явно потерявшуюся и близкую к панике Аню. Она озиралась по сторонам, прикусив губу, и беспомощно хмурилась. А тут вдруг ощутила кожей, словно ожог, ястребиный взгляд и заполошно встрепенулась, но слишком поздно: спикировав на сжавшуюся в дрожащий комочек жертву, Джек схватил её обеими руками и потащил к ступеням, ведущим на второй этаж. К слову, она особо и не сопротивлялась.

В то же самое время, буквально в паре спин от Джека и Ани, встретились Том и Кэптив фан. Оба не на шутку встревоженные.

— Не видел Олю? Или Джека? — спросил Том.

— Нет. А ты — Аню?

Том отрицательно покачал головой.

— Разделимся или вместе пойдём искать?.. — неуверенно произнёс Кэптив фан.

— Разделимся! — уверенно обрубил Том и, прокладывая плечами дорогу, подался вправо, интуитивно выбрав верное направление, ибо именно туда и свернули несколько ранее Джерри, Кострома, а также случайно набредшая на них Оля.

Джерри, флагман дрейфующей по длинному коридору тройцы, вместо руля сжимал в руках «спасённую» со стола в беседке непотатую бутылку французского коньяка и теперь высматривал тихую, укромную гавань, мечтая скрыться от докучливого внимания незнакомцев и уже давящего на мозг гвалта. Вот только все попа-

дававшиеся им по пути открытые комнаты были полны людей, и рулевой Джерри в конце концов выбрал наудачу одну из закрытых. Схватившись за дверную ручку, он повернулся к Никите и Оле с вопросительной миной на лице. Кострома, кивнув, показал большой палец, и Джерри, уложив все движения в один решительный рывок — на манер Жосслена Бомона из «Профессионала» («Месье Вольфони, мороженое и напитки? Жосс Бомон, шпионаж и мордобой!»), распахнул дверь и влетел внутрь.

Двое, что сидели за столом с чадающими сигаретами в руках, прервали беседу и с изумлением уставились на добежавшего по инерции аж до середины комнаты Джерри.

— А вот и коньяк подоспел, — задумчиво проговорил Ермолин-старший и пустил из ноздрей струи густого табачного дыма.

— Фига се! Свергунок! Ну дела! — вскричал, плотоядно ухмыляясь, Ермолин-младший и, раздавив бычок в пепельнице, отодвинулся вместе со стулом от стола, чтобы встать.

По мере того, как он медленно поднимался и гротескно раздавался вишь, заполняя косой саженью плечей все направления сразу, разрастался нелепо, чудовищно, словно тесто, распирающее кастрюлю мироздания, Джерри — погружался, увязал всё крепче и безнадежней в бредовом, сковывающем разум сне, ведь не могла же явь вдруг сделаться столь эфемерно кошмарной? Нет, такого не бывает. Не может быть. Не должно быть. Потеряв контакт с собственной волей, Джерри, как зритель в кинотеатре, наблюдал за происходящим со стороны, не в силах больше влиять на ход событий. Потому и позволил Андрею Ермолину усадить себя за стол, аккуратно напротив Ермолина-старшего, не проронив ни слова и не сопротивляясь, разве что выставив перед собой бутылку коньяка, чтобы хоть как-то заслониться от насмешливо-злых очей Дмитрия Александровича.

— Ба! Никитос, и ты здесь! — ещё удивлённей воскликнул Ермолин-младший, заметив Кострому. — Охренеть не встать. Прямо-таки вечер встречи выпускников! Давай-ка тоже к столу, однокашник хренов.

— Спасибо. Я постою.

— А и правильно, — согласился Андрей, обратив, наконец, внимание на Олю. — Свободный стул один остался, а с тобой, Никитосина-очконосина, как я погляжу, прекрасная незнакомка...

— Почему же «незнакомка»? — раздался зычный голос Ермолина-старшего. — Знакомка. Ты ж дочка покойного Сашки Князева, верно? — его тяжёлый взгляд упёрся в побледневшее Олино лицо.

— Да.

— Я знаю, что «да». Тебя разве забудешь! Сергей Ефимович — и тот голову потерял, только о тебе и... — громкий дребезжащий

звук прервал Митю Кулака, и из кармана его чёрной рубашки гну-саво и противно запело:

По мне плачет только тюрьмаааай

На холодной заре...

Ермолин-старший вытащил сотовый телефон, посмотрел на дисплей и довольно хмыкнул:

— Вспомнишь чёрта — он и появится! Здорово, Манул! У нас? В Багдаде всё спокойно. Дождь подкузьмил — загнал гостей в дом, а так — без эксцессов. Ждём твоего прибытия. Что-о? — Митя Кулак поморщился. — Не было печали... Ерунда, конечно, но неприятно. Точно. Бабка завсегда всё испортит. Их надо всех вместе собрать, пердунов старых, и на вершину снежной горы отправить подыхать, как япошки делали. Но да ладно. Теперь-то что? — послушав торопливый писк трубки, Ермолин-старший выразительно взглянул на Олю. — Здесь. А прямо здесь, в одной комнате со мной. Нет, сама пришла. Да всё нормально, ты не менжуйся! Дождётся тебя. И твоего архиважного ритуала. Да знаю, знаю, что ради этого весь кипиш и затеян. Дождётся, говорю. Ты что, во мне сомневаешься? Я умею уговаривать, ты же знаешь. Нежно и деликатно. Всё. Давай, Манул, до встречи.

Митя Кулак убрал телефон в карман и оглядел присутствующих, застывших в тревоге, как фрукты в желе.

— Сергей Ефимович задерживается. Бабку они сбили. Вроде как та нарочно под машину прыгнула — Берг не успел среагировать. Удар был такой силы, что старуху в витрину модного бутика зашвырнуло, шапка её меховая на светофоре повисла, а клюка лобовуху протаранила и чуть Ману... то есть Сергею Ефимовичу полголовы не снесла, — Ермолин-старший помолчал немного, отрёшённо глядя в сторону и барабаня пальцами по столу, а потом повернул свою огромную шишковатую голову к Оле. — Но он скоро будет. И очень просил тебя его дождаться. Ведь ты, красотуля, главное действующее лицо сегодняшней ночи.

— Я... не могу... — Оля медленно отступила. — Мне надо... домой! Ермолин-старший чуть приподнял брови — скептически.

Ермолин-младший притворно округлил глаза и покачал головой. А потом потянулся к Оле рукой:

— Ну, это ты брось, детка!

— Нет, это ты брось, детка, — неожиданно шагнул вперёд, за-слонив собой Олю, Кострома. — Ты же слышал, что она сказала? Мы уходим.

— Так-так-так, Никитос. И давно у тебя эти приступы храбро-сти? Лечебных люлей, наверно, аж с академии не получал, да? Уж больно случай запущенный. Так я пропишу. По старой памяти.

И за эсминец, и за всё остальное. Как говорится, кто старое помянет — тому глаз вон, а кто старое забудет — тому оба глаза вон. Ты, кстати, сними, сними их — лишние зенки-то.

Кострома снял очки и протянул, не оборачиваясь, назад — Оле.

Она взяла их не сразу — некоторое время просто смотрела на них в замешательстве, но когда её пальчики наконец осторожно сомкнулись на мосте очков, Оля, словно перейдя по этому мосту на другой берег, неожиданно осознала всю дикость и непоправимость того, что сейчас произойдёт. Выглянув из-за плеча своего хрупкого защитника, она крикнула неподвижно сидящему за столом Джерри:

— Жень, ты не вмешаешься? Он же покалечит его!

И пусть имён не прозвучало, не приходилось сомневаться в том, кто кого «покалечит»: Голиаф был всё так же могуч и злобен, а Давид — полуслеп и без прачи...

Но Джерри не отозвался, даже не дрогнул. Будто под гипнозом, он упорно глядел в стоящую перед ним бутылку, и бутылка говорила с ним: «Не лезь в меня, Женечка. Не лезь в бутылку! Ты же Трусливый Лев! Трррррусливый Лев, Трррррусливый Лев, Трррррусливый... А теперь посмотри на монстра, что сидит напротив. Ручищи его видишь? Шире твоего туловища, малыш, шире твоего туловища. Бугры мышц со вздутыми венами. Руки убийцы! Он тебя этими рычагами на полосы разорвёт, как бумажный листок. Женечка, глупыш, ты же Трусливый Лев, вот и будь им. Зато живым останешься и здоровым. А этот кошмар скоро закончится так или иначе, и ты забудешь его. Вытравишь из сознания, как крысу. А труп запрядешь в тёмный чулан, где уже давно гниют самые постыдные отбросы памяти. Тебе не привыкать! А потому сиди и не рыпайся!»

И Джерри сидел. И не рыпался. И вообще — не двигался, словно высеченный в скале монумент трусости.

А вот Кэптив фану, пробирающемуся по вестибюлю со свёрнутой в трубочку и зажатой в руке тетрадкой и тщетно выискивающему глазами Аню, в отличие от окаменевшего Джерри, двигаться приходилось много и сноровисто, и ощущал он себя аквариумной рыбкой, выпущенной в океан: волны человеческой плоти били со всех сторон, обдавали косыми брызгами взглядов, жалили гарпунами каблуков, бросали на рифы выпяченных пружинистых животных. Кэптив фан потел, крихтел и ворчал:

— Теперь я понимаю, что значит та загадочная фраза: «Я протыкаюсь на ваши пупы». Теперь понимаю...

Исследовав вестибюль вдоль и поперёк, он выбрался из толпы на лестницу и, тяжело дыша, вскарабкался на второй этаж. Там людей было поменьше и можно было перевести дух. Взмокший и растрёпанный, он углубился в коридор на несколько метров и

прислонился спиной к стене. Вытащил из кармашка шариковую ручку, открыл тетрадь, старательно вывел посередине строки: «30 апреля» — и вдруг услышал из-за ближайшей закрытой двери знакомый — до боли! — голос:

— Подожди. Без резинки не буду.

Кэптив фан вздрогнул и подошёл к двери, чувствуя и жар, и озноб одновременно, как при гриппе. Взялся за дверную ручку и замер, парализованный предопределённостью. Есть такие двери, которым лучше оставаться закрытыми...

— Какой ты... — донеслось из комнаты. Сказано это было немного застенчиво, но с похотливой покорностью.

Рванув дверную ручку вниз, Кэптив фан толкнул дверь вперёд что было силы.

Первое, что предстало его поражённому взору, — огромная меховая шкура на полу, заканчивающаяся грустной медвежьей головой. Почему-то именно шкура эта — а ведь в комнате было на что подивиться! — бросилась ему в глаза, на полмгновения затмив всё остальное. К сожалению, только на полмгновения. Потому что в шкуру упирались коленки совершенно голой Ани, застывшей с презервативом в одной руке и членом Джека — в другой.

Джек медленно повернул голову, мутно посмотрел на Кэптив фана и вдруг расхохотался, точь-в-точь как стоуновский Килмер-Моррисон в том эпизоде фильма, где двери лифта не вовремя открылись.

Выронив тетрадь и ручку на пол, Кэптив фан покачнулся и, наверно, упал бы, если б не схватился за дверной косяк. Помогая себе руками, он отполз по стеночке от комнаты с медвежьей шкурой и побрёл, шатаясь, к лестнице. Коридор расплывался перед его глазами, ноги подгибались, голова шла кругом. Всё вокруг тонуло в бурливом вареве-мареве, на кипящей поверхности которого то и дело надувались пузыри уродливо искажённых лиц и лопались, обдавая обезображенными до неузнаваемости словами.

Он и не заметил, как очутился на улице, под льющими и льющими с неба ливневыми струями, с сотовым телефоном в руке. Кажется, он звонил таксисту-иранцу (или кто он там по национальности) и просил скорее забрать его отсюда, хотя не мог сосредоточиться и вспомнить, назвал ли адрес. К тому же из-за сумятицы в голове и окружающих его со всех сторон сумрачных завес дождя Кэптив фан с трудом представлял, в каком направлении идти, и двигался, по сути, наугад.

Как и Том, вынужденный заглядывать во все комнаты подряд, словно посредник по сбыту второсортных товаров. Он уже успел обойти половину длинного коридора, когда из-за приоткры-

той двери, находящейся чуть впереди по левую сторону, донёсся истошный женский вопль.

Двумя невероятными прыжками преодолев расстояние, Том ворвался в комнату и едва не наступил на ногу распластавшегося на полу Костромы. Никита, похоже, был в глубоком нокауте. Из рассечённой брови текла кровь.

Кричала Оля, вжавшаяся в стену и выставившая перед собой в дрожащей руке очки Костромы, будто распятие, призванное защитить от нечистой силы.

Но нечистый, склонившийся над Костромой, очков животворящих не убоаялся, а, напротив, довольно потирал руки и злорадочно щерился. Пока не узрел влетевшего в комнату на всех парах Тома.

Распрявиться Андрей Ермолин так и не успел — получив удар кулаком в нос (от оглушительного треска содрогнулся даже завожжённый бутылкой Джерри), накренился вбок, как тонущий корабль (к примеру, эсминец), и начал стремительное падение, но Том схватил его двумя руками, оторвал от пола, приподнял над головой и швырнул. Пролетев над Ермолиным-старшим, Ермолин-младший впечатался в стену с такой силой, что комнату хо-рошенько встряхнуло.

Митя Кулак выскользнул из-за стола. Его движения были плавными и по-тигриному грациозными, но одновременно и — неуловимо быстрыми. Уже в следующую секунду он обрушил на Тома серию ударов, целя то в голову, то в корпус. Каким-то чудом блокировав их, Том совершил ответный выпад, но очень неумело: без труда увернувшись, Митя Кулак врезал Тому по печени, от чего тот, охнув, упал на колени.

Оля снова закричала. Очки в её руке громко хрустнули.

Придя в сознание — словно именно от этого жуткого хруста — Кострома заскре́б руками по полу, пытаясь подняться.

Джерри таращился на бутылку.

Нарочито медленно, всё с той же хищной кошачьей пластикой и разве что не пританцовывая, Митя Кулак подошёл к Тому вплотную, сомкнул руки на его шее и начал давить. Но и Том, напрягши все силы, вцепился в запястья душителя и, чуть ослабив хватку, захрипел:

— Джерри, помоги...

Джерри, бледный, как поганка, сидел по-прежнему неподвижно, вперив взгляд в коньячную бутылку, и только губы его, не издавая ни звука, по-рыбьи открывались и закрывались. «Встать... Взять тебя за горлышко... И двинуть тобой монстру по башке, чтобы он отпустил моего друга...» — «Женя, ты сбрендил?! Нет, ты что, это всерьёз?! Ну, разобьёшь ты меня об голову этого бандюка — думаешь, он вырубится? Потеряет сознание, рухнет на пол

и затихнет... Хрена-с два! Я скажу тебе, что будет. Он отшвырнёт полузадушенного Тома и займётся непосредственно тобой. Расколотит тебя на осколки, так, что потом не разберёшь, где мои, а где твои. Вот что ты за человек такой?! Жить тебе надоело, да? Женечка, дорогой, «Кровавую Мэри» с водкой и томатным соком делают, а не с коньяком и кровью!» — «Встать! Встать и биться! Сейчас! Биться... слово-то какое неудачное... Встать! Встать, Трусливый Лев! Встать!.. Встать!!!» — так, мысленно срывая голос, «орал» Джерри на самого себя и сам себя не слушал, ибо уютное и надёжное бездействие обволокло его волю, опутало паутиной заботливого паука, впрыснув убаюкивающий яд.

А Том всё хрипел и хрипел в надвигающуюся со всех сторон тьму, теперь уже неразборчиво и совсем тихо. Зажмурившись во имя старого доброго волшебства, которое только и могло его теперь защитить, он, как и Джерри — мысленно, воззвал: «Джек! Джек, мать твою! Где же ты?!» Не уловив в ответ ничего — ни отзвука, ни всплеска, как если бы Джек умер, Том собрал последние лучики меркнувшей жизни и сверкнул отчаянно в непроглядную пелену: «Лёха!!! Кэптив фан!!!»

И Лёха, Кэптив фан, послание принял. Заплутавший в дожде, от внезапной вспышки, пошатнувшей сознание, он споткнулся и рухнул, словно контуженный, на мокрые камни. Но тут же вскочил и побежал. Обратно. К плывущему перед глазами особняку.

Вестибюль был всё так же ослепительно ярок, но заметно опустел: гости разбрелись по углам и комнатам, откуда приглушённо и местечково зудели, не порождая более общего гула. И лишь из правого коридора доносились громкие, встревоженные голоса.

Бросившись туда, Кэптив фан увидел в дальнем конце несколько человек, замерших в волнении возле одной из открытых дверей. Привлечённые чуть ранее Олиными криками, люди возбуждённо переговаривались, тыча пальцами в зияющий дверной проём, но заглянуть в него не решались.

Не сбавляя скорости, Кэптив фан разметал их в разные стороны, влетел в комнату, перепрыгнул копошащегося на полу Никиту, схватил, не раздумывая, со стола бутылку коньяка и саданул ей с размаха в огромную бритую башку, нависшую над безжизненно обмякшим Томом.

Фейерверк из стекла и коньячных брызг взметнулся под потолок.

Митя Кулак отшвырнул от себя Тома и развернулся. Кровь заливала его звериные глаза, хлеща с едва уловимыми паузами откуда-то сверху, из разбитой головы, тонкими, словно из водного пистолета, струйками, однако под хорошим напором. Рыча и покачиваясь, уже без тигриной грации, но со всей основательностью

опытного хищника, Митя Кулак подобрался к Кэптив фану и ударил его в челюсть — хлёстко, сильно.

Даже не поняв толком, что произошло, Кэптив фан по-птичьему, будто хотел взлететь, взмахнул руками, в одной из которых был зажат огрызок бутылки — горлышко с выступающим длинным острым краем, похожим на клык, и попятился, нелепо и пьяно топая в ускользящий пол, чтобы устоять на ногах. И устоял! На самом краешке погибели удержался, ибо Митя Кулак уже нёсся на него.

Скорее почувствовав его приближение нутром, нежели увидев — перед глазами пульсировал искристый калейдоскоп, — Кэптив фан инстинктивно выбросил вперёд руку с бутылочной «розочкой» (так достают спрятанные за спиной цветы, чтобы преподнести приятный сюрприз) и угодил Дмитрию Александровичу торчащим «шипом» чуть ниже кадыка.

Тычок получился резким. Митя Кулак схватился обеими руками за горло, откуда забулькало, тихо и зловеще, как если бы вскрыли бомбажную консерву и из неё потекла, радостно бурча и пузырясь, тухлая жижа. Кровь медленно ползла между сжатых пальцев Дмитрия Александровича. Он вдруг сделал два стремительных шага вбок и свалился под стол, за которым всё ещё сидел Джерри.

Опрокинув стул, Джерри отскочил к стене. Весь ужас происходящего лишь сейчас стал постепенно доходить до его сознания, и мучительный процесс этот напоминал пробуждение после общего наркоза.

В паре метров от ошарашенно озирающегося Джерри Кэптив фан присел на корточки из-за сильного головокружения. В руке он по-прежнему сжимал огрызок бутылки, измазанный в крови.

Оля и Кострома общими усилиями помогли Тому сесть, и Том, преодолевая боль, просипел:

— Надо уходить отсюда... И как можно скорее.

— Только сначала найдём Джека и Аню, — тихо возразил Кострома.

Поднявшись на ноги, Кэптив фан отшвырнул окровавленное горлышко и сказал:

— Я их уже нашёл. Там, наверху...

— Джек больше не с нами, — прервал его Том. — Их здесь не тронут.

Кострома поморщился:

— Почему — не тронут? Откуда ты знаешь?

— Я знаю, — вместо Тома ответила Оля. — Джек... — она запнулась: правильные окончания фразы: «...предал вас» — и ещё более верное: «...предал нас» — никак не желали сходиться с языком, и потому она просто повторила сказанное Томом: — Больше не с нами.

В коридоре между тем нарастал ропот человеческих голосов.

Кэптив фан решительно махнул рукой:

— Пора рвать когти! Иначе нас здесь линчуют. За воротами ждёт такси. Необходимо добраться до него! Во что бы то ни стало.

— Не уверен, что сам смогу встать, — пробормотал Том.

Кэптив фан подбежал и помог Оле и Костроме поставить Тома на ноги. Не замечая шагнувшего к ним, но приостановившегося на полпути Джерри, они, поддерживая Тома, двинулись к двери. Джерри унылой тенью поплёлся за ними.

В коридоре на них многоглазо уставилась заметно возросшая толпа. Люди морщили лбы, хмурили брови, ворчали, но неуверенно расступались, освобождая дорогу. Ближе к выходу из коридора маленькая потрёпанная компания уже бежала. В спину летели тревожные окрики.

На улицу, в неутихающий дождь, высыпали почти одновременно.

— Куда дальше?! — закричал Кэптив фан: видимость была близка к нулевой.

— За мной! Я поведу вас! — неожиданно воскликнул Кострома восторженно и дерзко — голосом д'Артаньяна Михаила Боярского и расхохотался, согнувшись в три погибели и стуча себя руками по коленям. — Тысяча чертей! Я вообще ничего не вижу...

Оля, даже в этот момент не вспомнившая, что до сих пор держит в руке сломанные очки Костромы, слабо улыбнулась.

Улыбнулся и Том, которого ледяной апрельский душ привёл в чувство.

— Думаю, нам туда, — он дал знак следовать за ним.

Вряд ли кто-нибудь из них смог бы ответить, сколько времени прошло, прежде чем из дождя вынырнула знакомая аллея, потому что вслед за пространством с катушек постижимого съехало и время, потеряв всякую меру. Аллее, ведущей к воротам, обрадовались, как радуются пробуждению от ночного кошмара.

— Теперь всё время прямо, — с облегчением произнёс Кострома, оказавшийся в выстроившейся веренице последним. Его слегка потряхивало от холода, и, наверно, поэтому он не сразу подметил и выделил среди своих ощущений нечто чужеродное, враждебное и вкрадчиво навязчивое, словно слепень на шее. Когда-то он уже испытывал что-то подобное, давным-давно, в детстве... или во сне? Или...

Кострома резко остановился. И обернулся. И увидел. Вот так — без очков, стоя перед глухой стеной ливня, — увидел.

Двое шли за ними по пятам. Приближались медленно, но неминуемо. Двое странных и подозрительных типов в матово-чёрном ореоле, от которого шарахались в стороны дождевые капли.

— Никита, ты чего? — Кэптив фан приостановился и крикнул остальным: — Подождите!

— Нет! Ни в коем случае... не ждите, — помертвевшим голосом прошептал Кострома. — Бегите! Так быстро, как только сможете. Я их задержу... Нет, не так, — Кострома усмехнулся и гаркнул Боярским: — Я задержу их, ничего!

— Да о чём ты вообще... Ох ты ж Йошкин кот!

Кэптив фан разглядел две светящихся чёрным фигуры — великана и карлика.

Вернувшиеся Том и Оля — Джерри так и остался стоять чуть впереди — сначала непонимающе уставились на Кострому и Кэптив фана, но потом тоже увидели. Оля, ахнув, закрыла лицо руками, а Том пробормотал, качая головой:

— Что ещё за чертовщина?!

Великан шагал широко и важно — плыл по воздуху. Рукоять ножа, выглядывающая из ножен на поясе, величаво кивала в такт огромным шагам. Карлик семенил мелко, кособоко и яростно, словно желал раскрошить ногами брусчатку.

Оля убрала руки от лица и посмотрела безумно на Тома:

— Это убийцы моего отца, Антон! Вот что это за чертовщина. Они убили моего отца! Встали поперёк шоссе, и он остановил машину, и вышел к ним, а мы остались внутри, и мама всё кричала, чтоб он не ходил к ним, чтоб вернулся, вернулся к нам, но он... никогда никого не боялся... и пошёл прямо к ним... — Оля всхлинула. — Они заставили его подбросить монету... а потом... потом ему отрезали голову...

— Уведи её, — Кострома вцепился в плечо Тома и надавил. — Скорее! Уходят все! Немедленно!

Том накрыл руку Никиты своей большой ладонью и хотел сказать, успеть сказать так много — самого важного, самого доброго, но не смог выдать ни слова: ком в горле не давал набрать в грудь воздуха, дыхание срывалось, да и в глазах щипало, и Том просто кивнул, а после — обхватил рыдающую Ольгу за плечи и потянул вперёд.

— Нет, нет, нет! Они же убьют его, Том! Убьют! — Оля мотала головой и упиралась, как кошка, которая не хочет «на ручки», но Том уже почти волок её за собой.

Кострома повернулся к Кэптив фану.

— Даже не думай, чувак! Я остаюсь с тобой, — Кэптив фан упрямо сжал губы.

— Ой, Лёха, Лёха... Я справлюсь и без тебя. А они — нет. Им понадобится твоя помощь. Кто-то должен отвлечь охранников с КПП, чтоб остальные выбрались из западни. Кто — если не ты? Уж не Джерри — точно. А Том должен позаботиться об Оле.

Кэптив фан молчал и угрюмо глядел исподлобья.

— Давай прощаться, брат! Обними меня... — Кострома поманил пальцем и распахнул объятия. — Только, пожалуйста, по-дружески.

Вздыхнув, Кэптив фан шагнул к Костроме и обнял его. Оба улыбались.

— Скоро увидимся, бро. И бахнем как следует!

— Хо-хо-хо. Чур, я проставляюсь. Литров пять «Кровавой Мэри» обещаю.

— Во мне побольше будет, — рассмеялся Кэптив фан. Похлопав Кострому по спине, он разжал объятия и ушёл в дождь.

Кострома, дрожа всем телом, но продолжая улыбаться как ни в чём не бывало, пусть ужас и холод выстудили всё внутри, медленно развернулся к подошедшим уже почти вплотную убийцам.

— Не проходите мимо, господа! Слышал, вы промышляете азартными играми?

Двое остановились. Великан посмотрел на маленького трясущегося человечка, перегородившего аллею, с неизъяснимой грустью, даже сочувствием. Карлика же, как и Кострому, трясло, но только не от страха и холода, а от злобы.

— Итак! На ловца и зверь бежит, — сквозь стучащие зубы проговорил Кострома. — Вот он я — перед вами, покорный жертвенный барашек, воплощённая мечта любого шулера, глупый беззащитный фраер, готовый всё поставить на кон. Сыгранём?

Губы карлика со змеиным шипом расплзлись в сквернейшую ухмылку:

— Ишь ты, барашек. Ну, давай, давай, протяни лапку.

Кострома вытянул руку и спустя секунду почувствовал в ней невероятную тяжесть. Поднеся ладонь близко-близко к глазам, он узрел монету с выгравированным посередине словом «Пропал». Перевернув монету, разглядел то же слово и на другой стороне — «Пропал».

— По ходу, приговор обжалованию не подлежит...

— Кидай, бродяга, — проскрежетал карлик.

Кострома сжал ладонь в кулак. И вдруг швырнул монету изо всех сил куда-то в сторону, в наглухо зашторенное дождём потёртое пространство.

— Неловкость рук и никакого мошенничества, — довольно хмыкнул Кострома, но карлик одним неумовимым движением схватил его руку и дёрнул её на себя, разворачивая ладонью вверх.

На открытую ладонь вместе с дождевыми каплями упала монета и задымилась, обжигая кожу. Кострома застонал от боли.

— «Пропал», — глухим басом молвил великан и рванул из кожаных ножен, приделанных к поясу, длинный-предлинный нож.

Жуткий крик Костромы настиг беглецов в нескольких метрах от уже проступивших из дождя, пусть и смутно, ворот, рядом с которыми располагался контрольно-пропускной пункт. Джерри, Оля и Том, присев на корточки, спрятались за памятником дикому коту, поймавшему Луну.

— Придётся брать КПП штурмом, — с сомнением произнёс Том, но подоспевший Кэптив фан, чуть пригнувшись, но не опускаясь на корточки, с досадой отмахнулся от этого предложения:

— Не придётся! Я выманю охранников и уведу за собой, а вы проскользнёте наружу. Если повезёт, за воротами вас будет ждать такси. Других вариантов нет. Равно как и времени на долгие споры и прощания.

Едва договорив, он широко усмехнулся, показал руку с оттопыренными в виде пистолета большим и указательным пальцами, прищёлкнул языком и подмигнул одновременно, как герой классических американских боевиков 80-90-х годов, после чего, не дав никому и секунды, чтобы опомниться, бросился вперёд.

Осторожно выглянув из-за памятника, Джерри наблюдал за тем, как Кэптив фан подбежал к двери КПП и принялся бешено молотить в неё кулаками. Дверь нехотя приоткрылась, и Кэптив фан заорал на отпрянувшего и оторопевшего охранника. До Джерри доносились только обрывки фраз о страшном побоище, что прямо сейчас происходит на территории поместья, рядом с особняком, ножах и пистолетах, нескольких убитых и множестве раненых.

«Ничего не получится, — устало и безразлично подумал Джерри. Словно тёплое одеяло, апатичное отупение накрыло его с головой, вытеснив страх и укутав в мысли о чистой белой постели с мягкими подушками и всепоглощающим сном. — Никуда-то они с КПП не уйдут. Скрутят дурачка Лёху и вызовут сюда подмогу, чтобы причесать всё вокруг и найти нас. А потом...»

Но додумать, что будет потом, Джерри не успел, потому что из помещения КПП, натягивая на ходу куртки, выскочили два охранника и помчались вслед за зазывавшим их криками и жестами Кэптив фаном. Спустя мгновение из дверного проёма показался третий охранник, поёжился, от души сплюнул в бушевавший ливень и скрылся внутри.

«Почти... почти... в следующей жизни — повезёт», — Джерри тяжело вздохнул и прикрыл глаза, но когда открыл — увидел, как третий охранник, в куртке, кепке и с автоматом в руках, несётся огромными прыжками за убежавшими товарищами.

— Go! — закричал Том, больно стукнул Джерри по спине, схватил Олю за руку, и они рванули к оставшейся открытой двери.

Джерри плохо запомнил подробности их дальнейшего бегства.

Такси — трогательный жёлтый жигулёнок — стояло на другой стороне дороги. Запрыгнув на переднее сиденье, Джерри, выкатив глаза на изумлённого чернобородого водителя, вопил и вопил, чтоб тот трогался и гнал: неважно — куда, важно — чтоб отсюда и как можно скорее, вопил даже тогда, когда они уже неслись вовсю по вымокшей дороге прочь от поместья Сергея Ефимовича Беленького.

И лишь одна деталь уродливым шрамом навсегда врезалась в утопшую в хаосе память: обернувшись к Тому и Оле, Джерри увидел зажатые в Олиных руках сломанные очки Костромы и прошептал потерянно, то ли вслух, то ли про себя: «Как же он там без них...»

Мула и Манул: Part 9

Даже среди старейшин не было единого суждения о том, когда и кем воздвигнута крепость за рекой, равно как и о том — кем впоследствии разрушена. Сходились в одном: к неувядающей славе достопочтенных предков скверное место это, где так трудно дышится и мережится всякое, никакого касательства не имеет и кишмя кишит нечистыми духами.

Мулу, твёрдым шагом приближающемуся к руинам, было хорошо известно ещё со времён ученичества у Огнеглазого Судии коварство демонов, их неутолимая кровожадность, но знал он также и то, что иные люди — хуже. Гораздо хуже. Вот, скажем, как те, что появились с автоматами из-за обломков каменной стены и, отобрав сундучок с магическими инструментами, торопливо обыскали Мула, после чего сопроводили вглубь зловещих развалин.

Из чёрного проёма, ведущего в полуразрушенную, но довольно высокую башню, выбрался, крихтя, уже знакомый Мулу толстяк и, тяжело отдуваясь, прохрипел:

— Не иначе как бесы закрутили в спираль эту узкую и крутую лесенку, будь она проклята! Когда карабкаешься по ней в крошечной тьме, держась руками за камни в стенах, то сначала кажется, что вот-вот застрянешь и задохнёшься от ужаса, а в следующее мгновение — что подвернёшь ногу и полетишь кубарем вниз, чтобы свернуть себе шею. А наверху, на открытой площадке, такой ветродуй...

— Где моя дочь? — перебил Мул с нетерпением. — Где ты держишь её, шакал?

— Шакал?! — Манул изумлённо хмыкнул и захихикал в кулачок. — Для шакала я чересчур упитан, красив и умён. А вот ты не очень-то терпелив и покладист для данного тебе прозвища.

— Хватит болтать. Я хочу увидеть дочь. Сейчас же.

— Ладно-ладно, только не горячись: здесь и так слишком жарко, — Манул вложил персты в гаденькую ухмылочку и, громко

свистнув, ткнул вынутым изо рта, обслюнявленным пальчиком вверх. — На башне.

Здрав голову, Мул разглядел двоих, перегнувшихся через неровно покрошившийся, словно обгрызенный, край. Тоненькую хрупкую девочку держал за плечи статный исполин, тот самый, что был с толстяком в пустыне во время их первой встречи с Мулом. Девочка стояла с непокрытой головой, и ветер трепал её длинные чёрные волосы, практически закрывая лицо, но Мул всё равно сразу узнал её.

— Сожми! — горестно крикнул он.

Она что-то заголосила в ответ, но ветер смял и развеял слова, а стоящий за спиной девочки мужчина потянул её назад, и они скрылись из виду.

Рубанув по лицу толстяка бешеным взором, Мул посмотрел на вход в башню, но его уже заслонили двое с автоматами. Оглянувшись, он увидел ещё троих, подошедших вплотную и готовых скрутить его в любое мгновение.

Тогда Мул снова повернулся к толстяку и спросил:

— Что я должен делать?

— Лови!

Золотая монета сверкнула в воздухе и оказалась у Мула в кулаке.

— Закрой навсегда этот злобный глаз, взирающий с обеих сторон Луны, — прошипел Манул.

Мул разжал кулак. Глаз, уставившийся на него с монеты, был, и правда, полон жгучей ярости. И безумия. Но было в нём и нечто щемяще знакомое, почти родное...

— Верни на монету слова-приговоры, — продолжал шипеть толстяк.

А Мул всё смотрел и смотрел на дико вертящийся во все стороны глаз Учителя.

— И пойдёшь с дочерью домой, — договорил Манул и выжидающе уставился на застывшего с монетой в руке человека.

Молчание было долгим. Мучительным. Губы толстяка чуть подрагивали от внутреннего напряжения. Те же, что с автоматами, и вовсе старались не дышать, пока Мул наконец не изрёк, снова сжав монету в кулаке:

— Мне нужен мой сундук с инструментами. И ровная поверхность для работы.

— Давно бы так! — аж подпрыгнул толстяк и заверещал дурным голосом на автоматчиков: — Верните ему сундук. И стол какой-нибудь сварганьте. Быстро!

— Из какой матерьял стол? — с недоумением и акцентом спросил один из них.

— Да хотя бы из обломков крепости! Поищите ровные большие камни и составьте их друг на друга. Да шевелитесь же вы! — почти простонал Манул.

— Там у него в сундук острый палки, ножи типа... Зарежет ещё... — начали было наперебой возражать автоматчики, но толстяк, побагровев, так затопал на них ногами и так завизжал диким котом, что сундук Мулу тут же отдали и бросились врассыпную.

Через несколько минут импровизированный стол из камней был готов. На него Мул водрузил сундучок и, откинув крышку, стал доставать резцы для гравировки.

Работа предстояла долгая.

Белый город

Play

Дорог бы лей в воронки глаз потоки километров, но в трещинах сосуда, словно в узорах, и бездонен. И в сердце место лишь одной, бегущей в лунном свете... Джек, проходя мимо окутанных дымом анаши и гортанно галдящих таксистов, чуть усмехнулся кончиками губ — так, чтобы не расплескать заполонившую рот слюну, вычерпанную из растревоженных недр почтовой маркой с изображением зайчика, притаившейся под языком. Подземный переход втянул Джека в себя, поволок длинно и извилисто среди неповоротливых человекобрёвен и всяческого мусора. Волны лёгкой тошноты привычно накатывали, оmyвая шаги от налипшего вместе с кофейной грязью брезгливого безразличия. Промозглый, перекрученный тоннель тянулся и тянулся никак не раскладывающимся пасьянсом. «Ленточный червь всё не кончается...» — вспомнил Джек переделанную одной хорошей подругой песню «Машины времени» и, поплотнее сжав губы, замычал от смеха. А спустя мгновение всё снова затихло внутри — в великой внутренней пустыне. Лишь полупустая сума сочувственно хлопала по спине, напоминая о проданной в Долгопрудном («Мы в город Долгопрудный идём дорогой трудной, идём дорогой трудной, дорогой не прямой...») электрогитаре, да ниточка слюны просочилась через плотину губ на подбородок. Сама мысль игнорировать — не вытирать, смущённо поглядывая по сторонам исподлобья, — эту идиотскую слюну с подбородка очень забавляла Джека. «Выдавливаю из себя по капле раба», — важно кивнул он сам себе и снова замычал. Сил держать во рту такое количество слюны почти не оставалось, но впереди уже взблеснул лунно выход на поверхность, а значит, время пришло. В сказку отправиться. Вскарабкавшись косолапо по ступенькам, Джек выпрыгнул из смертельно надоевшего подземелья в судорожную прохладу весеннего вечера и с облегчени-

ем проглотил всё — отправил в своё личное подземелье, — что накопилось во рту, не забыв потерзать кусочек бумажки зубами. Возвращение. Поражение. Возвращение. Крах. Возвращение. Нах. Волшебных три желания. Ветер приятен, словно ножевое ранение. Исполнит мудрый Гудвин. Луна полыхает ледяным пожарищем. И Элли возвратится, па-ра-па-па-па-па-рам... В родной волжский Канзас — как в сугроб. Поезд рычит, готовый сорваться с места в любую секунду и мчать, стучать, пыхтеть, свистеть, парить, лететь по дорожке — той самой, одной-единственной, бегущей в лунном свете, что приведёт домой, в ужасный Белый город.

Stop

Джерри переходил реку по висячему мосту. Хотя мост — это громко сказано. Хлипкое сооружение из верёвок и досок свихнувшимися качелями бросалось в разные стороны и надрывно голосило. А внизу, чуть ослабляя натужный жар пустыни, бурлила река. Вцепившись руками в верёвки, Джерри продвигался вперёд медленно-премедленно, предельно осторожно, мелкими шажочками, словно ребёнок, только научившийся ходить, или старик — постепенно разучившийся. Страшно! Как же предательски страшно! А ещё это мучительное, непонятно откуда взявшееся знание о том, что на этом ненадёжном мосточке когда-то случилось что-то очень плохое, непоправимое. И случилось с кем-то беззащитным и маленьким, ни в чём не виноватым, ну ни капельки не похожим на Джека, что размашисто и грубо топает навстречу, раскачивая мост чуть ли не под облака. «Мы в город Долгопрудный идём дорогой трудной, идём дорогой трудной, дорогой не прямой, — со злобным азартом распевает Джек и яростно размахивает руками. — Волшебных три желания исполнит мудрый Путин, и Ленин возродится, па-ра-па-па-па-па-рам...» — «Прекрати», — шепчет Джерри, но Джек орёт ещё громче: «И Сталин возвратится, па-ра-па-па-па-па-рам...» Джерри оглядывается назад, и Джек, замечая это движение, хватается обеими руками за одну из верёвок-поручней и начинает пригибать её к реке. И получается ведь! Верёвка уже у самой воды! Река, выйдя из себя, встаёт на дыбы, а Джек, наступив на верёвку и горланя: «Dive, dive, dive, dive with me!» — с оглушительным грохотом ныряет. С восторгом и священным ужасом Джерри смотрит на поднявшуюся до небес огромную волну, а потом она сметает его с моста прямо в мокрую от пота кровать.

Оторвав голову от подушки, липкой от слюны и слёз, Джерри проводит ладонью по бритой голове, встаёт и в застенчивом полумраке бредёт на кухню. Включает свет и приветственно поднимает руку вверх:

— Доброй ночи, Никита.

Сидящий на табурете возле окна Кострома улыбается:

— Привет.

— Хотя какой ты Никита, — сонно бормочет Джерри. — Никита мёртв. Уже год как. А ты всего лишь галлюцинация, прописавшаяся в моей больной головушке.

Кострома пожимает просвечивающими насквозь плечами:

— Пушкин тоже давно мёртв. А между тем по-прежнему «наше всё».

Джерри тихо смеётся:

— Классика.

Раздаётся звонок в дверь, и Джерри, вздрогнув, смотрит на настенные часы: 4 утра. Переводит испуганный взгляд на Кострому:

— Кто... в такое время?!

— Сосед. Пришёл о помощи просить.

Джерри хмурится и крадётся к двери. Прикладывается к глазку: диспропорционально преломлённая дверным окном лысина с волосами по бокам крутится туда-сюда в явном нетерпении. Больше ничего не разглядеть. Например, зажатый в руке нож. Или второго человека, притаившегося сбоку.

— Кто там?

— Сосед с четвёртого! Помогите, ради Бога! Уже в пятую квартиру звоню — все отказываются. Жене плохо стало — вызвал скорую. Сама она идти не может, лифт, как назло, конечно, не работает, в бригаде скорой помощи две медсестры, водитель тащить отказывается: грыжу у него вырезали недавно, а жена у меня женщина грузная — одному мне не справиться. Носилки есть! Помогите, брат!

Джерри медлит с ответом. Стоит, прислонившись лбом к двери. Но потом говорит устало:

— Извините, я не могу вам помочь.

— Да куда ж все люди подевались-то?! — по-Диогеновски восклицает голос из-за двери, и слышатся торопливые шаги: сосед спускается на этаж ниже.

Джерри возвращается на кухню.

— Так и не открыл дверь? — спрашивает Кострома.

— Нет.

— Ох, Джерри, дружище. Это плохо. Измучаешься ведь теперь — сам себя с потрохами съешь.

— Знаю. Знаю.

Кострома проводит мерцающими пальцами по струнам приклонённого к стене контрабаса. Улыбается задумчиво. И вдруг, поддев длинным ногтем, резко дёргает одну из струн. Звук, гряз-

ный и тревожный, долго вибрирует, словно не затихая, а погружаясь в потаённые глубины. Как предчувствие.

— А я думал, призраки бестелесны, — говорит Джерри.

— Да что ты вообще можешь знать о призраках?

— И то верно. Ничего. Тем более о призраках из собственного подсознания.

Джерри наливает в стакан воду из фильтра-кувшина. Пьёт.

— Джерри.

— Да?

— Сейчас я скажу тебе кое-что важное.

— Ну уж нетушки, — Джерри ставит опустевший стакан на стол и уходит, по дороге выключая на кухне свет. — Сейчас я иду спать.

— Они отвезут её на Лысую гору.

— Её? — Джерри останавливается и, повернувшись обратно, щёлкает переключателем. — Кого — её?

Но кухня — в лучших традициях фильмов о призраках — пуста.

Play

Он никогда не задумывался всерьёз, почему город — Белый: ничего, даже отдалённо созвучного с белым, у настоящего имени города не было. Но город был — белым. Белое пришло откуда-то извне, не имело ни чёткости, ни постоянства и таяло, лишь прикоснись к нему вдумчивым взором. Банальный образный ряд — снег, саван, холодный величественный мрамор, слепые глаза, нетронутый лист бумаги — походил на маленький осколок зеркала, в который пытаешься рассмотреть зимнюю степь. Непрямые пути аллюзий-иллюзий казались куда короче. Гибельно-белый, как столица Гондора Минас Тирит накануне Битвы на Пеленнорских полях? Или белый с зелёным, как маняга, сваренная из обломков Изумрудного города? А может быть, порочно-белый, как туника мальчика раба Гитона из «Сатирикона» Феллини, где всё остальное исполнено в мрачнейших чёрно-красных тонах?

Джек смотрел на Луну. Даже сквозь замызганное дверное окно тряского тамбура она сияла столь нестерпимо и неправдоподобно ярко, что перехватывало дух. Сладко и страшно тянула она к себе, манила и завлекала — не отвести глаз, пульсировала небесно в сердцебиении и в дрожи рук, и в перестуке шпал под разогнавшимся поездом, и в эфемерных ступеньках, спускающихся от врат лунного дворца прямо к окошку, в которое уставился Джек. Как непостижимо прекрасен и холоден лунный дворец! Каких загадок и чудес полон! Сколько сказочных дверей в нём, за каждой из которых — ослепительная бездна... Да только коли попадёшь в лунный дворец... ох, лучше б ты никогда не рождался. И поэто-

му Джек, напружинив ослабевшие за год в столице мускулы воли, оторвал тяжёлый взгляд от лунной импровизации и залюбовался облачками — золотисто-лёгкими, летучими и безопасными.

В чём-то Белый город был отдалённо похож на лунный дворец — такой же безучастно-отчуждённый, отстранённый от горячего движения жизни, преисполненный ледяного величия и одиночества, — но при этом и отличался кардинально (и парадоксально), ибо был неказисто-коряв и по-глупому смешон, недружелюбно-раздражителен и трагично-печален, по-Джойсовски не складывался в целостную и правильную модель мироздания, не сходилась в нужных местах, трещал по швам и разваливался вкривь да вкось, словно вусмерть пьяная баба в кресле-качалке. Вымышленный и действительный одновременно, таинственный, уродливый и родной, Белый город жил в мыслях Джека, но неопостижимым образом накладывался, наползал одышливо на реальный провинциальный городок, в который так спешил, так безоглядно торопился наивный и доверчивый поезд.

И тут, за полсекунды до того, как тамбурная дверь отворилась, и сонная проводница чуть было не налетела на него, наслаждающегося облачным балетом, Джек понял.

— Ой, — сказала проводница, едва успев притормозить и отшатнуться назад.

— Белый город — это состояние моей души, — прошептал Джек и посмотрел на оторопевшую женщину так, словно они говорили подряд много-много часов.

— Что? — непонимающе похлопала глазами проводница, устало потёрла их и спросила с затаённой надеждой: — Белгород?

Stop

Оглушительно цокнув втянутым язычком, открылся верхний замок, и Оля беспомощно вздрогнула, за что тут же и была наказана долгим пронизательным взглядом внимательных глаз. Елизавета Васильевна, продолжая держать руку на колесе замка, словно раздумывая о правильности предпринятого действия, не торопилась опустить её ниже — на замок средний. Чуть позади дочери и внучки, опустив голову и не глядя на них, застыла обречённо Наталья Юльевна.

Волны горячего нетерпения захлёстывали Олю. От предвкушения свободы, пусть и мимолётной, сердце ходило ходуном, того и гляди — пустится в пляс. Хотелось орать во всю глотку и прыгать до небес, но вместо небес был потолок, и оставалось ещё два закрытых замка. Поэтому, собравшись с духом, Оля жалко улыбнулась своему любящему тюремщику — своей матери, которую соседи по подъезду теперь величали не иначе, как Елизавета С Того Света.

Ох уж эти соседи! Всё-то они видят. Всё-то они слышат. Иногда с грустью понимаешь, что нет человека, знающего о твоей жизни больше, чем сосед за стеной.

А уж затворническое бытие Елизаветы Васильевны обсуждали давно всем двором и в подробностях. С превеликим интересом — после смерти её мужа. С особенным жаром — после участия её дочки в скандальном вечере на территории частных владений местнотимого олигарха Сергея Ефимовича Беленького, вечере, наделавшем столько шума в городе (и ещё бы: два трупа, отец и сын Ермолины, в убийстве которых обвинялись бесследно исчезнувшие, по всей вероятности, подавшиеся в бега Никита Зернов и Алексей Санин — Олины друзья).

И если после смерти мужа Елизавета Васильевна ещё и сама изредка выбиралась в большой мир из убежища квартиры, и позволяла дочери, то после событий годичной давности с белым светом Елизавета С Того Света попрощалась окончательно, а дочь выпускала теперь только по крайней необходимости — ввиду учёбы Оли на заочном философском факультете, да и то под конвоем бабушки.

Сердце несчастной Натальи Юльевны разрывалось от жалости к внучке, но страх перед дочерью был куда-куда сильнее, усугублённый к тому же вот каким неприятным наблюдением: с каждым годом Елизавета Васильевна всё больше становилась похожа на свою сумасшедшую тётку Маргариту, погибшую, по странному совпадению, ровно год назад, 30 апреля, — в день той самой злополучной вечеринки. Беда не приходит одна.

Клцнула щеколда — замок средний, и теперь вздрогнула Наталья Юльевна. Взгляд её, вернувшись в мир дольний, принял осмысленное выражение, и она нетерпеливо потопталась на месте. Странно, но Наталья Юльевна, как и Оля, тоже чувствовала себя заключённой, ожидающей, когда её выпустят погулять по тюремному двору, хотя могла выходить из дома в любое время — когда заблагорассудится.

Елизавета Васильевна достала из кармана старых джинсов, в которых она всегда ходила дома, длинный ключ и вставила его в нижний замок.

С любовью и ненавистью смотрела Оля на мать, сохраняя на губах всё ту же виноватую улыбку, словно действительно была виновата. Но в чём? В накипевшей на сердце злости к самому близкому человеку? А как ещё узник должен относиться к лютому надзирателю? Тем более что в последнее время ожесточение Елизаветы Васильевны достигло небывалого размаха: раздражаясь по поводу и без, она постоянно гневалась и орала на дочь, отобрала

у Оли сотовый телефон, отключила в квартире интернет, следила за каждым Олиным шагом даже дома, однажды, встретив неожиданный отпор, с размаху ударила дочь по лицу, и, если бы не Наталья Юльевна, повисшая на Елизавете Васильевне всем телом, неизвестно, чем бы всё закончилось. Бьёт — значит, любит? Ну-ну. Любовь с кулаками — тварь довольно уродливая, родная сестрица добра с кулаками. Да и Олина любовь к матери, отравленная бесконечными склоками и унижением, была не менее страшна и мучительна. Вероятно, поэтому, засыпая, Оля слышала в голове одни и те же строки, кружащие по кругу:

Всегда так будет:

Те, кто нас любит,

Нам рубят крылья и гасят свет...

Но скрежетал, уже скрежетал недовольно, со стариковским осуждением, нижний замок. Елизавета Васильевна вытащила ключ и застыла ещё на мгновение. Кто бы знал, как она завидовала дочери, что та вот так легко, без одуряющего страха и непосильной слабости, может выйти в притаившийся снаружи огромный мир, полный чудовищ и опасностей, мир, где настоящие облака плывут по небу, а не по обоям, где вместо стен — ветер, а вместо горшков с кактусами — рослые ветвистые деревья... В темнице, сооружённой Елизаветой Васильевной из собственного дома, главный тюремщик являлся и главным заключённым. Ибо как ты можешь быть свободен, отнимая свободу у ближнего?!

Елизавета Васильевна не без досады в искривлённых губах толкнула дверь и сказала:

— Туда и обратно. Только не как в «Хоббите». Нигде не задерживайтесь.

— Хорошо, — ответила Оля, поправила висящую на плече сумку с учебниками, тетрадками и кое-чем ещё (невероятное везение, но мать до сих пор ни разу — ни в один из Олиных выходов за пределы квартиры — не проверяла содержимое) и шагнула в свободу.

Наталья Юльевна торопливо зашаркала вдогонку.

Выпорхнув на улицу из подъезда, Оля из поднесённого ветром бокала сделала жадный глоток ледяного весеннего воздуха и задохнулась от радости. Дорога до университета: хлюпающие жидкой грязью тропинки, тяжело дышащая, еле поспевающая следом Наталья Юльевна, уступивший дорогу и даже шагнувший ради этого прямо в лужу мужчина со странно знакомым и, признаться, весьма неприятным лицом, перекошенная остановка, рогатый 11-ый тролль, стереотипно тумбообразная женщина-кондуктор, проносящиеся за окном унылые городские виды — всё это едва коснулось сознания и бесследно растворилось.

Перед длинной аллеей, проложенной к зданию университета, Наталья Юльевна приостановилась, взволнованно посмотрела на внучку, но тут же отвела взгляд в сторону и пробормотала:

— Ну, я по магазинам. Встретимся на остановке.

Оля едва кивнула. Она уже бежала, уже летела вперёд, волшебным образом не попадая сапожками в лужи, без шапки, в легкомысленно расстёгнутом пальто, раскрасневшаяся, взъерошенная, прекрасная.

Вот и ступени, ведущие к дверям величественного храма знаний... но... что... что это значит?.. Что, чёрт возьми, происходит?!

На мгновенье обернувшись, Оля бросилась вправо, на боковую дорожку, пусть и не очень основательно, но всё же прикрытую голыми ветвями деревьев от основной аллеи, и несколько шагов спустя оказалась в чьих-то крепких объятьях.

— Как же я соскучилась! — задыхаясь, прошептала она, чуть касаясь губами его уха.

— Любимая!.. — только и смог выдохнуть Том и прижал её к себе ещё крепче.

А потом был поцелуй. Долгий и нежный. Заставивший забыть обо всём на свете. Но когда память стала настойчиво проситься обратно, словно нагулявшаяся на улице кошка — в дом, Оля открыла сумочку и достала из неё завязанную на верёвочку папку.

— Здесь фотки и кое-какие документы — из тех, что мать не отобрала у меня. Паспорт придётся выкрасть у неё завтра, пока она будет умываться: сегодня не получилось.

Том скинул с плечей небольшой рюкзачок и убрал туда папку.

— Что-то мне не по себе, — вполголоса сказал он и нахмурился. — Оля, не надо тебе домой. Пойдём со мной прямо сейчас. Ну, что, она не отдаст тебе паспорт?! Ты же взрослый свободный человек!

— Нет, нет, нет! — Оля испуганно отшатнулась. — Ты её не знаешь. Не понимаешь, на что она способна, если ей оставить хоть какую-то зацепку. Мы будем следовать плану, иначе — никак. Всё сделаем как надо! Как задумали. Завтра я уйду из дома навсегда. Уйду... к тебе! Завтра!

Том вздохнул:

— До завтра ещё дожить надо. Сегодня ровно год, как...

— Не говори об этом, — Оля покачала головой. — Пожалуйста. Только не сейчас. Вот, держи, — и она вложила ему в руки небольшую шкатулку. — Украшения, драгоценности и всякие побрякушки.

Спрятав шкатулку в рюкзак, Том неожиданно усмехнулся:

— Тут его и след простыл.

— Ха-ха-ха. Как смешно. И последнее, — Олины пальцы скользнули в недра сумочки. Очень аккуратно извлекла она на-

ружу старую потрёпанную книжицу и протянула Тому. — Мне её подарил отец.

Том кивнул. Бережно взял книгу. Рисунок и буквы на обложке несколько потёрлись, но название всё ещё читалось: «Хоббит, или Туда и обратно».

Play

Подчас синхронность двух простых действий порождает забавный сумбур в восприятии. Особенно если накануне закинуться маркой и потом всю дорогу аккуратно подогревать себя крепким алкоголем. Так, ступив на родную землю, представленную в данном случае асфальтом железнодорожного вокзала, и коснувшись кнопки плеера, Джек усмехнулся тому, что нажал на «Play» ногой. Изящный, словно автокатастрофа, образ этот, как ни странно, хорошо ложился на ноты происходящего, мастерски аккомпанировал и бессонной ночи в поезде, и утреннему апрельскому холоду, о присутствии коего Джек скорее догадывался, нежели чувствовал его, и пёстрым ленточкам на дереве воспоминаний, развевающимся с лёгким потусторонним шелестом, и комкам переживаний в каше из радости и сожаления, и смехотворной торжественности момента — подходил, в общем, идеально. Особенно — вместе с завибрировавшим в ушах первым альбомом «Soft Machine».

Джек шёл так быстро, что люди уступали ему дорогу, хмурясь вслед. Привокзальные таксисты, самые дорогостоящие и наглые в городе, протягивали к нему руки и пели:

*You may laugh at me,
Say I don't deserve,
All the things I've had
Sad...*

Но Джек только прибавил шаг, не удостаивая их и мимолётным взглядом, и секунду спустя уже запрыгнул в длинный 37-й автобус. Сел напротив средних дверей, рядом с проходом. Это чтобы уменьшить вероятность того, что кто-нибудь возжелает вдруг присоединиться. Потом окинул взглядом полупустой салон и передвинулся к окну. Поближе к городу. Пусть глаза привыкают.

На нежно любимой Джеком «A Certain Kind» в автобус вошёл бодрый пенсионер в пиджаке, свитере и очках с роговой оправой, тут же целенаправленно рухнул на сиденье рядом, изрядно потеснив Джека, да что уж там — практически прижав к окну, и без лишних промедлений обратился к «молодому человеку»:

*And loving you the way I do
Makes everything seem right again...*

Джек с сожалением выдернул наушники, и пенсионер тотчас взял их в руки, словно всё так и должно было случиться. В который раз реальность оказывалась куда более странной и неприятной, нежели абсурд внутри.

— Учёные доказали, что это, — пенсионер покрутил у Джека перед носом наушниками, — убивает мозговые импульсы. Вот так-то. Память становится хуже, слух, зрение...

— Со старостью всё это тоже происходит, — буркнул Джек.

— От этого, — обиженно потряс наушниками пенсионер, — в десять раз быстрее! В десять раз!

Джек, скривившись, повернулся и посмотрел сквозь стёклышки очков мужчины прямо в его упрямые выцветшие глазки. И уже собрался было выдать на гора что-нибудь эдакое: «Сколько иных долгих-предолгих существований, таких как твоё, с дачами-огородами, копеечной работой, а потом грошовой пенсией, больницами, внуками, газетами по утрам и телевизором вечером, уместятся в один год жизни любого члена «Клуба 27», будь то Хендрикс или Моррисон, Джоплин или Кобейн», — но вдруг вспомнил Рутгера Хауэра в роли Роя Батти (книжку Филипа Дика Джек не читал) и, не пытаясь подражать актёру, а как-то буднично, продекламировал:

— Я видел такое, что вам, людям, и не снилось. Атакующие корабли, пылающие над Орионом, лучи Си, разрезающие мрак у ворот Тангейзера. Все эти мгновения затеряются во времени, как слёзы... в дожде... Пришло время умирать.

Отшатнувшись, как от самой смерти, пенсионер поспешно всунул в руку Джека наушники и с поразительным проворством, даже не покряхтев для проформы, перебрался на другое место. Больше к Джеку никто не подсаживался, и на «Why Are We Sleeping?» он покинул автобус.

Весна в этом году в городе выдалась, на удивление, светлой и бесснежной. Солнышко ласково пригревало. Лужи постепенно подсыхали. Воздух был сладок, как свежеиспечённый хлеб.

Подходя к своему подъезду, Джек помахал привязанному к дереву верёвкой большому плюшевому медведю, появившемуся во дворе несколько лет назад вместе с лебедями из шин и водружёнными на пни кверху дном тазами, раскрашенными под мухоморы (потрясающая инициатива по экономному «благоустройству» дворов), и сочувственно усмехнулся:

— Как ты, дружище? Вижу, эта зима и тебя потрепала?

Мишка, и правда, плохо выглядел: шерсть свалялась и лезла клочьями, голова обречённо опущена, впившаяся в живот верёвка почти перерубила туловище надвое.

«Наверно, я сейчас выгляжу не лучше», — думал Джек, поднимаясь по лестнице и шаря руками в карманах в поисках ключей.

Дома никого не было. Мать уже ушла на работу. Джек не стал предупреждать её, что приедет. Было стыдно и больно возвращаться домой вот так — с поникшей головой, как у медведя во дворе. Лучше уж отложить встречу, насколько возможно. Адаптироваться к собственному ничтожеству.

Эта мысль довлела над Джеком. Кружила над ним рассерженной вороной, клевала в виски и никак не желала оставить в покое, чтобы он мог наконец-то упасть на кровать и отключиться ото всего. Просто прилечь и погрузиться в нежность сна... Ммммммм, было бы неплохо!

Джек открыл дверцу шкафа, зашвырнул внутрь сумку и вдруг увидел выглядывающий из-под пол пальто потрёпанный корпус.

— Ох, надо же! — воскликнул он и вытащил наружу за гриф «лунную» гитару. — Привет, старая перенчик, — Джек обнял перекошенный инструмент, словно любимого человека, и улыбнулся. Нет, он не ляжет спать. И дожидаться прихода матери тоже не будет. Пусть всё это случится позже. К примеру, завтра. Вдохнув с облегчением, Джек энергично покивал головой и подмигнул «лунной» гитаре: — Фырим! Я, кажется, даже знаю — куда.

Stop

Джерри проснулся слишком поздно, чтобы ехать на учёбу, и с укоризной посмотрел на сотовый телефон, лежащий рядом с кроватью. А потом вспомнил, что сам отключил будильник, едва тот заверещал противно и громко — в невозможные семь утра. Ну и ладно. «Связи с общественностью» никуда не денутся, в конце концов. Попробуй-ка от неё ещё отвяжись — от общественности.

Потянувшись в постели, Джерри сладко зевнул и резюмировал: — На работу сегодня тоже не пойду.

И сразу стало так легко на душе, что он снова натянул до подбородка одеяло, отвернулся к стене и уткнулся в большую всепрощающую подушку. «Ничего страшного. Скажу потом, что задержался допоздна в университете», — ухмыльнулся Джерри. Работал он в турагентстве матери и мог себе позволить некоторые вольности. Да и ночь выдалась та ещё. Призрак Костромы, музицирующий и пророчествующий. Молящий о помощи сосед... Скорая, носилки, сломанный лифт...

«Прости, соседка. Прости, брат. И сам не пойму, почему не открыл дверь... Помог тебе хоть кто-нибудь? — вдруг подумал Джерри, но тотчас ментальным пинком погнал эту досадную мысль прочь. — Меня это не касается, чёрт побери!»

Спать расхотелось. Джерри ворочался с бока на бок, представляя, как дрейфует на маленьком плоту кровати, покачиваемый волнами дрёмы, обратно — в открытое море сна, но из всей этой ассоциативной марины, оплетённой лозой воображения, достоверной оказалась только надвигающаяся, словно вследствие морской болезни, дурнота. Ни одно удовольствие в чрезмерности своей не остаётся безнаказанным. Даже сон.

— Свистать всех наверх! — хрипло вскрикнул Джерри и, выпрыгнув из-под одеяла, удачно угодил ногами точно в тапки. — Это же прямое попадание, капитан! Невероятно!

По дороге в туалет он напевал и пританцовывал, а пока мочился — верещал, не вдумываясь в смысл слов, тонким пренебрежительным голоском:

— Немедленно прекратите! Вы ссыте прямо на лицо депутата Государственной Думы! — и тут же отвечал возмущённым басом: — А что эта тварь делает в моём унитазе?! — и вновь писклявой скороговоркой: — Следит за вами согласно новому постановлению Правительства! — басом, нажимая на кнопку смыва: — Сгинь в пучине нечистот!

Из туалета Джерри забежал сначала в комнату — включить компьютер, затем на кухню — запустить электрическую кофеварку, после чего, опять приплясывая, да ещё теперь и шепча с придыханием: «Ча-ча-ча!» — скрылся в ванной комнате, где пробыл добрых шесть минут, успев умыться, почистить зубы и покривляться перед зеркалом.

Спустя ещё три минуты на комоде в зале дымилась чашка кофе, из динамиков лился чудесный голос Эллы Фицджеральд, а Джерри, свеженький, чистенький, сияющий, с солнечной улыбкой на устах, делал зарядку.

Элла пела:

*Crazy, crazy, crazy rhythm,
Crazy, crazy, crazy rhythm,
Craaaaaaaazy...*

И Джерри, стараясь не отставать от заданного музыкой темпа, яростно загребал руками, как будто пытался взлететь. И залиvisto смеялся. Ему вспоминалось, как однажды, хорошенько накурившись травы, он отправился на репетицию «Жестокой Академии» и по дороге врубил в плеере именно эту песню на полную громкость. О да, детка, те дни неслись в сумасшедшем ритме, и не было в них ни горечи, ни страха, ни безрадостных размышлений о потерянном смысле жизни. Потому что смыслом было пропитано всё происходящее. И ещё надеждой. Надеждой не на что-то конкретное, а всеохватной, будоражащей, безоглядной, словно

ничему плохому в мире просто нет места, потому что всё вокруг переполнено светом.

Пронзительно вскрикнув, Джерри с перекошенным лицом рухнул вниз и затрясся в рыданиях. Колотило его об пол с такой силой, что даже комок содрогнулся, и рядом с чашкой кофе образовалась коричневая лужица.

Элла успела спеть ещё нежнейшее попурри, состоящее из «This Girl's in Love with You» и «I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter», и меланхолично-задумчивую «Open Your Window», и искристую «Satin Doll», и задорнейшую «Spinning Wheel» (а Джерри всё ревел и стenal, и корчился дождевым червём, придавленным пятой безысходности), прежде чем в дверь позвонили. Всего один раз, отрывисто и звонко, так, что потрясённое эхо ещё несколько секунд висело над звучащей в квартире музыкой.

Не может быть...

Джерри замер на полу, оборвав очередной стон. Потом попытался подняться на ноги, оттолкнувшись от вымокшего в слезах ковра руками, но до того слабо и неловко, что сил хватило только привстать на колени.

Заплаканный, коленопреклонённый, словно в ожидании грозного божества, уставился он на входную дверь. С благоговейным трепетом.

На его памяти был только один визитёр, столь небрежно и грубо обходившийся с кнопкой дверного звонка.

Play

Джек, в отличие от Джерри, всегда был человеком действия, а не размышлений о самой возможности такового. Вот, скажем, если бы Джерри вдруг оказался в шкуре Джека и стоял перед дверью человека, наверняка не желающего его видеть, очень много времени у него бы ушло на переживания и сомнения: а стоит ли?.. Джек же просто ткнул в кнопку звонка и, подмурлыкивая доносящейся из квартиры музыке, принялся спокойно ждать.

Когда дверь неуверенно приоткрылась, явив опухшее Джеррино лицо, Джек сказал просто и ласково:

— Привет! У меня литр водки и трёхлитровая банка томатного сока, — он чуть встряхнул левой рукой крепкий чёрный пакет, отчего тот жизнеутверждающе дзинькнул, — и... гитара. «Лунная» гитара.

Джерри перевёл взгляд с распираемого от важности пакета на перекошенную абстракцию, зажатую в правой руке Джека, после чего, так и не посмотрев на самого Джека, кивнул:

— Заходи.

Шагнув через порог, Джек протянул хозяину квартиры пакет и, прислонив «лунную» гитару к стене, закрыл за собой дверь.

— Бухал, что ли, вчера? — разуваясь и с интересом поглядывая на Джерри, спросил Джек.

— Нет. Уже год, как вообще не пью.

— Straight edge?

— Да ну на фиг, конечно, нет. Просто не с кем.

— Со мной-то выпьешь? — Джек как раз вздёрнул пальто на виселице вешалки и теперь стоял перед Джерри, заложив большие пальцы рук в боковые карманы джинсов.

— Выпью. Пойдём на кухню.

— Still one place to go, — подхватив гитару, Джек последовал за Джерри. На кухне, осмотревшись, он устроился на табурете, с которого ночью вещал призрак Костромы, а гитару приладил к стене рядом, на то самое место, где стоял контрабас.

«Кстати, а куда делся контрабас? — нахмурился Джерри, доставая между тем из пакета банку томатного сока. — Я его отнёс в зал? Или в спальню? Когда успел?..»

— Говоришь, не с кем было приляпать целый год? Значит, с Томом не видитесь?

Джерри вздрогнул, чуть не выронив извлечённую из пакета вслед за банкой сока бутылку водки, и, напрочь позабыв про исчезнувший контрабас, долго и скорбно смотрел на Джека, словно не понимая вопроса. Наконец произнёс:

— Однажды собрались в кофейне втроем — вместе с Олей. Она, собственно, и была инициатором. Но как-то не задалось...

— В кофейне?... Это где пьют кофе из маленьких таких чашечек и из всех сил делают вид, что не помирают со скуки?

Джерри кисло улыбнулся:

— Наподобие того.

— Неудивительно, что не задалось. Вы бы ещё в антикафе встретились.

— Кофейню выбрали из-за удобного месторасположения — рядом с университетом, где учится Оля. Ведь Олю теперь, кроме как на учёбу, её поехавшая мамаша никуда не отпускает.

— К этому всё и шло, — кивнул Джек. — Елизавета Васильевна давно уже придерживается самых передовых современных взглядов, если под прогрессом подразумевать модное нынче движение в прошлое — к домострою, сарафанам, старческим платочкам на голове, духовным скрепкам и духовным склепам. Не понимаю только, почему Оля до сих пор не сбежала из дома... Хотя, нет. Понимаю. Патологический страх перед матерью, даже ужас. На уровне психического отклонения.

Джерри достал из шкафчика два гранёных стакана, сполоснул и поставил на стол. Консервным ножом осторожно, помня о хрупких стеклянных краях, имеющих гнусное обыкновение мелко крошиться внутрь, открыл банку с томатным соком и пододвинул к Джеку:

— Наливай ты. А я поищу, чем закусить.

— Оки-доки.

— Как, кстати говоря, твои успехи? Как столица? Покорена? — повернувшись к Джеку спиной и не видя, какие страдания причиняет ему этими вопросами, Джерри принялся шумно копать в холодильнике, словно пытаясь приглушить невольно проступившую в голосе горечь.

— I ain't so tough... — пробормотал Джек, поражённый неожиданным воспоминанием о том, как год назад он шёл под проливным дождём к дверям особняка Беленького после злосчастного разговора с Ольгой и сам себя отождествлял с Томом Пауэрсом из «Врага общества».

— Что, прости? — Джерри вынырнул из холодильника с палкой сырокопчёной колбасы и с недоумением уставился на Джека.

— Говорю, я оказался недостаточно крут. Держи стакан.

Выпили молча, скорострельно чокнувшись, и Джек сразу же взялся за приготовление следующей порции.

— Ты, наверно, считаешь меня предателем, — произнёс он, глядя, как неторопливо стекает тягуче-красная жижа из наклонённой банки в стакан. — Да так оно, собственно, и есть. Кто ж спорит. Вот только, признаюсь честно, меня это мало волновало тогда: всё закрутилось так быстро и бестолково, что не было времени остановиться и задуматься. К тому же предательство во мне на генном уровне заложено — от папаши, променявшего семью на «Вагину Венеры» и «Вязаного дрозда», — закончив с соком и взяв бутылку водки, Джек хрипло рассмеялся: — Это названия его картин — ты не подумай чего.

— Хотел бы я тоже, подобно устному народному яблоку, все свои промахи и неудачи списать на яблоню, с которой упал...

— Так и спиши. Ты же тоже без отца рос?

— Родители развелись, когда мне не было и трёх лет. Но такое случается: не стерпелось, не слюбилось. Люди — сложные создания.

— Да какое дело ребёнку до всех этих «не стерпелось, не слюбилось», «не сошлись характером», «совершили ошибку»?! Какое, на хер, дело?! К чему все эти отговорки, когда у тебя с детства мироздание окривело и перекосилось, да потом и во взрослой жизни всё набекрень и наперекосяк идёт, а ты и понять толком не можешь — почему. Держи стакан!

Они снова выпили, и Джерри, поморщившись (Джек смешал слишком много водки), с удивлением взглянул на колбасу, которую так и держал в руке:

— Ах, да. Надо тебя порезать.

— Меня?

— Я про колбасу.

— Аж от сердца отлегло.

— Ты нарисовал довольно мрачную картину, в которой слишком много предопределённости. Типа: уж коли рос в неполной семье, то и в будущем счастья не жди?

— Не жди. Потом и свою семью создать сложно, и, как пить дать, — хмыкнув, он протянул Джерри с невиданной скоростью смешанный коктейль, — всё так же закончится разводом и ещё одним брошенным ребёнком, то есть новым витком предательства, невезения и разрушений.

— Может, наоборот: такой ребёнок вырастет и постарается всё исправить — станет образцовым семьянином, заботливым родителем?

— Он-то, конечно, постарается, потому что хорошо знает, каково это — быть покалеченным с детства, да разве вырулишь из чавкающей вязкой грязью колеи? Сойдётся ли пазл, если попытаться втиснуть кусочек этой грязи в небо? И вообще, куда ты денешься из заложенной с детства, прописанной в мельчайших подробностях модели мира? Куда ты денешься, ты, крохотная, вклеенная намертво деталька? Это не предопределённость. Это невозможность, бро! Невозможность!

— Так что же, по-твоему, делать «не сошедшимся характером» родителям: мучиться вместе без любви ради детей? Это тоже невозможность. Словно жизнь только и дана, чтобы ты стал навозом для будущих всходов. А они — для будущих. И так далее до бесконечности. Бессмыслица какая-то.

— Верно подмечено. Но кто сказал, что благолепные филистерские жизненные гармонии — счастливой семьи, любви до гробовой доски, тихой старости в окружении внуков — нам в принципе доступны? Наша судьба — атональность. «Кто-то рождён для беззаботной радости, а кто-то — для бесконечных ночей». Помнишь?

— Помню.

Выпили, уже не чокаясь, будто поминая усопших в душе обывателей. Джек взял «лунную» гитару и исторг из её чрева ужасные загробные стоны, отдалённо напоминающие «End Of The Night». Джерри резал колбасу.

Молчать было приятней, чем говорить. Проще. Уютней. Безопасней...

— А знаешь, я ведь тоже предатель, — Джерри спокойно посмотрел на Джека и ссыпал ножом с разделочной доски нарезанную колбасу на тарелку. — Думаю, поэтому я и выпустил тебя, а не захлопнул перед твоим носом дверь. Тогда, год назад... я... сильно струсил. Не помог Тому... И его чуть не задушил Ермолин-страшный... то есть, я хотел сказать, «старший», — Джерри усмехнулся: — Оговорочка прям в тему. Он действительно был кошмарен, словно чудище, натянувшее на себя не по размеру короткий костюмчик человека. И я, сидя за столом, старался не смотреть в его сторону... не видеть, как оно... он... как этот рыловорот душит моего друга. Да чего уж там: я и пошевелиться боялся! Чуть дышал, будто это меня душили, а не Тома, — пододвинув к столу табурет, Джерри присел и, подперев кулаком щеку, опустил глаза. — Как с этим жить?

— Представь, что у тебя за спиной огромный рюкзак, а потом сложи свою вину и стыд туда.

— И?

— И неси! — расхохотался Джек.

— Превосходный совет. Ничего не скажешь.

— А ты что думал? Получить от меня индульгенцию? Покаяться и почувствовать облегчение?

— Но я, и правда, ощутил некоторое облегчение. Даже не знаю, осмелился бы я обсудить свою позорную трусость с кем-нибудь ещё, кроме тебя...

— Сомнительный комплемент, но всё равно спасибо, — ухмыляясь, Джек покачал головой. — Встретились два отщепенца!

— Трусости нет среди смертных грехов, — продолжил Джерри. — А ведь в ней признаться гораздо сложнее, чем, скажем, в прелюбодеянии, раскаиваться в котором человек будет не без глубоко затаённой гордости, тоже, в свою очередь, сладострастно приятной. Или возьмём гнев. Помню, как отец, когда мы ещё общались, рассказал мне историю, приключившуюся с ним на одном застолье. В самый разгар пьянки сидевший рядом дальний родственник очередной жены вдруг назвал отца «козлом». Отец сказал: «А ну повтори!» Тот повторил. Тогда отец сказал: «Поднимайся». Едва тот встал на ноги, отец врезал ему от души, так, что родственник кубарем полетел ко всем чертям. Закончил своё повествование отец тем, что на следующий день ему стало очень и очень стыдно и он просил у потерпевшего прощения. Но вот в чём странность. Первую часть истории отец рассказывал с явным удовольствием, живо и эмоционально, буквально смакуя каждый поворот сложившейся ситуации, пусть и сам этого, возможно, не замечал. А пережитое им на следующий день раскаяние описано было тускло и вымученно, без огонька, словно заученный школь-

ником урок. Получается, практически в любом безумии, дикости и разврате будет присутствовать толика бесшабашной романтики. А вот в трусости ничего романтического нет. Совсем ничего. Только нестерпимый стыд от осознания этой слабости в себе. Всю жизнь — с самого детства! — люто ненавижу себя за трусость! Я и в спортзал пошёл, чтобы перестать бояться, да что толку! В минуту настоящей опасности гадкий ничтожный страх выползает откуда-то из бесконтрольных глубин, из-под пола моего сознания, и неожиданно разрастается до невообразимых размеров паразита, парализуя волю, и я ничего не могу с собой поделаться, будто меня запрограммировали...

— Вуаля! — Джек всплеснул руками. — Это и есть колея, уж прости что рифманул, о которой я говорил. А ведёт она, если двигаться в обратную сторону, прямиком в детство, в первые годы жизни: тогда и возводилось здание твоего восприятия мира. А теперь представь, что при закладке фундамента этого здания бригадир отсутствовал, рабочие накирлялись вусмерть и какие-то материалы благополучно потырили, а какие-то втихоря заменили на менее качественные, недолили бетона и так далее. К тому же где-то повыпадали кирпичи, оголилась арматура, появились трещины. В общем, дефект на дефекте. Легко ли всё это будет исправить, коли здание уже достроено и сдано в эксплуатацию?

— Не знаю. Я не специалист по фундаменту. И вообще — хватит развёрнутых метафор. А то мне начинает казаться, что я снова на уроке литературы, — Джерри представил себя за партой в «Академии Болькина», и его передёрнуло от отвращения. — Брррр! Водки! Скорей! И побольше! Можно даже чистоганом, без сока.

Джек понимающе, словно многоопытный бармен, кивнул, плеснул в стаканы водки и, отдав один Джерри, вдруг прикрикнул противным бабьим голосом:

— Гражда-а-анин, спа-а-кой-на-ай! Я сказала, спокой-най!

— Классика, — улыбнулся Джерри, опрокинул в себя водку и с громким стуком поставил стакан на стол.

От этого нарочитого стука дотоле благоразумное всё-всё-всё: время и пространство, слова и мысли — свои и чужие — смешалось, словно, хорошенько разогнавшись, сигануло в тихий омут с чертями. И разговор поплыл, потеряв берега, по коктейлю из прошлого и настоящего, подгоняемый горячими волнами опьянения, в коих вмиг расплавлялись бакены принципиальных умолчаний и буйки робких недомолвок. И было хорошо.

Пока не кончилась водка.

О, наступление трудной минуты сей для русского человека всегда преисполнено особого драматизма и заставляет всерьёз

задуматься. Не о завершении пьянки-гулянки, вовсе нет! А о том, как именно её продолжить.

Нахмурившись было, Джерри забормотал:

— Так-так-так... сказал бедняк... — но тут чело его просветлело и разгладилось, хмельная улыбка заиграла на устах, и, победно посмотрев на Джека, он воскликнул: — Есть же бутылка виски! Больше года в книжном шкафу пылится рядом с Чернышевским!

— Ну, что делать... Неси!

Джерри, слегка поддерживая по дороге стены, чтобы не упали, ушёл. Но когда вернулся, то почему-то без заветной бутылки, а с сотовым телефоном в руке и по-детски беспомощным выражением на лице.

— Том звонил, — тихо сказал он.

— Да? — хмыкнул Джек с недоверчивым удивлением. — Голову на отсечение, что-то случилось... Иначе ведь он бы не позвонил, верно?

Джерри пожал плечами:

— Не знаю.

— Так узнай. Перезвони.

— Сейчас, — Джерри судорожно надавил на нужную кнопку большим пальцем и, не успев толком прижать телефон к уху, тут же и воскликнул: — Алло, Том? Привет, это Дже... да, да, слушаю, — телефон в дрожащей руке Джерри разразился настолько громкой скороговоркой, что даже Джек уловил, не разобрав, правда, слов, звенящее в голосе Тома напряжение. Глаза Джерри раскрывались всё больше и больше. Дослушав, он произнёс растерянno: — Нет, не приходила... — и вдруг, забывшись: — Они отвезут её на Лысую гору...

Секунду трубка ошарашенно молчала, а потом — это чётко различил уже и Джек — гаркнула:

— Что, чёрт возьми?!

— Так сказал Кострома... — пролепетал Джерри. И уточнил, не узнавая собственный голос, а также теряя веру в то, что всё это происходит взаправду: — Призрак Костромы.

Трубка крикнула ещё что-то и затихла.

— Он едет туда, — прошептал, опустив руку с зажатым телефоном, Джерри.

— Кто? Куда?

— Том. На Лысую гору. Он же всю жизнь верил в такие вот волшебные совпадения... Узелки судеб — так он это называет.

— Джерри, дорогой, если ты думаешь, что я хоть что-нибудь понимаю, то зря ты так думаешь.

— Оля пропала. Не вернулась домой из университета. Елизавета Васильевна бьёт во все колокола. Представления не имею, как ей это удалось, но к родителям Тома уже приезжали менты, хотя с момента предполагаемого похищения прошло несколько часов. Его

самого не было дома: ему сообщил отец по телефону. А теперь Том направляется на Лысую гору, потому что... — Джерри запнулся.

— Как ни странно, дальше понятно. Потому что призрак Костромы сказал тебе, что Олю отвезут туда.

— Да, — подтвердил Джерри и, несмотря на сильное опьянение, почувствовал себя полным идиотом.

— Погнали! — Джек, оперевшись руками на стол, тяжело поднялся. — Перехватим его по дороге к горе через лес. А скорей всего, успеем раньше него: он сейчас наверняка где-нибудь в центре города, мы — гораздо ближе.

— Может, позвонить в полицию?

— И что ты им скажешь? «Мужики, есть наводка из мира духов!»? А они такие: «Диктуй адрес, братан! Выезжаем!»

— Да, глупо...

Пробив толщу абсурдности ситуации и наспех сооружённую баррикаду из придающего отчаянной храбрости хмеля, игла страха вонзилась в Джеррино сердце, и он опустил глаза, опустил их так же, как и когда вопрошал: «Как с этим жить?» Да уж как-нибудь. Уж как-нибудь. Потихонечку. Не высываясь. Как и всегда... «Да ни за что! — вдруг прогремело у Джерри в голове. — Ни за что! Я выберусь из этой колеи, чего бы мне это ни стоило. Выберусь или погибну — пытаюсь выбраться! Не хочу до конца дней праздновать труса, не хочу быть трусливым львом. И не буду! Ведь это мой последний шанс... на прощание! — Джерри поднял глаза на Джека: — Наш последний шанс». А вслух сказал:

— Надо вызвать такси.

— Поймаем попутку. Не поедет туда такси, да и времени нет дожидаться, — Джек схватил «лунную» гитару и подмигнул Джерри: — Разобью её об чью-нибудь голову!

— Что ж, это будет достойным завершением её жизненного пути.

«И нашего», — уже мысленно добавил Джерри и внезапно ощутил головокружительную лёгкость, словно сбросил с плеч тяжеленный рюкзак.

Мул и Манул: Part 10

Вечность вечную зачарованно наблюдал Манул за кропотливой работой Мула над Луной-монетой, а после ещё дольше — разочарованно. Ибо ждал Манул чудес великих, неистовых шаманских плясок и шёпота колдовских заклятий, но видел только сосредоточенное лицо труженика и медленно проступающие под нажимом резцов слова-приговоры.

Невдомёк Манулу было, что от заклинаний и заговоров, пусть и не произнесённых вслух, зато проступающих в каждом умелом

и выверенном движении рук Мула, трепещет всё вокруг. Потому и молчали обычно болтливые автоматчики. И даже Берг, этот оживший, но так и сохранивший навсегда невозмутимое, каменное лицо утёс, перегнувшись через полураскрошившийся край башины, с интересом следил за тихо творящимся волшебством.

Обессилив от скуки, Манул задремал на камушке-обломке. И пригрезился ему мир удивительный и страшный, в коем всё постоянно меняло форму и находилось в безостановочном движении, мельтешило, перевоплощалось, ускользало от взгляда и притягивало его одновременно, фонтанировало разнообразнейшими оттенками цветов, то замирая хамелеоном, угодившим внутри калейдоскопа, а то сметая всё на своём пути обезумевшим вихрем красок. И пусть управлять творящимся вокруг безумием не представлялось возможным, его можно было — Манул это чувствовал — направлять, пульсировать вместе с ним, не противясь поражающему воображение хаосу, а растворяясь в нём, распадаясь, перерождаясь и снова становясь единым целым бесконечно. О, игра эта увлекала, затягивала, приносила ни с чем не сравнимое удовольствие, никогда бы не наскучила. И, право же, Манул готов был полюбить этот мир, и отказаться от всех других, возможных и невозможных, и остаться в нём навсегда, если бы только не повергающее в ужас, омерзительное чудовище, что обитало там...

Издав испуганный всхрип и отчаянно всплеснув руками, чтобы не свалиться с камня, на котором прикорнул, Манул принялся озираясь, моргать и тереть глаза руками, пока его суматошный взгляд не упёрся в стоящего перед ним чернобородого мужчину.

— Что? Кто? Где я? — непонимающе пробормотал Манул, зажмурился и потряхнул головой, чтобы прийти в себя. — Ох, чтоб меня, привидится же такое! — он вновь открыл глаза, и взгляд его стал осмысленным. Заметив в руке чернобородого монету, Манул радостно закричал: — Готово?!

— Почти готово, — сказал Мул и покрутил монету пальцами перед лицом толстяка. — Всяк видит и понимает эти надписи по-своему, но суть приговоров от этого не меняется.

Глаз Судии исчез. Теперь вместо него на аверсе Манул узрел слово «Пан». Реверс же гласил: «Пропал» — причём буква «л» была столь призрачно вырезана, что еле читалась, но Манул не обратил на это внимания.

— Ай молодца! Прекрасная работа! — он, ухмыляясь, похлопал в ладоши, после чего жадно потянулся за монетой. — А теперь дай её мне.

— Сначала отпусти мою дочь, — произнёс Мул, и монета исчезла в его кулаке.

— Пффф, ты торговаться со мной вздумал? Как на базаре? Хочешь, чтобы мой человек свернул девочке шею и скинул её бездыханное тельце вниз, к твоим ногам, о неразумный? Ты ещё успеешь разглядеть гримасу боли и страха на мёртвом лице дочери, прежде чем тебя изрешетят пули. А уж потом я подойду и заберу Луну из твоей остывающей руки. Как тебе? Не нравится? Тогда положи монету сюда, — и Манул, привстав на цыпочки, потряс перед лицом Мула пухлой потной ладошкой, — немедленно!

Мул не шелохнулся. Спокойно, внимательно и оскорбительно долго разглядывал он дрожащего от нетерпения толстяка, словно тот, и правда, внезапно превратился в дикого кота.

— Давай-давай-давай! — затараторил-заторопил Манул. — А то сейчас как свистну, и одной маленькой девочкой в этом мире станет меньше!

Всматриваясь в толстяка всё с тем же безразличным любопытством, Мул медленно протянул руку и разжал кулак. Луна-монета упала на ладонь Манула.

— То-то же! — победно возопил толстяк и попытался было поднять вожаемый трофей над головой, как вдруг уродливо скорчился, выпучив глаза, перекосясь, вытянул руку с монетой вперёд и вниз, едва успев перехватить её другой рукой, и запыхтел: — Пупок... У меня сейчас развяжется!.. Да она теперь весит не меньше, чем настоящая Луна!

— Судить и выносить приговоры — тяжёлое бремя, — невозмутимо заметил Мул.

— Почему же ты только что держал её с такой лёгкостью?..

— Потому что для меня это просто монета. Я не поклоняюсь Луне. Лучше смерть, чем подобная участь.

— А участь всюду волочиться с монетой за мной на привязи, как ручная обезьянка, тебе по душе? — Манул, поднатужившись, доковылял до каменного стола и опустил на него монету. — Фууууф... Проклятье! Ты обманул меня! Огнеглазый всегда таскал Луну с собой. Сам! Без чьей-либо помощи! Или для него она тоже была «просто монетой»?

— Ты не чета Судии. Это он владел Луной, а не наоборот — как в твоём случае.

— Но когда я похитил Луну, я тоже мог без труда нести её! И если бы не злобный глаз покойника, следящий за мной, и не чёртова ведьма, идущая по пятам...

— Тогда ты носил монету мёртвого Судии. Теперь она — твоя.

— Кто-то другой сможет носить её для меня, — задумчиво проговорил Манул и нахмурился.

— Кто-то — нет.

Не расслышав, Манул продолжил рассуждать вслух:

— Берг — сдюжит! Берг — сильный.

— Нет.

— Что — нет?!

— Не сдюжит.

— Настаиваешь на своей кандидатуре?

— Я уже говорил: я предпочту умереть.

— И дочь не пожалеешь?

Мул посмотрел на вершину древней башни. Берг, как и прежде, сосредоточенно наблюдал за происходящим внизу, но теперь в его руках появился автомат. Девочки видно не было.

— У Судии были помощники, — после короткой паузы сказал Мул, — приводившие обвинительный приговор в исполнение. Палачи. Когда Луна-монета казала реверс, Огнерождённый призывал их, ибо собственноручно никогда никого не казнил. Но иногда палачи выполняли и другие поручения. Если я завершу работу над монетой, они вернутся, чтобы служить уже тебе... К примеру, носить для тебя Луну, — Мул помолчал, а потом добавил с едва заметной усмешкой: — Вот только они не люди.

Автоматчики, загораживающие проход в башню, испуганно переглянулись, и один из них, подавшись вперёд, залопотал:

— Демона вызовешь — всех сожрёт, плохой место, страшный судьба, кирдык всем...

— Молчать! — рявкнул Манул и, обращаясь к Мулу, процедил: — Заканчивай работу.

— Позволь моей девочке уйти. Или убей нас обоих прямо сейчас. Я больше ничего не буду делать, пока она здесь.

— Ладно, будь по-твоему, — неожиданно согласился Манул и, задрав голову, закричал: — Берг! Отпусти девчонку. Сам оставайся наверху и возьми её на прицел. Если она доберётся до моста раньше, чем её достопочтенный папаша выполнит обещанное, стреляй, — толстяк, прищурившись, взглянул на Мула.

— Я всё сделаю, — кивнул тот.

— Ты уж постарайся. Никогда ещё плата за работу не была столь высока.

В это мгновение из тёмного проёма, ведущего в башню, выпорхнула девочка с растрёпанными чёрными волосами, птичкой-невеличкой проскочила между стоящими к ней спиной автоматчиками и бросилась к отцу. Мул крепко обнял её.

— Будь у меня такая соблазнительная дочка, я бы тоже с удовольствием обжимался с ней! Ха, да нежней бы отца не сыскать было на всём белом свете, — весело воскликнул Манул и с гаденькой

ухмылкой, зовущей присоединиться к пошлости, оглядел хмурые лица автоматчиков. Но ни один из них не усмехнулся. После слов Мула о палачах они стали нервничать и украдкой поглядывали по сторонам, вероятно, оценивая возможные пути к бегству.

Мул склонился к уху дочери и сказал тихо:

— Беги так быстро, как только можешь. Главное — пересечь мост. Что бы ни произошло — ни в коем случае не останавливайся и не оглядывайся...

— Я думала, мы уйдём вместе... — залепетала девочка, но Мул сжал её ещё крепче и, не обращая внимания на похабные охи и смешки Манула, повторил:

— Беги так быстро, как только можешь! Так, словно за тобой гонятся демоны!

Спожми вздрогнула. Забытый напрочь сон про луну, превратившуюся в небе в сверкающую монету с выгравированным на ней словом «Пропал», похотливого толстяка и женщину, прилетевшую на дождевой тучке, вдруг вынырнул из тёмных вод на берег сознания, отряхнулся от стекающих капель и предстал во всём своём пророческом великолении. Вот только дождь и облачная спасительница запаздывают... А мерзкий толстяк — вот он, пожалуйста, стоит рядом, кривляется и ёрничает. «Ты демон?» — спросила Спожми у него тогда во сне, на что он ответил: «Я повелитель демонов!»

— Папа! Папа! Послушай! — горячо зашептала Спожми. — Он обманет тебя! Обманет, не верь ему...

— Всё, хватит миндальничать! — толстяк, нахмурившись, подошёл к ним вплотную. — Долгие проводы — лишние слёзы. Иди домой, красotka.

— Беги домой, — поправил Мул и, мягко отстранив дочь от себя, подтолкнул её к обломкам каменной стены крепости.

Автоматчики, загораживающие дорогу, расступились, и девочка, то и дело оглядываясь на отца — в надежде, что он поменяет своё решение и уйдёт вместе с ней, побрела прочь из крепости, но едва шагнула за её пределы — побежала.

— Время пошло, — сухо молвил тут же переставший ухмыляться Манул.

Повернувшись к нему спиной, Мул склонился над каменным столом. Вот теперь его движения были быстрыми и экзальтированными, словно у перешедшего в священном танце границу миров живых и мёртвых шамана.

Воздух внутри старой крепости внезапно сделался плотным и тягучим, как мёд. Дышать стало тяжело, почти невозможно. Земля сначала мелко затряслась, а потом пошла ходуном, отчего

снизу поднялась несусветная пыль, а сверху посыпались каменные обломки. Автоматчики, увидев, как рядом со столом из ниоткуда материализовались двое — великан и карлик, — бросились враспынную, попрыгав из старой крепости, как зайцы. И ни один из них не направился, не желая попасть на линию огня, в сторону моста, куда бежала девочка.

Окружённые сверкающим чёрным светом, словно вырезанные по контурам из книжки сказок, великан и карлик бесстрастно посмотрели друг на друга, затем одновременно перевели взгляды на замершего истуканом Мула, после чего так же синхронно повернулись уже к Манулу, которого, наоборот, колотило крупной дрожью, и великан, выступив вперёд и поклонившись, произнёс утробно:

— Долгих лунных ночей тебе, хозяин!

— Хозяин?.. Ах, чтоб меня! Неплохо, неплохо... — пробормотал Манул, недоверчиво хмыкнув. — Слушай сюда, здоровяк. Возьми-ка Луну-монету со стола.

Великан протянул огромную лапищу и сгрёб монету в кулак.

— Ну, как? — с тревогой спросил толстяк.

Великан молча поклонился.

— Превосходно! — взвизгнул Манул. Посмотрев вверх, он замахал руками и заорал: — Берг! Стреляй!

То ли не уразумев толком, то ли не поверив услышанному, Берг крикнул:

— Что?!

А вот Мул всё понял сразу и кинулся ко входу в башню. Спустя мгновение он уже скрылся в темноте проёма.

— Стреляй! Стреляй в девчонку! — вопил толстяк, подпрыгивая на месте от злости, как раскапризничавшийся ребёнок.

Вздыхнув, Берг медленно перевёл взгляд на почти добежавшую до моста маленькую фигурку и вскинул автомат. Прицелился...

Высочивший в этот миг на крышу Мул, не раздумывая, прыгнул и, вцепившись в Берга руками, потянул его за собой. Они перевалились через край башни и полетели вниз.

Мул упал на спину. Звук удара был глухим, словно рухнул мешок с картошкой. Оказавшийся сверху Берг, так и не выпустив из рук автомат, перекатился в сторону, попытался подняться на ноги, но лишь беспомощно сел на задницу, жмурясь и тряся головой, чтобы не потерять сознание.

Подойдя к недвижно распластавшемуся в пыли Мулу, Манул пристально посмотрел ему в глаза и позвал, не оборачиваясь:

— Эй, здоровяк!

— Да, хозяин? — раздался голос великана.

— Хочу, чтоб ты и твой доходяга-приятель догнали девчонку, бегущую к мосту...

— Не надо... Пожалуйста... — прошептал, задыхаясь от боли, Мул.

— Догнали и... казнили, — с наслаждением договорил Манул.

— Девочка невинна. Луна-монета оправдает её, — возразил великан.

— Отныне — никаких оправдательных приговоров! — скрикнувшись, произнёс толстяк. И вдруг хихикнул: — Каков судья — таков и суд! Убейте её!

— Слушаю и повинуюсь, хозяин, — печально молвил великан.

— Слушаю и повинуюсь, хозяин, — передразнил карлик со злобной радостью.

Сделав несколько шагов, они неожиданно растворились в воздухе.

Не в силах пошевелить ни руками, ни ногами, Мул, медленно, но неотвратимо соскальзывая во тьму, глядел на круглое довольное лицо толстяка, а видел Спжми, бегущую по мосту...

До того берега остаётся всего ничего, когда дорогу преграждает уродливый человекоподобный валун, в мертвенно-грустных очах коего, однако, нет ни капли человеческого. Девочка, вскрикнув, разворачивается, но с той стороны к ней уже ковыляет, рыча и яростно корчась, ужасный карла...

— Прыгай с моста! — стонет Мул дочери, но, конечно, она его не слышит, а и услышала бы — всё одно не прыгнула, ведь она уже утонула — в бездонных глазах великана и послушно берёт протянутую ей монету. — Нет, Спжми, нет! — хрипит Мул, но понимает, что девочка обречена, и это понимание выдавливает его из видения обратно — в переломанное, умирающее тело.

— Да, Спжми, да! — томно мычит толстяк и, изображая тазовыми движениями соитие, хохочет.

— Луна... — успевает прошептать Мул, прежде чем потерять сознание. Как сладко падать в милосердную тьму, где нет боли, нет страха... Если бы только не настойчивый шёпот, тянущий назад, в мир, словно за поводок: «Мы лишь звенья в цепи, Мул. Лишь звенья в цепи...»

— Что — луна? — поставив ему ногу на грудь, толстяк с силой надавливает.

Мул открывает глаза и, сжигая остатки жизни, на последнем выдохе произносит:

— Луна-морок — судия, я иду скоро, Манул! — и уже не слышит, как толстяк, еле-еле сдерживая смех и притворяясь, что заикается от страха, восклицает:

— Абр... абр... абракадабра!

Лысая гора (live)

Side one: Слабоумие и отвага

Что чувствует пешка, приносимая в жертву? Видит ли тень от зависшей над ней руки? Осязает ли толкающую её к гибели безжалостную волю?

Джерри видел. Джерри осязал. Джерри двигался вперёд, ставя себя под удар, не ведая смысла жертвы. И что же он чувствовал?

Освобождение. В сердце, переполненном любовью к ставшей вдруг такой хрупкой и утончённо прекрасной жизни, не осталось места для страха. Джерри вспомнился давний сон про то, как он ехал на электричке и нужная ему станция оказалась на головокружительной высоте, а вместо платформы над раскинувшейся внизу рекой и каменистым берегом были протянуты трубы, по которым сошедшие пассажиры прыгали к видневшемуся в некотором отдалении утёсу. Во сне Джерри медлил. Люди, перескакивавшие, подобно воробушкам, с трубы на трубу, представлялись ему отчаянными храбрецами, хотя он понимал, что для них это дело вполне привычное, даже будничное. Но как заставить себя шагнуть на узкую и неудобную трубу, с которой столь легко соскользнуть вниз?! Пока Джерри размышлял об этом, двери с глухим стуком сомкнулись, и электричка поехала дальше.

Теперь, выбираясь из машины в пробирающую до костей стынь весеннего вечера, он ощущал под ногами те самые трубы. Но больше не боялся. Будь что будет.

Джек шагал рядом, по-пьяному размашисто, но не шатаясь. Холод немного привёл его в чувство, отогнав на время чернейшие тучи усталости и смягчив опьянение. Но, в отличие от Джерри, никакого духовного подъёма Джек не испытывал — только давно выпестованное в душе безразличие, чуть приправленное пряным удовлетворением от идиотской лихости затеянного похода. «Моя смерть будет такой же бессмысленной, какой была и жизнь. Я удивительно цельная натура, человек последовательный, верный своим убеждениям», — усмехался Джек.

Ровная асфальтированная дорога без ям и заплаток длинно спускалась к реке в окружении роскошных загородных вилл. В тени высоченных каменных заборов агонизировал до сих пор не растаявший снег. Лужи по обочинам затянул ломкий ледок. Стремительно темнело. Несколько магазинчиков, попавшихся по пути, были закрыты. До приезда теплолюбивых богачей оставалось не меньше месяца, и пустынную тишину нарушал, а скорее — даже подчёркивал, отдалённый гуд трассы, оставшейся позади. Долгий спуск вниз у самой реки упирался в подножие Лысой горы, откуда извилистая тропка карабкалась к вершине. Пока заберёшься по

ней — семь потов сойдёт, но, что гораздо хуже, будешь как на ладони у тех, кто наверху: не зря же гора называется Лысой.

Те, кто наверху... Олины похитители наверняка воспользовались грунтовой дорогой, проложенной с другой стороны горы, и до вершины добрались на машинах. Этот путь для Джека и Джерри тоже был заказан.

И осталась им одна-единственная дорожка — через лес, куда они и свернули, не пройдя и половины спуска.

Стало ощутимо холодней. Тропа, хорошо протоптанная за многие лета всевозможными паломниками, грезящими о местах силы, да и просто горожанами с мангалами и маринованным мясом, хрустела подмёрзшей грязью. Джек, поднося к губам зажатый двумя пальцами воображаемый косяк, делал громкую глубокую затыжку и выпускал изо рта густой белый пар. Джерри задумчиво посматривал на заиндевелые чёрные ветки за пределами тропы, торчащие из-под кусков снега и палой прошлогодней листвы. Простуженно хлюпали, звякая продавленным льдом, лужи.

— Не знаешь, кто бы мог похитить Олю? — после долгого молчания спросил Джерри.

— Знаю, — кивнул Джек, не поворачиваясь к Джерри и продолжая глядеть вперёд. — И ты знаешь.

— Но почему именно Оля? С его-то деньгами и властью... Многие и многие победительницы конкурсов красоты добровольно запрыгнули бы к нему в постель по одному мановению его руки. Их не пришлось бы увозить силой...

— Потому они ему и не интересны. Что это за сила, если её незачем и не к кому применить? И что это за власть, если её незачем и некому демонстрировать? Напротив, когда жертва оказывает яростное сопротивление — что может быть слаще! Унизить, сломать, растоптать, уничтожить, тем более такую недотрогу и чистюлю, как Ольга, с её глупыми принципами и детским идеализмом, — одна мысль об этом, я уверен, приводит Сергея Ефимовича в неистовое возбуждение. И запускает он шаловливые ручонки к себе в штаны, и нащупывает пухлыми пальчиками свои старые причиндалы, и...

— Зачем тащить Олю на Лысую гору? — перебил Джерри, почувствовав, что если дать Джеку дорисовать образ, то лёгкой тошнотой можно и не отделаться. — Ни тебе ковровых дорожек, ни поющих фонтанов, ни роскоши, ни удобств — лишь продуваемая ледяными ветрами опушка на вершине горы. Не очень подходящее место для любовных утех олигарха, тебе не кажется?

— Чем пресыщенной человек, тем больше он ценит любую свою блажь, какой бы нелепой она ни была, ведь гораздо страшнее сложности или невозможности воплощения желаний — отсут-

ствие самих желаний. Забавно, да: иной просветлённый отшельник, какой-нибудь Абдул Бассейн Баба Пещерский, всю жизнь готов положить на то, чтобы освободиться от земных желаний. А вот Сергей Ефимович страстно желает желать, ведь на фига иначе все эти сумасшедшие деньги? И власть — на фига?

— Я вижу огни, — перейдя на шёпот, произнёс Джерри.

Всмотревшись в лес, Джек заметил проступающее сквозь саван сумерек багровое марево.

— Да, я тоже.

— Что будем делать?

— Подберёмся поближе, а там — решим. В конце концов, на нашей стороне внезапность, слабоумие и отва...

Появившийся именно что «внезапно» и как будто из ниоткуда, словно существовал сам по себе — отдельно от человека, кулак размазал недосказанное по губам Джека вместе с кровью и осколками нескольких зубов. Тут же прилетевшая кочка из смёрзшейся грязи ухнула Джеку в темечко, и он потерял сознание.

Side two: Принцесса и дракон

В кинотеатре «Нокаут», печально известном своим беспросветно-чёрным, безжизненным экраном, в этот раз крутили «мультки». Оказавшись на первом ряду, Джек узрел воспроизведённого кинопроекторами памяти Валентина Борисовича, сидящего с завязанными глазами перед холстом. С невероятной даже для «Изнутризма» скоростью Зворыкин-старший развёл на белом полотне несусветную мазню, скинул повязку, поставил в нижнем правом углу монограмму: «В.Б.» — а ещё чуть ниже добавил мелкими буквами: «Сын». Словно в зеркало, вглядывался Джек в картину, когда сумасбродная каляка-маляка быстро задвигалась всеми сумбурными пятнами красок сразу, закрутилась десятками кругов, перемешалась, как если бы была слита в стакан, и вдруг выплеснула на экран Тома, бьющего себя по ноге кулаком и напряжённо смотрящего сквозь лобовое стекло на дорогу. Обращаясь к водителю, Том спрашивает: «Вы не могли бы ехать быстрее? Вопрос жизни и смерти!» Водитель поворачивает голову и неожиданно встаёт во весь рост, ибо и машина, и Том исчезли. «Кострома!» — шепчет Джек, вскакивая в свою очередь со своего места в кинотеатре. «Ты знаешь песню «Rev It Up And Go»?» — улыбается Кострома. «Знаю! — выкрикивает Джек, и голос его срывается. — Никита, прости меня! Прости, прости, прости...» Но Никита уже перевоплотился в Олю, вымокшую под дождём, дрожащую, со слезами ярости в глазах. «В лживом человеческом мире, Джеки, мире предателей и лицемеров, — зазвенел Олин голос, — должен

хоть кто-то оставаться хорошим». — «Я хочу быть хорошим!» — заорал Джек надрывно и неожиданно очнулся.

Двое дюжих молодцов волокли его под руки. Слева шёл ещё один, держа «лунную» гитару за гриф у верхнего порожка. Справа брёл, еле переставляя ноги, Джерри, подталкиваемый в спину дулом автомата.

Вся процессия как раз выходила из леса на широкую опушку — вершину Лысой горы, залитую мягким светом огромного костра.

— Женечка, сынок! — услышал Джек и попытался сфокусировать взгляд на появившемся перед ним толстяке в чёрном. — Зачем вы его били, остолопы? Это ж мой золотой мальчик, моя сахарная ягодка! — запрокинув голову, Сергей Ефимович заливисто расхохотался.

— Извиняйте, Сергей Ефимович, кто ж знал-то. Эти двое крались через лес.

— Крались? Ай-яй-яй. Чтоб освободить принцессу из лап дракона, не иначе, а, Оленька? Как ты думаешь?

Джек и Джерри, одновременно проследив за поворотом головы толстяка, увидели Олю — с другой стороны костра, едва различимую сквозь пламя, посылающее в небеса длинных огненных змей. Рядом с Олей, скрестив руки на богатырской груди, стоял Берг. За их спинами, а также по всему периметру опушки, то и дело мелькали вооружённые люди-тени. Вид на реку перегораживала огромная тёмно-зелёная палатка-шатёр.

Оля ничего не ответила, и Сергей Ефимович, усмехнувшись, сказал конвоирам Джека и Джерри:

— Посадите их вон туда, на брёвнышко. И присматривайте за ними. Только без рукоприкладства. А я пойду шмыгну как следует.

— Сергей Ефимович, а что делать с деревьях?

Беленький взглянул с недоумением на «лунную» гитару и махнул рукой:

— Да отдайте обратно. Тоже мне — оружие.

Джека и Джерри, тщательно обыскав и забрав телефоны, усадили на бревно. Несколько человекотеней остались дежурить рядом. Сергей Ефимович скрылся в палатке. Оля, огненное видение, стояла слишком далеко, чтобы с ней можно было заговорить.

— Что теперь? — устало спросил Джерри.

— Не знаю, — ответил Джек и, покрутив колки «лунной» гитары, принялся подбирать смутно знакомую Джерри мелодию, смутно — потому что сильно обезображенную замогильным звучанием инструмента.

— Боже! Это что — «Rev It Up And Go»?!

— Ага.

— Жесть.

— Угу, — уже еле откликнулся Джек, глубоко погрузившийся в процесс извлечения потусторонних звуков.

Джерри попытался разглядеть Олю сквозь переплетённые языки пламени, да так и залип, заворожённый огнём костра. Невероятное спокойствие обесточило яростно трещащие дотопе провода эмоций, и неизвестно, сколько времени просидел он, убавоканный предрешённостью, прежде чем проговорил сонно:

— Если бы у нас не отобрали телефоны, могли бы предупредить Тома...

— Тсс! — гневно зашипел Джек, и в этот самый миг из палатки, словно действительно подслушав, выпорхнул Беленький.

— А, чтоб меня! Вот это ночька! — Сергей Ефимович потёр нос пальцами, блаженно хлюпая, и громко втянул ноздрями воздух. — Морозно и приятно! Весенняя свежесть! И ты, Оленька, — он с неожиданной прытью прыгнул к девушке и, широко улыбаясь, заглянул ей в глаза, — весенняя и свежая!

Оля отшатнулась, но крепкие руки Берга сдавили её плечи.

— Не бойся, сладенькая! — Сергей Ефимович осторожно погладил Олю по голове. — Я буду нежен и деликатен, как свет Лунно-госпожи. Но и напорист, как дикий кот! — задрал голову, Беленький исторг протяжный хриплый вопль: — Мяууууууу!

— У кота, а у кота... яйца чистые всегда, — пробормотал Джек негромко, но Сергей Ефимович, повернувшись на звук и неправдоподобно резким движением расправив плечи, артистично выгнулся, хрустнув позвоночником, и бросился к бревну, на котором сидели Джек и Джерри.

— Знаешь, почему отец бросил тебя? Тебя и твою мамку? — Сергей Ефимович наклонился к Джеку, положив пухлые ладошки на свои колени, и подождал, пока тот поднимет голову. — Потому что я поставил его перед выбором, — глаза Беленького, обезумевшие винилы зрачков, крутились во все стороны сразу. — Очень простым выбором: жизнь семейная со всеми этими вонючими пелёнками, распашонками, агу-агу, работой с утра до вечера художником-оформителем где-нибудь на заводе, тысячей рублей, занятой у соседа до зарплаты, отвратительно растолстевшей женой, волосы которой с каждым вымученным годом становятся всё короче и короче, так как ей лень за ними ухаживать, борщом, сваренным на неделю... буэээээ! Я назвал это жизнью? Пардон. Это скорее её жалкое подобие, дешёвый аналог для нищих. Но что же я предложил взамен? Признание, славу, почёт и мою всестороннюю поддержку. Счастливую возможность творить, раскрыть свой талант, посвятить всего себя любимому делу. И, конечно, безбедное, сытое и полное удовольствий существование. Ой-ёй-ёй! Я назвал

это существованием?! И снова — прошу меня простить. Вот это-то и есть настоящая жизнь! — Сергей Ефимович выпрямился и посмотрел на Джека свысока. — Эх, Женька, Женька... Окажись ты на месте папочки тогда, разве поступил бы ты иначе? Нет, мой мальчик, нет! Ещё ни одна сахарная ягодка не предпочла треснувшую заплесневелую трёхлитровую банку красивой вазочке для варенья. Да ведь ты же повторил выбор своего достопочтенного родителя! Уехал покорять Москву, бросив дружков-лабухов... — Беленький нахмурился. — Кстати говоря... А где оглобля-барабанщик, верзила с Нижнего Тагила? Раз вы двое здесь, значит, и он ошибается где-то поблизости? — Сергей Ефимович напряжённо всмотрелся в загустевшую тьму лесной тропы. — Мне это не нравится. Он может помешать ритуалу. Я и так ждал слишком долго!

— Сергей Ефимович, если надо послать людей прочесать лес... — выступила вперёд человекотень с автоматом, но Беленький, вскинув указательный палец вверх, прошипел:

— Тихо!

Постояв некоторое время в глубокой задумчивости, Сергей Ефимович медленно подошёл к Ольге и произнёс:

— Твой дружок, на встречу с которым ты так спешила сегодня утром... Он ведь не из робкого десятка, верно? Не из тех, кто бросит любимую девушку в опасности? Нет, он не такой. Он, несомненно, рыцарь в сияющих доспехах. Хах. Ха-ха-хах. И, как и положено дураку-рыцарю, обязательно примчится сразиться с драконом!

Оля вскинула голову и, изумлённо улыбнувшись, посмотрела Беленькому прямо в глаза:

— А где дракон? Я вижу перед собой только старого облезлого кота.

— Ах вот как... Облезлого, значит, — процедил сквозь зубы Сергей Ефимович и вдруг закричал: — Эй, здорояк!

Выросшая в мгновение ока за спиной Беленького человекоподобная гора вздохнула тяжело, и в горестном вздохе этом послышалась глухая ярость катящихся вниз и сметающих всё на своём пути валунов:

— Долгих лунных ночей тебе, хозяин!

Олина улыбка исказилась, превратившись в гримасу беспомощного ужаса. Джерри и Джек, синхронно открыв рты, уставились на великана.

Испуганный шёпот пролетел по рядам человекотеней с автоматами, и некоторые из них отступили ещё дальше в тень, а едва рядом с утрюмым великаном показался уродливый карлик, хрипящий, словно пёс, от злобы, один из автоматчиков и вовсе исчез, прошелестев на прощание чуть слышно предлог «на» и слово из трёх букв.

Сергей Ефимович, повернувшись к великану и карлику, провозгласил торжественно:

— Гость незванный к нам спешит. Участь пусть его решит госпожа Луна, — и, изогнув лукаво угол рта, кивнул страшным слугам своим.

— Слушаю и повинуюсь, хозяин, — поклонился великан.

— Слушаю и повинуюсь, хозяин, — скорчился карлик в шутовском реверансе.

С жадным любопытством Сергей Ефимович взглянул на Олю и скривился от разочарования: никаких эмоций не осталось на лице девушки, величественно спокойном, словно у истинной принцессы. Молча смотрела она, как растворяются во мраке леса великан и карлик. Ни тебе горьких слёз и криков, ни мольбы пощадить возлюбленного и обещаний быть готовой на всё ради этого, ни отчаянных воззваний к небесам о помощи, ни гневных тирад, ни проклятий... «Умная, сучка, — с восхищением подумал Беленький, — и гордая. Понимает, что всё это бесполезно, и не хочет порадовать меня своим унижением». Волна горячей эмпатии накрыла Сергея Ефимовича с головой, и он зажмурился от удовольствия. А открыв глаза, протянул девушке руку и сказал:

— Пойдём в палатку, принцесса!

Side three: Том

Поскользнувшись на льду, Том упал и больно ударился. И словно очнулся. Он плохо помнил себя после телефонного звонка отца, сообщившего об исчезновении Оли. Последующий разговор с Джерри, такси, вгрызавшееся ленивым штопором в дорожные пробки, хмурый водитель, бубнящий, что ехать быстрее никак не получится, — всё это тряслось в шейкере иступления вместе с отчаянием, яростью и страхом за Олю. Половину пути через лес к вершине Лысой горы Том пробежал, интуитивно перепрыгивая кочки и уворачиваясь от норовивших хлестнуть по лицу веток деревьев.

Падение отрезвило. Поднимаясь на ноги и потирая ушибленное место, Том осознал с беспощадной ясностью всю нелепость своего положения. Что он делает здесь, в сумеречном весеннем лесу, один и без оружия? На что надеется? Разгорячённый бегом, с сердцем, готовым выскочить из груди, со сбитым дыханием, слипшимися от пота кудрями, вымокшей под курткой рубашкой... Жалкий, глупый человек! На какое такое волшебство ты уповаешь? Всё не можешь поверить, что в этом мире нет места светлым и добрым чудесам?! Что кто-то обязательно захочет украсть твоё счастье, надругаться над ним, извлекать в нечистотах, покалечить и бросить подышать в выгребной яме? Попробуй-ка потом

очистить душу от глубоко въевшейся грязи моющими средствами возвышенных страданий, повесели старый лукавый мир!

Том, обхватив голову руками, застонал. Этот циничный голос внутри, ржавчиной впившийся в железо воли, был хуже боли от падения. Вдобавок ко всему в сознании громко скрипнула дверца в подвал, и оттуда донёлся обрывок песни, которую он пару раз слышал в детстве: «Ведь в этой жизни всё не то, даже чудо. Э-э-эх, даже чудо...»

— Я вам не верю, — неожиданно для себя вслух сказал Том и страшному голосу, и унылой песне. И, прихрамывая, двинулся по едва угадываемой во тьме дороге к вершине.

Очень скоро всепроникающий холод пробрался под куртку и пронзил тело дрожью. Вымокшая от пота майка противно заледенела. Мышцы ног мелко тряслись и сжимались в предчувствии судорог.

Когда далеко впереди лес замерцал багрово, Том, не думая об осторожности, ускорил шаг: так светить мог только большой, жаркий костёр, дарящий живительное тепло. И чем ярче и ближе становилось пульсирующее сияние огня, тем быстрее, разве что не переходя на бег и памятуя о коварстве льда, Том ковылял, пока внезапно свет не потускнел, став матово-чёрным.

Двое преграждали путь.

Том сразу узнал их, хотя и видел всего один раз в жизни — ровно год назад, в тот безумный день, когда Кострома и Кэптив фан принесли себя в жертву, чтобы остальные спаслись. «Это убийцы моего отца, Антон! Вот что это за чертовщина, — раздался в голове Тома Олин крик. — Они убили моего отца! Встали поперёк шоссе, и он остановил машину, и вышел к ним, а мы остались внутри, и мама всё кричала, чтоб он не ходил к ним, чтоб вернулся, вернулся к нам, но он... никогда никого не боялся... и пошёл прямо к ним... Они заставили его подбросить монету... а потом... потом ему отрезали голову...» Убийцы Олиного отца. Убийцы Костромы. Убийцы Кэптив фана. «Мои убийцы», — подумал Том и, сам будучи небольшого роста, посмотрел снизу вверх на представшего перед ним великана, как смотрел Брюс Ли на Карима Абдул-Джаббара в хрестоматийном эпизоде «Игры смерти». Вот только Том не был Брюсом Ли и прекрасно понимал это печальное обстоятельство. Игры закончились, осталась только смерть. Опустив взгляд на карлика, чья голова была ниже пояса великана, Том кивнул:

— Кажется, я знаю, что будет дальше.

— Чудненько! — карлик, оскалившись, протянул Тому ладошку с лежащей на ней монетой. — Кажется, ты знаешь, что делать дальше. Не тяни, бродяга. Оформим всё по-быстрому. А там и сказочке — конец, а кто слушал, тот — мертвец.

Том взял монету и взвесил её в руке. Тяжёлая. Как и слово, выгравированное на ней, горящее жёлтым лунным светом: «Пропал». Перевернув монету, Том увидел всё тот же суровый приговор: «Пропал».

— Встретимся в Европейском суде по правам человека, — Том усмехнулся и, глубоко вздохнув, подбросил монету высоко вверх. И закрыл глаза.

Side four: «Rev It Up And Go»

В раннем детстве ты беззащитен перед страшными снами, потому что грань между явью и потусторонним ещё очень тонка и, оказавшись в лабиринте ужаса, ты далеко не всегда будешь сжимать в руках путеводную нить — память о том, что ты спишь и обязательно проснёшься. Глядя на то, что происходит по ту сторону костра, — на потустороннее, Джерри чувствовал себя ребёнком, которому снятся кошмар, маленьким узником без права на досрочное пробуждение. К нему долетали лишь обрывки слов, вместе похожие на недотканый ковёр, но узор уже просматривался. Когда же великан и карлик отправились в лес, Джерри сразу понял — за кем. И ещё эта маленькая потная (а Джерри был уверен, что она — потная) ладошка, протянутая Сергеем Ефимовичем Оле...

Что-то легонько стукнуло Джерри по плечу. Обернувшись, он успел поймать за гриф поехавший вбок контрабас — свой пропавший контрабас.

— Джерри, дружище! Помнишь «Rev It Up And Go»? Я начну, а ты и Джекушка подхватите, — едва различимый в белоснежном сиянии, проступая лишь контурами, словно на эскизе, Никита Зернов по прозвищу Кострома стоял с электрогитарой на ремне через плечо и улыбался. И пусть его улыбку невозможно было угадать — Джерри знал, что Никита улыбается. Просто знал.

Ошеломлённый, Джерри повернулся к Джеку, чтобы спросить, видит ли он, но это оказалось ни к чему: Джек смотрел на Кострому во все глаза. Сколько всего невысказанного было во взгляде Джека! И мольба о прощении, и радость от встречи, пусть и такой странной, и грусть о потерянном друге, и мириады вопросов... Тем поразительней прозвучали слова, которые Джек в итоге смог выдавить из себя:

— К чему она подключена? — он показал глазами на гитару Костромы.

— К Мировой Душе, — рассмеялся Никита, но тут же добавил серьёзно: — Ребята, времени почти не осталось: надо играть.

— Зачем? На кой чёрт эта клоунада? — с болью спросил Джерри.

— Только музыка защитит вас сейчас. Впрочем — как и всегда. Разве вы не понимаете? — он чиркнул медиатором по струнам, и

брызги розовато-красного света, рождённые соприкосновением, сопроводили мощный гитарный звук, полившийся отовсюду сразу. — Ух ты! Божественно! Джек, ты готов?

— Да.

— Джерри?

— Я... я не знаю... не уверен, что получится, да ещё на контрабасе... аааааа, — раздражённо всплеснув руками, Джерри вскочил с бревна и перетащил из-за спины инструмент. — Давай попробуем.

— Отлично! — воскликнул Кострома и, отстучав ногой ритм, заиграл.

Едва Джек и Джерри вступили, снежно-белое свечение, окружавшее Кострому, распространилось и на них, укутав теплом и безмятежностью, похожими на объятия любимого человека. Бросившиеся к ним люди-тени отпрянули, опустив автоматы. Джерри посмотрел на Кострому, которого теперь видел вполне отчётливо, и пробормотал:

— Мы все призраки...

— Внутри амфетаминового облака, — хохотнул Джек.

— Пойте, наркоманы проклятые! — прикрикнул на них Кострома сердито, но с неизменной ироничной улыбкой, и Джерри, спохватившись, затянул:

— Well, I got a big old bomb and it won't be around for long...

На другой стороне костра Сергей Ефимович Беленький, всё так же стоящий с протянутой к Оле рукой, улыбнулся медово и проворковал:

— Смотрю, «Жёсткая Академия» почти в полном составе. Только верзилы барабанщика нет. И уже не будет никогда...

— «Жестокая», тупица! — с ледяным спокойствием поправила Оля.

— Да по барабану! Ха-ха-ха, по барабану, сечёшь, деточка? Жестоким стану я, если ты не прекратишь хамить. А я могу быть жестоким, уж поверь, принцесса! А также жёстким, чем и надеюсь тебя скоро порадовать, — Беленький гадко подмигнул девушке. — Но ты ошибочно полагаешь, что это я — дракон. Как бы не так! Дракон в действительности — твоя лютая мамочка, заточившая тебя в темнице квартиры. Дракон — это твой ничтожный и уже, надо думать, мёртвый дружок. Что он мог тебе предложить, принцесса? Взамен одной темницы — другую? Беспросветное прозябание на сквозняке нищebroдства? Весь этот жалкий мир — темница, а населяющие его неудачники — драконы, что сторожат друг друга. Я же — рыцарь, дарующий свободу! Так где твоя прелестная рука? Пойдёмте со мной, ваше высочество! Пойдёмте!

— Скорее луна упадёт с небес, чем я пойду с тобой! — процедила Оля сквозь зубы. И на секунду опешила, ибо когда-то уже слышала про луну, упавшую с небес. Помотав головой, чтобы отогнать несвоевременные воспоминания, девушка продолжила: — Всё, что ты говоришь, — обман, западня, морок... — произнеся последнее слово, Оля совсем растерялась и замерла с широко открытыми глазами. Она вдруг увидела маленькую девочку с рыжими волосами, стоящую перед громадной старухой — белоглазой ведьмой с меховой шапкой на голове и повторяющую раз за разом странную фразу, похожую на заклинание...

— Кто там? На кого ты глядишь? — изобразив испуг, Беленький ахнул и заполошно обернулся. Он, как всегда, паясничал. — Может, скажешь мне?

— Скажу, — очнувшись, Оля чуть наклонилась к Сергею Ефимовичу и выпалила: — Луна-морок — судия, я иду скоро, Манул!

— Как? Опять эта белиберда?! — только и успел пробормотать Беленький, как с неба на его так и не убранную ладошку рухнула, ярко сверкнув в воздухе, Луна-монета.

Огненными буквами полыхало раскалённое слово: «Пропал». От невыносимой тяжести ладонь Сергея Ефимовича пригвоздило к земле, и он упал на колени, взыв от боли.

Огромный костёр, освещавший поляну, потух в одно мгновение, словно пальцами затушили свечу, и всё вокруг заполонил едкий дым. Мерцания, окружавшего Джека, Джерри и Кострому, не хватало, чтобы разогнать наступившую тьму. Бранная ругань, возгласы испуга и изумления разносились то тут, то там во мраке, пока из леса не показался высоченный скелет с огнём в левом глазу. В отсветах этого огня можно было различить великана, шедшего за скелетом справа с обнажённым клинком в руке. Судя же по злобному хрипу, слева, не видимый, но слышимый, брёл-косолапил неразлучный с великаном карлик.

Затрещали автоматные очереди. Обезумев от ужаса, люди Беленького палили во все стороны без разбора, попадая друг в друга, но не причиняя ни малейшего вреда появившейся из леса троице.

Оля почувствовала, как исчезли с её плечей стальные руки Берга, а сам он, как ей показалось, рванул в сторону грунтовой дороги, ведущей прочь с вершины Лысой горы. Оцепенев, девушка стояла без движения и наверняка была бы убита, если б кто-то не прыгнул на неё сзади, примяв к земле и прикрыв своим телом.

— Продолжайте играть! Ни в коем случае не останавливайтесь! — закричал Кострома Джеку и Джерри, но они уже и сами заметили, что пули отскакивают от охраняющего их свечения.

— Well, rev it up and go! — горланил Джерри, и голос его метался над грохотом выстрелов и предсмертными стонами.

— Rev it up and go! — хором отвечали Джек и Кострома, а в шаге от их светящегося островка свирепый карлик, запрыгнув на человека с автоматом, одним движением своих маленьких ручек оторвал тому голову с плечей.

— Rev it up and go! — ещё громче ревел Джерри, но не мог заглушить вопли припавшего к земле Сергея Ефимовича, к которому приближался огнеглазый скелет.

— Rev it up and go! — не отставали Джек и Кострома, в то время как выстрелы автоматов звучали всё реже, а стечения умирающих резко обрывались, словно обезумевший ветер с силой захлопывал двери в длинном коридоре ночи.

Скелет склонился над Сергеем Ефимовичем, схватил его за изувеченную руку, сквозь ладонь которой сияла расплавленным золотом застрявшая в ней Луна-монета, и дёрнул вверх, оторвав толстяка от земли. Беленький, не переставая визжать, дрыгал в воздухе коротенькими ножками и трепыхался, как пойманная рыба. Из его выпученных глаз текли слёзы.

— I got a big old bomb and it gets me where I want to go! — прохрипел Джерри финальную фразу песни и неожиданно осознал, что перебирает струны контрабаса в крошечной тьме.

Кострома исчез, прихватив с собой белоснежное пуленепробиваемое сияние.

Огнеглазый скелет исчез, прихватив с собой Сергея Ефимовича Беленького. Это стало ясно хотя бы потому, что прекратились истошные вопли толстяка.

— Джек, ты живой? — спросил Джерри во мрак.

— Похоже на то, — ответил мрак голосом Джека.

— Спасибо... что живой, — пробормотал Джерри, как вдруг недалеко раздался гневный Олин выкрик:

— А ну слезь с меня ты, слон!

— Кто сказал тебе моё школьное прозвище? Убью гада! — весело отозвался «слон», и после секундной паузы Джек, Джерри и Оля воскликнули одновременно:

— Том!!!

Отшвырнув «лунную» гитару, обиженно всхлипнувшую в темноте, Джек выхватил из кармана зажигалку, и крохотный огонёк — не чета тому, что полыхал неистово в левом глазу скелета, — затрепетал на ветру. Все четверо, а больше никого живого, по всей видимости, на поляне не осталось, встали вокруг дрожащего пламени. Том и Оля обнимали друг друга. Джерри раскачивался, как маятник, от усталости. Джек, уже слишком уставший, чтобы пом-

нить об усталости, сосредоточенно размышлял о том, что очень скоро зажигалка нагреется и обожжёт ему палец.

— Это было самое дикое, корявое и восхитительное исполнение «Rev It Up And Go» из всех, что я слышал, — медленно, стараясь унять дрожь в голосе, произнёс Том и нервно хмыкнул. — «Stray Cats» выцарапали бы вам глаза... хотя причём здесь глаза?.. Выцарапали бы себе уши, лишь бы...

— Ты подбрасывал монету? — перебила его Оля и внимательно вгляделась в сразу же помрачневшее лицо Тома.

— Да. Но она не вернулась... сверху. Растворилась в воздухе. А едва это произошло, исчезли и те двое.

— Друзья!.. — торжественно произнёс Джерри, но продолжить смог, только хорошенько прокашлявшись: — Поймите правильно: безумно весело болтать с вами на вершине горы, усеянной трупами, этой жаркой весенней ночью, но меня сейчас, кажется, вырубит...

— Ты прав: пора рвать когти, — кивнул Джек. — Тебе ведь ещё и контрабас тащить...

— А тебе — твою «лунную» гитару.

Джек отдернул обожжённый палец с рычага для сопла, и освещавшее измученные лица пламя зажигалки погасло.

— Пусть остаётся здесь. Пора возвращаться на Землю! Аха-ха-ха-ха, шучу. Просто Луна надоела. Хочу побывать на других планетах.

Coda

Ключ

Пот. Липкий, противный пот. Горячий. Обжигающий. Льющий и льющий с макушки, словно на ней расположился отлить Гарри Пот... Гарри Поттер? Льёт, не переставая. Джекпот пота. Джек... кто такой Джек?! Скорей уж Пол Пот пота. Хотя кто такой Пол Пот — тоже непонятно. На губах пот — солёный: таким не утолишь сводящую с ума жажду, не смочишь наждачно сухое горло. А когда пот — проклятый Пол Пот, чёртов Гарри Пот! — попадает в глаза — он едкий. Щипет. Жжёт. Разъедает. Панорама далёких скалистых гор размазана непослушными руками, трущими и трущими, и трущими, и трущими... и трясущимися — от ледяного озноба. Лихорадит. Мучительно хочется забраться под теплейшее из одеял, но где его взять в пустыне?

Манул брёл по красноватому песку так давно, что уже и не помнил, как и когда очутился в этой раскалённой духовке. Мысли, не успевая толком сформироваться, лопались волдырями ожогов и растекались по озябшему телу вместе с клейкими ручьями. В голове мельтешили спутанные, как нечесанные волосы-колтуны бродяги, образы. Кажется, он уже видел это место когда-то... Во сне?..

Не получается сосредоточиться... А ведь память мощным клювом стервятника настойчиво долбит в череп изнутри, словно желает расколотить его вдребезги: в этой пустыне опасно! Опасно! Опасно!

Манул озирается и видит крадущееся к нему чудище. Вот уж воистину — обло, озорно, стозевно и лайй. Мамошки, какая не-сусветная жуть!

Попискивая новорождённым котёнком, Манул отворачивается от худшего из кошмаров, что когда-либо посещали накрытых шубой приступа шизофреников и героиновых торчков во время ломки, и бежит, бежит изо всех сил, которых почти и не осталось, бежит, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, к таким невообразимо далёким горам. Ведь там, в одной из скал, есть дверь, за которой — спасение.

И как только Манул представляет эту дверь, она вдруг оказывается перед ним. Плача от радости, Манул дёргает дверную ручку, но дверь заперта.

Ключ. У него же есть ключ! Манул оглядывает себя и понимает, что гол. Ноль — один в пользу чудища. Абсолютно гол. А значит, никакого ключа у него нет. Всё же он тщательно ощупывает себя. Но, конечно, ничего не находит. Пытается вообразить, что ключ у него в руке: может, получится? Нет, не получается.

Сзади раздаётся кроважадное рычание, в котором уже слышен триумф хищника, настигшего жертву. Манул разворачивается. Прислонившись к бесполезной двери спиной, съезжает вниз, задыхаясь от ужаса.

И за мгновение до того, как чудище бросается на него, Манул видит парящую в небе на облаке женщину. Женщина смеётся. Держа двумя пальцами — так, чтобы его хорошо было видно, — ключ, тот самый ключ, она, дразня и издеваясь, покачивает им в разные стороны.

— Молю!.. — простирает Манул к женщине руки, но тут огромная пасть... вернее пасти чудища заслоняют собой всё вокруг.

Пот. Липкий, противный пот. Горячий. Обжигающий. Льёт и льёт, не переставая.

Манул брёл по красноватому песку так давно, что уже и не помнил, как и когда очутился в этой пустыне...

Джек приходит к отцу: Take 3

Во второй половине мая совсем продрогший на весенних ветрах город наконец-то согрелся, просушил асфальтовые одежды свои и расцвёл — буйно и радостно. Больше никакого снега! Только чистое голубое небо и ласковое солнышко.

Взбежав по старой деревянной лестнице и не позволив скрипнуть ни одной противной ступеньке, Джек постучал кулаком в обитую

дерматинном дверь. Не в состоянии устоять на месте, он слегка при-танцовывал и изо всех сил сдерживал себя, чтобы не закричать во всё горло вслед за дятлом из русских заветных сказок, собранных Афанасьевым: «Жив, жив!» Думаете, дело в наркотиках или алкоголе? Ничего подобного. Джека, как и город, опьянила разлитая в воздухе эйфория. А ещё ему до чёртиков нравилось быть незванным гостем.

Дверь чуть приоткрылась, и из-за неё осторожно выглянуло оплывшее, измождённое лицо Валентина Борисовича с носом, похожим на картофелину, случайно выкатившуюся из огромных мешков под глазами.

— Привет, — бодро сказал Джек. — Можно зайти?

Зворыкин-старший, открыв рот, вперил в сына оторопелый, бессмысленный взгляд.

— Я на минутку, — добавил Джек, заметив, как недоумение в глазах отца приобретает всё более насыщенные тона испуга, а дверь, словно сама собой, начинает медленно закрываться. — Всего один вопрос.

Выдохнув убийственной концентрации перегар и вместе с ним — тяжёлый стон, который сделал бы честь вокалисту из мрачнейшей death doom metal группы, Валентин Борисович еле слышно буркнул:

— Здравствуй, — и скрылся внутри, оставив дверь распахнутой.

Джек быстренько скинул шузы под деревянную лавку, заставленную, как и в прошлый раз, картинами, и поспешил за отцом. Воздух в жилище родоначальника «Изнутризма» был таким спёртым, как будто его и правда оттуда спёрли. Пахло сильно пьющим человеком. Зайдя в комнату, Джек успел углядеть, как Валентин Борисович воровато прячет в карман потрёпанного махрового халата пузырёк «Ручейка».

— Во дела... — поражённо хмыкнул Джек.

— Что? — каркнул Валентин Борисович, уже усевшийся в мягкое кресло рядом со столиком. Бледные отцовы коленки вылезли из-под выдавшего виды халата и уставились на Джека с осуждением, будто именно он был виноват в их наготе. Валентин Борисович, обутый теперь в самые обычные домашние тапочки, оказался к тому же с непокрытой головой, на что и не преминул обратить внимание Джек:

— А где красно-жёлтая кастрюля с Марса?

— Это и есть твой вопрос?

— Мой вопрос... — задумчиво протянул Джек и подошёл к «Вагине Венеры», висящей на своём прежнем месте на стене. — Я кое-что узнал от нашего общего знакомого... твоего доброго друга и покровителя... как раз перед тем, как огнеглазый скелет утащил его из этого мира, — Джек глянул на съёжившегося в кресле и вцепившегося в подлокотники Валентина Борисовича.

— Много лет назад Сергей Ефимович предложил тебе сделать выбор... — Джек снова повернулся к картине и, указав на неё пальцем, спросил: — Почему ты выбрал это?

Валентин Борисович опустил голову. И долго молчал. Наконец он произнёс тихо-тихо:

— Потому что это выбрало меня.

Джек понимающе кивнул, словно знал ответ заранее. Посмотрел ещё раз на отца, посмотрел с ненавистью и состраданием, но тот не поднимал глаз.

— Прощай, — сказал Джек и ушёл, напевая вполголоса детскую песню из самого грустного мультфильма всех времён и народов: — Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети!..

И жили они долго и счастливо

Когда старенький автобус, изрыгая дымные проклятья, укатил прочь, а его пассажиры неторопливо разбрелись по улочкам дачного посёлка, Джерри разулся, стянул носки и с блаженной улыбкой ступил босыми ногами на тёплую землю. Как же он мечтал об этом долгой холодной зимой — кто бы знал! И как же это изумительно приятно! Даже острые камушки, то и дело попадавшие на дороге, были в радость.

Джерри, держа кеды в руке, шёл вдоль дачных участков, на заборы которых свешивались ветви сирени и разодетых в белые цветочки яблонь. По другую сторону дороги раскинулось необозримое поле, жёлтое от одуванчиков. Всё вокруг цвело и благоухало, пленяя воображение умопомрачительной, фантастической красотой и свежестью.

Свернув возле водоразборной колонки на узенькую улочку, Джерри сразу заметил Олю и Тома, стоящих возле открытой калитки. Они, улыбаясь, помахали ему.

— Вот это и есть настоящее волшебство, — прошептал Джерри. Бросив кеды в изумрудную траву, он подбежал к друзьям и обнял их — сразу обоих.

— Ура, обнимашки! — сквозь смех проговорил Том.

— Полегче, босоногий мальчик, полегче, — пискнула Оля Джерри в ухо и похлопала его по плечу. — Мы тоже очень рады тебя видеть!

— Ох, извини, это от избытка чувств, — Джерри, смущённо улыбаясь, вернулся за кедами и последовал за Томом и Олей через калитку.

— Как добрался? — оглянулся Том через плечо.

— И где Джека потерял? Или он не придет? — спросила Оля.

— Приедет. На следующем автобусе. У него какая-то важная встреча в городе. А я добрался хорошо, спасибо.

Пока шли по бетонной дорожке мимо аккуратных грядок и клумб с цветами к двухэтажному домику, Джерри бегло осмотрелся и резюмировал:

— Как у вас тут всё цивильно и ухоженно — с ума сойти!

— Да, мамиными и Олиными стараниями, — кивнул Том.

— В основном — мамиными, — рассмеялась Оля. — Я здесь всего третий раз.

Джерри немного замялся, но всё же решился спросить:

— А как у тебя с твоей мамой?

— Созваниваемся иногда, — пожала плечами Оля. — После того как я переехала жить к Антону...

— О, вот это была резня! Почти как у Полански в одноимённом фильме, — весело воскликнул Том.

— ...несколько дней не разговаривали, — продолжила Оля, — но потом она позвонила сама. Как ни в чём не бывало, представляешь? Как будто и не было всех этих ужасных ссор и чудовищного переезда с криками, оскорблениями, угрозами вызвать милицию...

— Ага, а ещё я узнал от Елизаветы Васильевны, что предыдущий Олин молодой человек по сравнению со мной, жалким и грубым недотёпой, был просто эталоном добропорядочности и скромности, — подмигнул Оле Том.

— Предыдущий? — не понял Джерри.

— Да, — усмехнулась Оля. — Джек. Она до сих пор не в курсе, что он был подставным молодым человеком.

— А... — протянул Джерри.

— Пойдём, — Том поманил его за собой. — Покажу тебе дом. А потом — баню. С батей наконец-то достроили её этой весной. Так что вечером попаримся!

Домик внутри был чисто прибран. От всего веяло такой обжитой гармонией и уютом, что Джерри захотелось снова стать ребёнком, забраться в мягкую постель, накрыться одеялом и заснуть — безмятежно и сладко.

Зачарованный этой мыслью, Джерри переоделся в выданную Томом дачную одежду, после чего они вдоль выкрашенного во все цвета радуги деревянного забора дошли до бани и вернулись к уже накрытому Олей столу.

Глядя на улыбающиеся лица друзей, Джерри подумал: «Если бы я писал про них роман, то закончил бы его как-нибудь традиционно, например: «И жили они долго и счастливо», — тут он вдруг нахмурился и тяжело вздохнул: — А такое вообще возможно в человеческом мире? Может быть, закончить следовало бы по-другому: «И жили они долго и счастливо. Правда однажды у Оли случилась недолгая интрижка с коллегой по работе, но Том об этом, хвала милосердным небесам, так никогда ничего и не узнал?»

Содержание

Мул и Манул: Part 1	3
Джек приходит к отцу: Take 1	3
Мул и Манул: Part 2	14
Джерри в «бетонном капкане»	15
Мул и Манул: Part 3	27
Звуки Луны	28
Мул и Манул: Part 4	46
Ряженные	
Side one: «Академия Болькина»	50
Side two: Парадоксы нарождающегося интеллигента	54
Side three: Станные и подозрительные типы	59
Side four: Африканский слон (крохотное «почти» и интригующее «однажды»)	70
Мул и Манул: Part 5	77
Узелки судеб	79
Мул и Манул: Part 6	104
«Cannabis Seeds»	106
Мул и Манул: Part 7	120
Дом	
Side one: Нефер на хз	122
Side two: «Go home, outsider!»	135
Мул и Манул: Part 8	148
Дом, который разрушил Джек	
Side three: Безумно весело	150
Side one: Captive fan	151
Side two: Джек приходит к отцу: Take 2	170
Side three: Безумно весело	176
Мул и Манул: Part 9	194
Белый город	196
Мул и Манул: Part 10	215
Лысая гора (live)	
Side one: Слабоумие и отвага	222
Side two: Принцесса и дракон	224
Side three: Том	228
Side four: «Rev It Up And Go»	230
Coda	
Ключ	234
Джек приходит к отцу: Take 3	235
И жили они долго и счастливо	237

Алексей Андреевич Сыромятников

ЖЕСТОКАЯ АКАДЕМИЯ

Роман

Авторская редакция

Компьютерная вёрстка — *Александр Громов*

Иллюстрация и дизайн обложки — *Вячеслав Неверов*

Фото на оборотной стороне обложки — *Алан Смити*
https://www.instagram.com/this_is_alan_smithee/

Издание подготовлено творческим объединением

«Русское эхо»

Самарской областной писательской организации

Адрес: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 179,

телефон: (846) 333-48-01

Подписано в печать 08.09.2021. Формат издания 84х108/₃₂.

Объём 12,6 печ.л. Гарнитура Warnock Pro.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 300 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Слово».

443070, г. Самара, ул. Песчаная, 1;

тел.: (846) 267-36-82.

e-mail: izdatkniga@yandex.ru